

# КО ВСЕЙ ЧИТАЮЩЕЙ РУССКОЙ ПУБЛИКЪ.

«Amicus Plato, sed magis amica veritas». (Хлъбъ соль вшь, а правду катушку ръкь).

Въ декабръ 1859 года быль помъщень въ Современнико мой первый литературный трудъ, подъ заглавіемъ Задушевная Исповодъ. Я часто видался тогда съ покойнымъ Некрасовымъ. Вскоръ по выходъ декабрской книжки его журнала, быль я у Николая Алексъевича, у котораго, на ту пору, собралось нъсколько его сотрудниковъ. Вотъ что сказалъ онъ мнъ тогда:

— Г. Макаровь! Вы купили право, чтобы върили каждому вашему слову. Въ вашей «Задушевной Исповъди» каждая строка дышет правдою, для которой вы себя не щадите. Если есть теперь простяки, которые, объ одномъ изъ героевъ вашей грустной повъсти, думають, что онъ хорошій, добрый человькь, то врядь ли такіе найдутся посль прочтенія вашей исповъди (sic).

Да! Ни тогда, ни до того, ни послѣ того, я никогда, ни въ чемъ, ни единымъ словомъ не измѣнялъ правдѣ, которую въ чемъ, ни единымъ словомъ не измѣнялъ правдѣ, которую чтилъ и любилъ, и продолжаю любить до фанатизма, хотя много разъ я страдалъ и очень дорого платился за нее, и нравственно, и матеріяльно. И теперь, отдавая въ печать Мои Воспоминанія, я завѣряю честью, что все, что въ нихъ накодится, все это — самая святая правда, говоря объективно, на столь правда, на сколько справедливо все то, что я сяминалъ отъ дюдей, достойныхъ вѣры; говоря же субъективно, т. е. о себѣ самомъ, то все, что говорю — безусловная правда, ни единой фразы выдуманной, относительно сущности событій и разговоровъ. А только прилана поэтическая форма описанію разговоровъ. А только придана поэтическая форма описанию нъкоторыхъ сценъ въ 6-й книгъ «Воспоминаній» (Потерянный некоторых сцень въ 6-и книгъ «Воспоминани» (Потерянный рай). Чтоже до 5 книги (Зловищая комета), то главныя событій всё вёрны; а только герои той были (названной романомь) носять псевдонимы, и мёстности событій не тё, что показаны въ романё, а другія. Но объ этомъ скажу ниже, въ своемъ мёстё. И такъ всё лица и событія, объективно описанныя мною, исторически и фотографически вёрны. Опять таки на стояько, на сколько вёрны мёстныя преданія и разсказы честныхъ людей. Фотографически върны даже тъ субъективные очерки, которые написаны въ юмористическомъ тонъ. Нътъ ни единой черты сочиненной, выдуманной мною. Я начатъ уже восьмой десятокъ лътъ. Поздно учиться лгать, или хотъ призыгать тому, кто одной ногой стоить въ могилъ, и посять того какъ онъ, въ продолжении всей своей жизни, и говорить, и писаль всегда одну голую правду и часто въ явный и громадный ущербъ своему матеріяльному, а порою и душевному благосостоянію и даже покою. Большая часть этихъ Воспоминаній написаны еще въ 1861 году; а часть — въ нынѣшнемъ, что и обозначено въ выноскахъ. Поэтому нѣкоторыя утвержденія и аллюзіи могуть казаться теперь анахронизмами.

Пумаль ли, ожидаль ли я тогда, слушая симпатическій отзывъ покойнаго поэта о моей «Задушевной Исповиди», что вскорт послт того я сдтлаюсь предметомъ ожесточеннаго гоненія; что начнуть глумиться надо мною, казнить, распинать меня за эту «Испов'ядь» въ большей части тогдашней періодической прессы, и въ продолжении многихъ лътъ?... Видно таковъ удъль всякой смълой правды, въ особенности той, которая «глаза колеть» любимцамь, баловнямь слепой фортуны, откуда бы они не выполали: изъ чертоговъ ли, изъ лабазовъ ли, изъ питейнаго ли дома, лишь бы окончили свое поприще обладаніемъ милліонами, многоэтажными домами, дачами и картинными галлеренми. Всемогуща, всечествуема Ма-. мона, была и есть. Много, масса правды сожигается ежедневно, въ честь ея, на золотыхъ ея жертвенникахъ, на этихъ современных аутодафе плутократической Инквизиціи...... Всегда ли будеть ей, Мамонъ, такая честь? Будуть ли позднье оказывать ей, Мамонь, болье почета или менье? Съумьють ли еще подаве раболенствовать и ползать передъ ея, Мамоны, золотымъ изваяніемъ, и даже передъ ся верховными жрецами; ползать къ стыду, къ позору нашего времени и современнаго общества и въ ущербъ правдъ, справедливости, частному и общему благу; въ насмъшку надъ совъстью, честью и честностью; въ явное и наглое издъвательство надъ законами и властями, даже сильными? Всегда ли будеть такъ, или нътъ? Это — вопросъ будущаго. Прошедшее не утъщительно, настоящее — еще менъе; надежда на лучшее пока — въ могилъ, въ забвеніи.....

Итакъ: пусть эти «Воспоминанія» будуть моей послёднею, «предсмертною» исповёдью, моею «аппеляціонною жалобою въ Судъ общественнаго мнёнія». Пусть этотъ нелицепріятный верховный судъ отвётить, по чистой совёсти, положа руку на сердцё, на слёдующіе два вопроса:

«Кто виновать и кто правъ изъ двухъ главныхъ героевъ

«Залушевной Исноведи»?

«Точно ли я такъ дуренъ, такъ бездаренъ, такъ неспособенъ ни къ чему хорошему, полезному, какъ выставляла меня тогдашняя пресса въ продолжении нъсколькихъ лътъ, бросая въ меня зубоскальнъйшія насмъшки и обвиненія чуть не въ башибузукствъ, чуть не въ антропофагіи; словомъ: ставили меня на одну доску съ самыми непочетными, ошиканными, оплеванными именами и выставляли на показъ и на по-

смъщище въ самомъ некрасивомъ, безобразномъ видъ; не побоялись даже заподозрить мое безкорыстіе и бросить грязную тёнь на мое честное имя своими нечестными, грязными инсинуаціями. И все это за мою «Задушевную Испов'єдь». Помню, какъ, между прочимъ, одинъ изъ тогдашнихъ зубоскаловъ, ломившихся въ остроумники, помъстиль меня въ «Искръ» (№ 15, 1860 г.). «Между мъднымъ носорогомъ и одовяннымъ осломъ», въ видъ «тюленя, набитаго соломой, играющаго на гитаръ фантазію Г. Макарова?...» А другой, уже умершій, зубоскаль, вь газеть, тоже умершей, выразился обо мить такъ: «Мы не гитаристы, не можемъ судить объ игръ Г. Макарова. Въ нашемъ околоткъ одинъ только сосъдъ Еремъевъ играетъ на гитаръ, да его Вангка русскія пъсни безъ нот валяет .....» Итакъ озубоскалили даже мою невинную, никому не вредящую страсть къ гитаръ, поставя меня на одну доску съ какимъ-то Ванькой, забывъ при этомъ ту стереотипную истину, что любитель, дающій слышать себя въ концертъ не ради своей, какъ артистъ по ремеслу, пользы, а для благотворительнаго дёла, не подлежить критике, особенно зубоскальной, точно также, какъ не подлежить хуль труженикъ за то, что изъ своего недостатка, онъ пожертвоваль на доброе дело только одинь рубль, а не тысячу, какъ какой нибудь банкиръ-милліонеръ.

Но это еще цвъточки. Въ одномъ толстомъ журналъ сравнивали меня съ печальной памятью издателемъ «Домашней Бесёды», пользовавщимся въ то время самой непочетной репутаціей. И съ къмъ только не сравнивали меня тогда. А за что же? За поединокъ на ружьяхъ? Такъ это было увлеченіе, а не безчестный поступокъ. За хлысть и развратную клеветницу? Это была вспышка, а не безчестье. Оглянитесь-ка лучше на себя, такъ выйдеть изъ васъ почище десяти Аскоченскихъ, вмёстё взятыхъ, т. е. изъ некоторыхъ изъ васъ. А въ другомъ тоже толстомъ журналѣ были посвящены мнѣ три статьи съ ругательствами, цензурными, конечно, между которыми находились такія любезности, обращенныя прямо къ моей личности: «необразованный, несмыслимо-заносчивый, невообразимо нахальный авторг (все это я) заслуживает медицинское пособіе». Наконецъ тотъ же толстый журналь объявиль окончательно безъ аппеляціи, что мои произведенія «ниже всякой посредственности, и потому нисколько не стыдно унижать, ругать ихъ вмёстё съ ихъ авторомъ». Вотъ какъ честила меня тогдашняя журнальная братія. Но всего здёсь не перескажешь. Приведу еще образчикъ безсовъстной и наглой клеветы критика-ругателя вышесказаннаго толстаго журнала (Русск. Слова). Выхвативъ изъ Самодуровъ одну фразу, безъ предъидущаго и последующаго, онъ говорить: «А воть по части чувствъ автора (т. е. моихъ): За мальйшее оснорбление моего самолюбія я буду мстить здись до гроба, и даже Тамъ, за гробомъ. А говориль это не авторъ, не я, а Шельменко, одинъ
изъ героевъ романа. Громиловъ же (т. е. я) говорилъ вотъ
что: «Моя единственная манера мстить: за добро добромъ, а за
зло — тоже добромъ; другой манеры я не знаю». Какова передержка! достойная наиловчайшаго и величайшаго шулерамощенника. А вотъ и еще образчикъ бестыжаго лганья критика, который началъ и окончилъ ложью свою рецензію-пасквиль. Сперва вышелъ первый томъ Самодуровъ (244 страницы),
а второй немного позднъе (366 стр.). А между тъмъ критикъ
говоритъ: «Каково! 2 р. 50 коп. за 244 страницы»! Не за 244,
а за 661 стр., г. критикъ и плясунъ на сковородъ» отвъчалъ я
тогда облыжному критику. А ргороз де сковорода. Какъ вънецъ вполнъ достойный г. критика, въ концъ его рецензіи,
находилось признаніе, чрезвычайно наивное и курьезное, чтобы
не сказать болъе. Вотъ оно слово въ слово:

«Я самъ это сознаю и пишу только потому, что я самъ ищо подначальное; что намъ велять писать, то мы и пищемъ; чего не велять писать, того не пишемъ; бъемся какъ рыба

объ ледъ, пляшем как карась на сковородъ.

Стало быть г. критику и пласуну на сковородь, по приказанію и для потёхи своего начальника (фамилію его позабыль я; кажется что-то въ родѣ Зломракова, не могу сказать навѣрное), приказано было разругать мою книгу. Со словомз должно обращаться честно, сказаль Гоголь; редакція Рус. Слова поступала на обороть. Но всего здѣсь не перескажешь. Для этого потребовалось бы много страниць. Сверхъ того, въ концѣ Задушевной Исповѣди предвидѣлось мое раззореніе и возможность отправиться ад раtres. Стало быть при этомъ даже была позабыта пословица: «Лежачаго не быть». Поэтому, если пословица Лежачаго не быть сучинена въ Россіи, то и обычай бить лежачаго составляеть одну изъ карактерныхъ чертъ россіянина и наемнаго писаки-ругателя.

И среди этого злораднаго, дикаго рева и неистовыхъ рычаній ни одного голоса въ мою защиту, ни единаго сочувственнаго мнѣ звука. А нодъ конецъ этой безсовѣстной и безчеловѣчной человѣческой травли, въ тогдашнемъ книжномъ и журнальномъ мірѣ стали обѣгать меня, словно зачумленнаго, заградили мнѣ уста и закрыли всѣ пути, захлопнули всѣ калитки къ печатному слову періодической прессы; словомъ: порѣшили похѣрить меня, ну и похѣрили. Отнявъ у меня всякую надежду на правдивый, безпристрастный судъ и на какой бы то ни было успѣхъ, надѣвъ тяжелыя путы на мое воображеніе и вдохновеніе, едва не убили во мнѣ окончательно любовь къ дѣту и энергію всякаго труда; чуть не обезплодили навсегда жажду полезной дѣятельности..... Даже и послѣ того, нѣсколько лѣтъ спустя, когда нечеловѣческимъ усиліемъ удалось

мнъ высвободиться изъ напущеннаго на меня умственнаго столбняка и стряхнуть съ себя всемертвящую апатію; когда. спъща наверстать загубленное время, я, въ самый короткій срокъ, задумалъ и исполнилъ изданіе моего перваго лексикографическаго труда («Полный Русско-Французскій Словарь»): даже и тогда, кром'в двухъ, трехъ органовъ прессы, отозвавшихся сочувственно объ этомъ трудь, всв остальные хранили гробовое молчаніе, или упоминали вскользь, «для блезиру». какъ обыкновенно упоминають о книженкъ, обрекаемой на толкучку и на обертки. А въ одной большой газетъ пытались даже, хоть и неумёло, умалить, такъ сказать «обмизерить» мой трудъ. О поощреніи къ дальнъйшей полезной дъятельности не было и помину, и не заикнулись, за исключеніемъ одной газеты, гдв сказали, что не мешало бы мне дополнить мой трудъ изданіемъ «Полнаго Французско-Русскаго Словаря». Послъ этого, какъ не сказать:

#### «Вотъ наши строгіе ц'внители и судьи».

Повторю вопросъ: всегда ли такъ непреодолимо будетъ обаяніе и плутократическое владычество Мамоны надъ міромъ, такъ всесильно на въсахъ правосудія извъстной среды, а часто и цълаго общества, что они могутъ заставить чашу съ нъсколькими золотниками ея, Мамоны, мишурныхъ доблестей и грошевыхъ заслугъ, перевъсить другую чашу, на которую положено нъсколько пудовъ чужой и немилой ей, Мамонъ, правды?

Итакъ: хотя пресса первой половины шестидесятыхъ годовъ и поръшила, что меня, какъ писателя и общественнаго дъятеля, следуеть непременно похерить (какая гуманная цель!), я все-таки, несмотря на это похериванье, сталь чемъ нибудь, хоть и маленькимъ, но все же не совсемъ темнымъ человъкомъ, -- сталъ лексикографомъ и, кажется, не безъ пользы для раціональной международной лексикографіи и для образованнаго русскаго общества. Могу ли я претендовать теперь и на имя писателя, а не бумаго-марателя, пусть решать этоть вопросъ теперешніе читатели «Моихъ воспоминаній», и прежніе моей «Задушевной исповеди», но решать вне всяких тенденцій, эфемерныхъ теорій и увлеченій, безъ лицепріятія и безъ предубъжденія противъ не своего прихода. Знаю только и сміло утверждаю, что много, цёлый міръ мыслей, чувствъ, идеаловъ роился и кипълъ въ моей душъ и въ воображении лътъ двадцать тому назадъ. Сколько плановъ, программъ для разныхъ беллетристическихъ произведеній было набросано мною тогда! Много хорошаго сдёлаль и написаль бы я, еслибы не убили меня тогдашняя злонамфренная не критика, а брань, ругательство и зубоскальство. Не погрузились бы въ продолжительную летаргію и мой умъ, и воображеніе. И затьмъ тяжесть лишнихъ двадцати лътъ безотрадной жизни, павшая на мои уже не молодыя плечи, была удвоена ожесточенными нападками на меня журнальнаго міра, и потомъ ледянымъ, мертвящимъ равнодушіемъ и прессы, и публики къ моему первому лекси-

кографическому труду.

Долго страдаль я молча; долго неизбывныя горе, тоска, оскорбленія, обиды, раскаленнымъ камнемъ лежали на днѣ моей измученной души, жгли, рѣзали, рвали ее; но, въ настоящую минуту, чаша переполнена, горе рвется наружу и, съ несравненно большимъ правомъ, чѣмъ въ 1859 году, я повторю одинъ изъ эпиграфовъ «Задушевной Исповѣди» и теперешнихъ «Моихъ воспоминаній»:

Пусть будеть пёснь твоя дика какъ мой вёнець Мнё тягостны веселья звуки! Я говорю тебё: я слезъ хочу, пёвець, Иль разорвется грудь отъ муки. Страданьями была упитана она, Томилась долго и безмолвно; И грозный часъ насталь — теперь она полна, Какъ кубокъ смерти яда полный.

«Много, слишкомъ много обвиненій, жалобъ, стоновъ и слезъ», быть можетъ скажете вы, читатель, по прочтеніи этого вступленія. Да, много, очень много; а сколько еще будетъ ихъ въ остальныхъ книгахъ этихъ Воспоминаній. Тамъ цёлыя страницы написаны слезами. И не разъ, а нёсколько разъ возвышаю я голосъ съ обвиненіями противъ моихъ гонителей и мучителей. «Что у кого болить, тотъ о томъ и говоритъ». Въ свое оправданіе я сдёлаю параллель.

Представьте себъ, что у васъ, или у кого изъ вашихъ знакомыхъ воруютъ, въ театръ или на гуляньи, кошелекъ съ 20-ю рублями. Вы сердитесь, и даже очень, и ужъ ни какъ не благодушничаете. Разсказываете объ этомъ непріятномъ казусъ своимъ пріятелямъ, которые тоже не благодушничаютъ, а ругнутъ мазурика, вытащившаго у васъ кошелекъ съ 20-ю рублями. А если украдутъ у васъ 220 р.?... Это уже — событіе, эпоха въ жизни. А ужъ когда украдутъ 2,220 руб., вы пошевелите небо и землю. А между тъмъ вамъ, быть можетъ, только 32, ну пожалуй и 42 года отъ роду. Стало быть много еще дней у васъ впереди, и вы успъете вернуть свои 2,220 р. и съ лихвою.

А у меня-то, читатель, что пропало? 20 лътъ жизни украли у меня, 20 лътъ, которыя могъ бы я употребить съ величайшею пользою для общества, и съ величайшею честію для себя. И украли, разсъяли на всъ четыре стороны эти 20 лътъ; и сдълана эта святотатственная покража, если не со взломомъ, то съ пригодникомъ, когда мнъ уже 72 года, и остается только сказать съ покойнымъ Губеромъ:

> Я запѣлъ бы смѣло, Да не та ужъ доля. Уходилось тѣло, Ослабъла воля.

Не строки, и не страницы, а цълые томы жалобъ и проклятій такимъ ворамъ и за воровство того, чего никакіе банкиры, никакіе богачи-милліонеры не могуть возвратить вамъ. Проклятія за гнусное убійство, за уничтоженіе того, чего ни одинъ властелинъ міра не можетъ дать, что дается однимъ только Творцомъ, и более никемъ. Три четверти изъ техъ, которыхъ посылають по Владимірке, не исключая и Юханцевыхъ, и Митрофаній, и инженеровъ Сашекъ, далеко не такъ преступны, какъ тѣ воры и убійцы, которые ворують по 20 лѣть изъ человъческой жизни и убивають то, что, какъ сказаль я выше, можеть дать одинь только Творець; убивають: умъ, талантъ и вдохновеніе (\*).

Ergo: Въ Прологъ къ «Зад. Исповъди» говорилъ я о Бомарше слъдующее: послъ несправедливо проиграннаго имъ процеса, онъ обратился къ суду общественнаго который тотчась же приняль его сторону, и такъ явно и энергически, что парламенть не осмелился привести въ исполненіе свой приговоръ, опозорившій Бомарше. А позднѣе этотъ шемякинскій приговорь быль скасировань. Попробоваль было и я въ 1859 году, написавъ Задушевную Исповидь, сдълать тоже, что сделаль Бомарше. Но увы! Мои тогдашніе журнальные судіи нашли пріятніве, или удобніве, или полезніве подражать не общественному, справедливому мненію просвещеннаго французскаго общества конца прошедшаго столътія, а Шемякамъ парижскаго парламента. Теперь же, по истечени двадцати лътъ, я снова обращаюсь къ суду русской интеллитенціи, и повторю: пусть публика ръшить:

1-е. Точно ли я — жалкая литературная бездарность, ниже всякой посредственности?

2-е. Точно ли я такой дурной, негодный человъкъ, передъ которымъ следуетъ запирать двери не только всехъ гостин-ныхъ, но и всехъ редакцій? А таково было мненіе обо мне у журнальныхъ корифеевъ шестидесятыхъ годовъ; да кажется сохранилось оно и по нынъ. И если найдутся несогласные съ такимъ обо мнъ ръшеніемъ и захотять утъщить готовящагося

«Лѣта отъ сотворенія міра такого-то, отъ Рождества Христова такого-то,

<sup>(\*)</sup> У меня вошло въ привычку: порой смъяться сквозь слезы, а иногда и илакать черезъ сибхъ. Поэтому и и разскажу одинъ анекдотецъ, подходищій къ мосму настоящему положенію.

У одного священника приготовлялись на продажу очень вкусные окорока. Однажды обокрали его: стащили изъ иладовой всв окорока, штукъ 20. Это такъ поразило и умъ, и воображение автора вкусныхъ окороковъ, что съ тахъ поръ онъ сталь обозначать летосчисление такъ:

а отъ покражи окороновъ такого-то». Такъ вотъ видите ли! Если покража вкусныхъ окороновъ такъ трудно забывается, то можно ли легко забыть покражу 20-ти лътъ жизни, у которой отнято все, что могло освётить ее, согравать, усладить и скрасить?

къ въчности страдальца нъсколькими словами сочувствія, то воть мой адресь:

На углу Невскаго и Знаменской, въ гостинницъ Николаев-

ской жельзной дороги, въ 25 номеръ.

Ромествино 1881 года, 4 іюня.

#### постскринтумъ.

Когда-то, въ прошедшемъ столътіи, во Франціи, были осуждены и казнены невинные Каласъ и Лезюркъ. Но это не помъщало потомъ правдъ всплыть на верхъ. Дъло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрвно; шемякинскіе приговоры были отмънены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды и увлеченія неумолимыхъ и безчеловічныхъ страстей разныхъ политическихъ партій были возстановлены во всей ихъ чистотъ и неповинности. Отчего же не испробовать шансовъ подобнаго пересмотра въ Россіи, въ концѣ XIX столѣтія; пересмотра приговора журнальныхъ Шемякъ начала шестидесятыхъ годовъ, всябдствіе котораго осудили и нравственно казнили меня въ продолжении трехъ летъ. И неужели, въ деле правосудія, нелицепріятія и гуманности, русская публика конца XIX-го стольтія окажется гораздо ниже публики французской, жившей на рубежъ двухъ столътій: XVIII и XIX-го, или же и вовсе откажется отъ должности-почетныхъ присяжныхъ засъдателей въ дълъ оправданія оклеветаннаго, осмъяннаго и осужденнаго на бездъйствіе мученика своей откровенности и правды? Прибавлю еще: всякое тяжебное, аппеляціонное діло требуеть самаго полнаго собранія и предъявленія всёхъ актовъ и документовъ, относящихся къ тому дълу. Поэтому, къ Моимъ воспоминаніямь, я прибавлю и мою Задушевную Исповъдь, которую, для этой цёли и перепечатываю.

С.-Петербургъ, 27 сентября.



Извлечение изъ: «Мои Семидесятилътния Воспоминания».

### Mea culpa. (Несу повинную) \*).

Въ моемъ обращения «ко всей читающей русской публикъ», я сказалъ между прочимъ: Пусть эти «Воспоминания» будутъ моею послъднею, предсмертною исповъдью» (а, быть можеть, и посмертною, потому что, какъ я заивтилъ выше, мнъ уже безиала 72 года тяжело испытуемой, измученной жизни, и я могу не дожить до напечатания послъдней книги моихъ сказаний).

Итакъ, чтобы сдёдать мою теперешнюю исповёдь полною, безъ утаекъ, то, еще разъ посыпавъ пепломъ мою убъленную голову, я должень покаяться еще въ трехъ.... гръхахъ ли, страстяхъ ли, недостаткахъ ли, или маніяхъ, увлеченіяхъ, которымъ не придумаю вірныхъ названій, но которыя, начиная съ пятнадцатильтняго моего возраста, прошли огненною полосою черезъ всю мою жизнь и оставили на ней глубокіе следы. И даже теперь, на краю моей могилы, не умерли, не исчезли безсабдно. Зародились эти..., ну хоть маніи, давно, время службы моей въ Варшавъ, въ гв. Литовскомъ полку, въ 1825 году. Я быль тогда подпрапорщикомъ и жиль у дяди, Мичурина, ротнаго командира. Любопытныя, оригинальныя варшавскія жизнь и служба будуть описаны въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній». Быль я доволенъ своею жизнію въ столицѣ Польши и, не возможности, счастливъ, или, върнъе, не былъ несчастливъ. Но только далеко не всегда это было такъ. Вследствіе разныхъ грустныхъ обстоятельствъ и случайностей, о которых в умадчиваю изъ уваженія къ памяти нівкоторыхъ уже давно почившихъ, приходилось инъ иногда переживать стращно тяжелыя, горькія минуты, становилось порою не въ моготу.... Горекъ бываеть иной хаббъ!... Раза три доходило до того, что вдругь получаль я таков непреодолимое отвращение къ жизни, такое омерзъние къ людямъ и къ свъту Божьему, что отчаяние совершенно омрачало мой разумъ, отравляло всё мои душевныя способности: и я бросался какъ одурёлый, какъ рехнувшійся, доставать пистолеть, порожь и пулю, чтобы покончить ра-

<sup>\*)</sup> Глава эта и слъдующая за нею написаны лътомъ нынъшняго 1881 г.

зомъ со всею этой пасквильной трагикомедіей, съ этою грязью, которую называють жизнію, даромъ, и которую приказывають беречь, какъ со-кровище. А развъ можеть рано оканчиваться человъческая жизнь, похожая на классъ шалуновъ, которыхъ, во времена оны, поръшали перепороть всёхъ безъ исключенія? Разумьется, что въ этомъ случав гораздо лучше быть первымъ изъ наказуемыхъ, по пословиць: «отзвонилъ, да и съ колокольни долой», чёмъ быть последнимъ, т. е. смотрёть, какъ другихъ раскладываютъ и порютъ, и ждать, съ замираніемъ сердца и съ мученіемъ нравственной пытки, и своей очереди ложиться.

Увы! къ счастію или несчастію моему, удавалось мий тогда доставать только пуль и пороху, у ротнаго фельдфебеля, подъ предлогомъ учиться стрълять въ цъль. Съ какою радостію клаль я себъ въ кармань это опасное пріобрътеніе! Какъ нъжно ощупываль я его, возвращаясь къ себъ на квартиру!... Но пистолета нигдъ не могъ добыть. Ну и откладываль отъбздь мой «ad patres» до счастливой находки пистолета.... А тамъ молодость, со своими веселыми, заманчивыми улыбками — въ будущемъ и съ разными чарами — въ настоящемъ, склоняется въ изголовью бъднаго сироты и такъ сладко, такъ утъщительно, упонтельно шепчеть ему на ухо какія-то любовныя, разжигающія різи; забрасываеть его какими-то блестящими объщаніями, вертить передь его отуманенными горемъ глазами какую-то предестную, восхитительную игрушку, разукрашенную разноцебтными, яркими ленточками, погремушвами, бубенчиками, колокольчиками, извъстными подъ названіемъ мечтавій, надеждъ, ожиданій и върованій золотой молодости, которыя переводятся на практическій и прозаическій языкъ словани — «авось», да «перемелется, все мука будетъ». Очнусь и отъ дурмана-горя, сдълаю отчаянное усиліе и выкарабкаюсь изъ стальныхъ колецъ удава-тоски, вздохну полной грудью и взгляну вверхъ, туда на небо, откуда нисходять самыя лучшія, самыя утёшительныя надежды на удрученное человъчество; взгляну и вижу: высоко и широко, до необозримости, раскинуть надъ моей головою голубой шатерь неба. И какъ прозрачна лазурь этого шатра! И какъ плавно, величественно катится по этому голубому полю яркое свътило дня! Какъ чудно оно блещеть, какъ животворно оно гръстъ, не скупится на свои горячіе лучи: и царя, и поденщика, и козявну, и былинку одинаково одарить, осчастливить своини радостными, небесными улыбками; никого не забудеть, никого не обделить, всемь шлеть сь царскою щедростью свою лучезарную благодать. И это солнце, этотъ океанъ химическаго, видимаго и ощущаемаго свъта и тепла, не есть ли представитель, отражение того скезна незримаго и невеществен.

наго свъта и тепла, который называется Въчною Пренудростію и Любовію?

Кто же устоить противь этихь улыбокь, противь этой благодати неба и солица? Какое горе не стихнеть, не притупится при видъ этой роскоши мірозданія?... И пуля и порохь летять въ сторону: жизнь и надежды снова закипають въ молодой и здоровой груди юноши-сироты.

Воть моя первая манія, — манія самоубійства. И потомь она уже не умирала. Проходило иногда нъсколько лъть спекойныхъ, и даже вполнъ счастливыхъ, напр.: съ моею первою женою. Казалось тогда, что манія моя умирала; но она только уснула, была на время погружена въ глубокій сонъ... А потомъ, нётъ, нётъ, да вдругь и проснется, и намяжеть на меня свинцовою горою, и обовьеть, сдавить меня своими стальными кольцами, своею цёнью удава-тоски и отчаннія. Одинь изъ страшнёйшихъ припадковъ этой бользии, этого паденія дука быль предсказань мною въ концъ «Задушевной Исповъди», и потомъ, вскоръ по ея напечатаніи и всябдствіе описанных въ ней «гуманных» со мною продбдокъ нъкоего индивидуума, этотъ припадокъ-ураганъ надетълъ на меня и чуть чуть меня не поръшиль. Но рука друга (Алексъя Ал. Одинцова) удержала меня. Случай этотъ разсказанъ, подъ покрываломъ вымысла, въ одномъ изъ моихъ романовъ, когда-то забракованномъ, а теперь напечатанномъ въ «Иллюстрированномъ Въстникъ» за 1880 годъ, подъ заглавіемъ «Поддёльщики», въ главъ: «На дорогь въ въчность», да еще въ статъъ «Предсмертная Исповъдь», изданной въ 1867 г., но не для продажи, а для моихъ знакомыхъ. Я всегда прочитывалъ, да и теперь прочитываю, съ особеннымъ вниманіемъ и интересомъ, извъстія о самоубійствахъ и особенно о самоубійцахъ, словно они миъ родиме.... Чувствую, что мечь Дамокла все еще висить надъ моей головою. Теперь о другой моей маніи.

Въ томъ же 1825 году случилось мий прочитать въ одномъ изъ тогдащимхъ журналовъ: въ «Сынй ли Отечества, въ Литературныхъ ли Прибавленіяхъ къ... не помню къ Сыну ли От. или къ Сйверному Архиву»; прочитать разсказъ объ одномъ необыкновенномъ поединей. Это происходило въ 1814 году, въ Парижй, гдй, по взятіи столицы Франціи, стояли наши войска. Поручикъ одного изъ нашихъ гусарскихъ полковъ, нёкто Телавскій, Геркулесъ ростомъ и силою, рубака какихъ мало, но, съ тёмъ вийстй, умный и превосходно воспитанный и образованный, обёдаль разъ въ одномъ парижскомъ ресторанъ. За однимъ съ нимъ столомъ сидёло человёкъ десять французскихъ кавалеристовъ. Шелъ общій разговоръ. Французы черезчуръ развернулись и позволяли себъ раз-

ныя шуточки и насившки, не совсвиъ изящныя, надъ русскими офицерами. Телавскій, превосходно говорившій пофранцузски, отшучивался очень остроумно и не дозволяль выбить себя изъ позиціи защитника русской арміи. Но воть одинъ изъ французиковь отпустиль вдругь уже черезчуръ плоскую, казарменную и оскорбительную фразу для русскихъ офицеровъ. Телавскій тотчась же отвічаль:

- Cela passe la plaisanterie: это относится уже прямо въ чести русской армін, и потому я требую у васъ удовлетворенія.
  - Съ величайщимъ удовольствіемъ. На чемъ же вамъ угодно драться?
  - На сабляхъ.
  - Согласенъ.
- И я раздёляю миёніе моего товарища и, стало быть, тоже принимаю вашъ вызовъ, — отозвался другой французъ.
- И я тоже, послышалось со всёхъ сторонъ, всё десять французовъ вышли драться съ Телавскимъ. Они тутъ же сдёлали и вынули десять номерныхъ билетовъ, кому начать и въ какомъ порядкъ продолжать поединокъ.

Отправились за городъ. Встали въ позицію. Дуэль началась. Разъ, два, три, и французь, тяжело раненый, падаетъ. Становится противъ Телавскаго другой: послѣ трехъ или четырехъ взиаховъ могучей сабли русскаго Геркулеса, падаетъ на землю и другой его противоборецъ. И такинъ образомъ, поочередно, французики всѣ до послѣдняго, до десятаго «опт mordu la poussière, были искрошены богатыремъ Телавскимъ, который подъ конецъ и самъ свалился, и его покрошили.

Тромадно, неописуемо было впечатлёніе, произведенное этимъ разсказомъ на мое юношеское воображеніе. Я чуть не плакаль отъ восторга. Вотъ такъ молодець! Съ честью отстояль честь русской арміи, «не посрамиль земли русской и легъ костьми». И тогда же зародилась во мнё мысль — сдёлаться похожимь на Телавскаго. И чёмъ дальше, тёмъ болье росла и украплялась во мнё эта задорная мысль. Но я быль только подпранорщикъ, да еще пятнадцатильтній; а нижній чинъ не считался тогда человькомъ въ Варшавь. Ну и не разгуляещься. Потомъ вскорь посль производства моего въ офицеры вспыхнуло возстаніе, а затёмъ плёнъ, (онь будеть описань въ 8-й книгъ «Воспоминаній»), а за нимъ стоянка въ Ораніенбаумъ, гдъ и совершился мой дебють на поприщъ дуэльнаго единоборства, т. е. поединокъ съ моимъ товарищемъ, и не на пистолетахъ, а на охотничьихъ ружьяхъ, въ четырехъ только шагахъ и «безъ секундантовъ». Дуэль эта описана въ «Задушевной Исповъди». въ послёдней главъ, названной: «Необыкновенный поединокъ».

Это быль мой первый и последній дебють «нелегальной» расправы, потому что я не сделался бретеромъ: это было не въ моемъ карактеръ, претило моей натуръ, «моему незлобію». За то быль «коть разь, да гораздъ». Но вызывать вызываль, каюсь, и не разъ, и даже порою, по двое вдругъ. Но дело кончалось всегда безъ последствій, однимъ извиненіемъ, потому что кровавой обиды не было, а такъ себъ, недостатокъ у кого нибудь вёжливости, безтактность. Но на ногу наступить мив безнаказанно никогда и никому не позволяль. И воть прожиль и болье семи десятковъ дътъ, а ни одной исторіи (кромъ вышеупомянутаго дебюта) никогда ни съ къмъ не имълъ, несмотря на мою бользненную щекотливость и вспыльчивость; не имёль потому что, во первыхь: я всегда тщательно избъгаль не только знакомства, но даже и встръчь съ людьми грубыми, необразованными, буйными, скандалистами; во вторыхь: всегда и совсёми быль чрезвычайно вёжливь; вёдь вёжливостьто свой, домашній продукть, который вичего не стоить и на который не наложено ни пошлины, ни акциза. Если крестьянинъ повлонится мев на улицъ, я всегда ему откланиваюсь, чтобы не сказали: «муживъ-то въжливъе Макарова». Въ третьихъ: никогда никого не задиралъ я, надъ къмъ не подтрунивалъ: ненавидълъ это; и напротивъ: всегда ступался за тъхъ, надъ которыми подтрунивали; заступался за каждаго «униженнаго и оскорбленнаго». Но каюсь: и теперь, когда я смотрю въ могилу, и на самомъ краю этой могилы, я никому не позволю наступить себъ на ногу, потому что и самъ никому не наступлю.... Что жъ дълать: «Каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку». Но неужели за это следуеть побить меня каменьями, или бросать въ меня пригоршни грязи, какъ двадцать лътъ тому назадъ?

Наконецъ вотъ и третья моя «манія», которую можно назвать «генералофобіей или аристократофобіей». Имѣете ли вы, любезный читатель, понятіе о варшавскихъ генералахъ двадцатыхъ годовъ? Какіе они были тогда въ Петербургѣ, я не вѣдаю, но про варшавскихъ могу поразсказать кое-что. Если вы вздумаете судить о нихъ по теперешнимъ генераламъ, то жестоко ошибетесь. Теперешніе, хоть и не безъ важности, а иные и не безъ величественности, но все-таки это люди, человѣки; и хотя не всегда и не во всемъ, но все-таки походять на остальныхъ смертныхъ. Но тогдашніе, но варшавскіе?... О, это были не люди, не человѣки, куда! Поднимай выше. И не герцоги, и не принцы врови: поднимай выше. Это были даже не полубоги, а настоящіе, какъ есть, боги съ Олимпа, котя и плохенькаго, но все-таки съ Олимпа. И котя иные изъ нихъ и «лыкомъ шитые» (по собственному сознанію одного

изъ тогдащнихъ тамошнихъ генераловъ, о чемъ я разскажу ниже), но все-таки боги. Таковыми они себя воображали, и таковыми казались девяти десятымь изъ жителей Варшавы. Что нынёшніе петербургскіе генералы въ сравнени съ тогдашинии? Еслибы примарно взять и выжать всю важность изъ десяти ныябщнихъ генераловъ всёхъ классовъ, 4-го до 2-го вилючительно, то количествомъ, -- а не качествомъ, разумъется, - эта десятигенеральская важность была бы гораздо меньшаго объема и въса, чъмъ важность, выжатая изъ одного какого нибудь генераль-маіора тогдашнихъ времень, хотя бы и «лыкомъ шитаго». Нынвшній генераль и цьеть и йсть, и смотрить и говорить, и сидить и ходить, точно также, или почти также какъ и остальные смертные. А варшавскій-то? «И пиль, и бль иначе». А смотръль-то какъ? То Юпитеромъ громовержцемъ, то Емелькой Пугачевымъ, то Александромъ Македонскимъ, по меньшей мъръ, а иной просто заплечнымъ мастеромъ. Събсть, проглотить глазами не только каждаго нижияго чина, но и любого оберь-офицера. А ужъ какъ ходиль-то... что я, ходиль!... Шествоваль, плыль онь по стогнамь варшавскимь, аки по волнамь морскимъ. И носъ, и плечи, т. е генеральскіе эполеты, поднимались высоко, высоко кверху, туда, въ высь, къ «отчизнъ модній», по выраженію покойнаго Бенедиктова, «поелику» и самъ то онъ, т. е. варшавскій генераль, а не Бенедивтовь, быль въ некоторомь роде молнісноснымъ. Краса человъчества, чудо природы, перлъ созданія. Казалось: и солице, и мъсяцъ, и звъзды, и даже кометы, съ удивленіемъ, съ умиленіемъ взирали съ своихъ эфирныхъ высотъ на этого «перла созданія»; взирали, любовались и мявли отъ восторга.... Вотъ въ эту-то самую допотопную, ультра-генеральскую эпоху и зародилась во мев, какъ я назваль выше, «генералофобія», усиленная позднёе «аристократофобіей». Я, нижній чинь, страшно боялся встрачь сь этимь перломъ созданія, съ этимъ одимпійскимъ богомъ, боядся такого Одимпійца, даже и дыкомъ шитаго; чтобы не быть проглоченнымъ, или, по меньшей мъръ, не сгоръть, не испепелиться отъ ослъпительно яркихъ и жгучихъ лучей его генеральской славы и превосходительнаго величія. Не боядся я только — взирать на него порою такъ, какъ взиралъ когда-то Моисей, на горъ Синайской, на Творца, — въ «задніе».... Да, могъ изирать и я безъ самоуничтоженія только на генеральское «задніе». Бывало чуть замівчу вдали на тротуарів превосходительное шествіе, тотчась же юркъ, или въ боковую улицу, или подъ ворота перваго дома, и тамъ пережидаю прохождение превосходительнаго Юпитера черезъ тротуарную орбиту моего собственнаго прохожденія. И такимъ образомъ избъгаю

опасности самоуничтоженія отъ столиновенія съ превосходительнымъ перломь созданія. Эта, если котите, смёшная гидро... т. е. генералофобія поселилась и пребывала во миё потомъ долго, долго, десятка три лёть. Каково же, читатель: въ продолженіи тридцати лёть быть одержимымь, не бёсами, а генералами, что одно другаго стоить, если не куже. Путка ли страдать тридцатилётнимь невареніемь желудка. Да еще накимь? Генеральскимъ! И только царствованіе Александра Втораго выгнало изъ меня этихъ бёсовъ, т. е. генераловъ. Помните ли, какъ сейчасъ же послё крымской войны, послё этихъ тамъ Альмъ, Черныхъ рёчекъ. Инкермановъ, и вслёдствіе разныхъ эдакихъ славянскихъ тактическихъ теніяльностей, генеральскіе фонды стали быстро падать и упали гораздо ниже альцари на биржё общественнаго уваженія.

Какъ сказалъ я выше, къ генерало- присоединилось впоследствіи еще и аристократофобія. Не помню, какъ и отчего у меня это произошло, но не только превосходительные, а и сіятельные титулы не могъ тогда переваривать мой желудокъ, несмотря на свою здоровость и крепость. Да врядь ли перевариль бы ихъ тогда и желудокъ страуса, который, какъ извёстно каждому порядочному зоологу, перевариваетъ каини и железо. Оговариваюсь: я говорю такъ дерзновенно лишь о тогдащнихъ превосходительствахъ и сіятельсткахъ, а не о нынёшнилъ, сохрани меня Боже! Нынёшнія — такъ себе, ничего, — удобоваримы...
Прогрессъ, сами изволите знать. Гласное судопроизводство, а не тасое, какое описываль покойный Громека въ своей статье: «Полиція внё полиціи» (кажется такъ), когда каждый генераль, на каждаго негенерала, могъ гаркнуть: «взять его!»... Ну, и брали... Ничего не подёлаешь. Хвала, честь и благодареніе Александру Второму: теперь ужь не гаркають и не беруть зря, здорово живешь.

Итакъ, не переваривалъ мой тогдащній желудовъ ни тогдашнихъ генераловъ, ни графовъ, ни внязей. Порою доходило это до смішнаго напр.: приглашають меня, бывало, на весьма интересный для меня вечеръ. А какъ узнаю, что тамъ будутъ генералы, или графы, или внязья изъ важныхъ, — бывають внязья и неважные, плохенькіе, — вакъ узнаю про эдакое вавилонское смішеніе языковъ, такъ я и туда и сюда, и такъ и сякъ, и отвиляю отъ вечера интереснаго, но испорченнаго для меня нашествіемъ иноплеменныхъ, т. е. присутствіемъ титулованныхъ и важныхъ персонъ. И сколько потеряль я отъ этихъ двухъ «фобій»? Могь бы я сділать блестящую карьеру, и военную, и штатскую. Были у меня и важная родня, и сильная протекція, подъ которую часто толкали меня, но которой я боялся и избіталь, какъ

чортъ ладону. Страшно претило мий толкаться въ двери разныхъ эдакихъ дядющекъ, тетущекъ, шаркать въ ихъ гостиныхъ, кланяться и улыбаться имъ и, Боже избави! просить ихъ о чемъ либо. Низкопоклонство, гдй бы, и какъ бы оно ни проявлялось, было для меня противиће, тошнительнее кастороваго масла. Для избъжанія голословности и въ нодтвержденіе моихъ утвержденій, приведу два факта.

Выль у меня въ Петербургъ одинь дидющия, двоюродный брать моей матери, стало быть не родной, а двоюродный мив дядя. Но въдь тогда не то что нынь, когда всь узы родства до того ослабыли, что даже и родные братья, дяди и племянники часто не видаются, ни даже переписываются другь съ другомъ, по цёлымъ годамъ, хотя и живуть не вдалекъ другь отъ друга... Но что я! не переписываются; - знать не хотять, забыли о существовании одинь другаго. Но тогда, въ мое время было не такъ: не только родные, но и двоюродные, а иногда и троюродные считались своими, родными, приголубливались. Итакъ, быль у меня дядюшка, сначала преображенскимъ офицеромъ, потомъ флигельадъютантомъ, потомъ генералъ-адъютантомъ, затъмъ товарищемъ военнаго министра и наконецъ генералъ-губернаторомъ. И что-жъ? Не только я ни разу у него не быль, хотя не разъ бываль въ дома его отца, и бываль принимаемь радушно и ласково, а съ его роднымъ братомъ. Оедоромъ Андреичемъ Катенинымъ, служиль въ одномъ полку и былъ дружень; — я даже никогда и нигдъ не встръчался съ нимъ, ни разу не видаль его въ глаза, несмотря на то, что остальные мои дяди и тетни постоянно пилили меня за это:

— Да что же не побываешь ты у Александра Андреича? Да когда же ты събздешь къ Александру Андреичу? Вёдь онъ такой милый, любезный, обязательный. Вёдь онъ тебё дядя. Вёдь онъ такъ много можетъ сдёлать для тебя по службе. Съёзди, непремённо съёзди къ нему; не будешь раскаиваться.

Куда! и слушать не хотёль. И руками и ногами отмахивался. Такъ таки и не събздиль, и ни разу не видёль его въ лицо. И вёроятно много, очень много потеряль для преуспённія моего на жизненномъ пути... А вёдь этоть дядющка быль прекраснёйшій человёкь, умень, образовань, донельзя вёжливый, деликатный, привётливый, доброжелательный и всёми любимый. Да въ моихъ-то глазахь у него были два большіе изъяна: генераль-адъютантство, да генераль-губернаторство. Ну и баста!.. Онь умерь въ шестидесятыхъ годахъ на оренбургскомъ «проконсульствё». Вспоминая теперь о моемъ давнопрошедшемъ, о моей антипатіи къ титулованнымъ, даже роднымъ, не могу не упомянуть объ одномъ гвардей-

скомъ офицерикъ тридцатыхъ годовъ, діаметрально миъ противоположномъ по своимъ привычкамъ и вкусамъ. Онъ безпрестанно говорилъ всъмъ и каждому:

— J'ai été hier chez ma tante Kotchubey, min: je dînerai aujourd'hui chez mon oncle Bezborodko \*).

И все, и всёмъ, и всегда только одна пъсня: «Chez ma tante Kotchubey, да chez mon oncle Bezborodko.

А воть другой примъръ моихъ «фобій».

Между множествомъ моихъ тетушекъ, была у меня одна, важная, но съ тъмъ вмъстъ, превосходнъйшая женщина и далеко выходящая изъ ряда обыкновенныхъ. Это-Александра Алексвена Шипова, въ домв которой я прежде воспитывался, какъ это будеть видно изъ следующей книги. Жила она въ первой половинъ тридцатыхъ годовъ въ Петербургъ съ своимъ единственнымъ сыномъ, любимымъ адъютантомъ вел. кн. Михаила Павловича. Когда Литовскій гвард. полеь, въ которомъ служиль я, послъ польской кампаніи 1831 года, перешель изъ Варшавы на стоянку въ Ораніенбаумъ, в тотчась же отыскать въ Петербургъ мою тетку, которая встратила меня à bras ouverts, необывновенно ласково, какъ самаго близкаго роднаго. Глубоко любилъ я и уважаль эту прекрасную женщину, но бываль у ней не такъ часто, какъ этого желала и она, в я, и вотъ почему. Во первыхъ: любезнъйшій мой кузенъ быль вполнъ, даже слишкомъ придворный, шаркунъ, говориль мив не «ты», какъ своему бывшему совоспитаннику, и не «брать», а все «вы» да «братецъ», прибавляя къ нимъ такое шипящее «съ», отъ котораго коробило меня, какъ отъ шипънія удава. Во вторыхъ: за что, не въдаю, онъ сильно недолюбливаль Литовскій полкъ и позволяль себъ разныя улыбочки, шуточки да насибшечки надъ моими полковыми товарищами. за это, за моихъ дорогихъ товарищей, я готовъ былъ не только на пистолетахъ, а на пушкахъ, на мортирахъ стръляться и драться не на животь, а на смерть. Только одно глубовое уважение и любовь моя къ теткъ могла удержать меня въ границахъ словеснаго ротоборства, и помъщала страшнъйщему взрыву негодованія: не въдая того, мой любезнъйшій кузень куриль папироску надъ открытымь боченкомъ порожа. Наконецъ, въ третьихъ, а это главное: тетку постоянно носъщала масса титулованныхъ, въ особенности генераловъ всёхъ трехъ влассовъ. Вотъ они-то, «эвти самые енаралы», и были моимъ кошмаромъ, моимъ пуга-

<sup>\*)</sup> Вчера я былъ у тетеньки Кочубей, сегодня буду объдать у дяденьки Безбородко.

домъ, способнымъ испортить для меня и самый рай, и даже оба рая: и земной, и небесный.

Въ началъ 1834 года я вышель въ первую мою отставку, и хотъль сейчась же уъхать на родину, въ Костромскую губернію. Но тетка меня задержала.

— Зачёмъ ёхать тебё въ медвёжью глушь? — говорила она мнё. — Вёдь ты тамъ свёту Божьяго не увидишь; загложнень, одичаень, заплёснёень, мохомъ поростень. Оставайся-ко лучше здёсь, въ Петербурге, да поступай въ гражданскую службу: я могу доставить тебё хорошее мёсто въ любомъ министерстве, потому что почти всё директора департаментовъ мнё знакомы, а многіе и пріятели мои. Ты можешь скоро составить себё блестящую карьеру; вёдь ты не лёнтяй, не вётреникъ, а способный, толковый молодой человёкъ.

Послушался и и остадся, но не изъ честолюбія, а изъ глубокаго уваженія къ моей дорогой, чудесной теткъ. И точно: миъ сейчасъ же предложили хорошее мъсто въ денартанентъ податей и сборовъ, директоромъ котораго былъ тогда, кажется, Фандерфлитъ, хорошій пріятель тетки. Тотчасъ же дали миъ въ руки двъ распретолстыя тетради объ «Окладныхъ», да еще о какихъ-то сборахъ, и сказали:

— Прочитайте со вниманіемъ эти тетради и многое изъ нихъ заучите. Это весьма номожеть вамъ сдълаться отличнымъ чиновникомъ и хорошо выполнять свои обязанности; много поможеть вамъ преуспъвать на новой для васъ службъ.

Взяль я эти тетради. Но, о Боже! какое огромное депо опіума завлючалось въ нихь! Могло бы усыпить частицу поднебесной имперіи, хотя жители ея и пріучены къ этому зелію гуманными джонь-булями. И читать это послів стиховъ Жуковскаго, Пушкина, Рылівева, Грибойдова, Языкова! Все, что могь я одоліть, это — страниць десять, и то не иначе, какь на сонь грядущій. Прочитаю, бывало, лежа въ постели, страничку, только одну, и засну богатырскимъ сномь. Итакь, въ десять дней успіль я прочитать всего десять страниць; а «убоявшись бездны премудрости, обратился вспять», т. е. отнесъ снотворныя тетради къ теткъ и сказаль:

— Журите, браните меня, коть подерите за уши, но только избавьте меня отъ «неволи египетской», т. е. отъ этихъ тетрадей и отъ департамента. Каюсь и сознаю свою неспособность понять и оцёнить канцелярскія прелести и преуспъвать на новой для меня службю. Что дёлать?—Тетка ничуть не разсердилась, а засибялась и больше не настанвала на превращеніе меня въ чиновника, преуспъвателя, «каковой» тоже считался тогда чёмъ-то въ родё «перла созданія», коть и чернильнаго. Да и не жаловаль же я тогда гражданской службы. Не тяжелою, не унизительною находиль я одну только субординацію — военную. Штатская внушала мнё сильнёйшее отвращеніе, мутила меня. Еще съ самаго дётства я все мечталь о военной службе. Бывало ничёмъ не могли меня такъ обидёть и огорчить, какъ сказавши: «тебя опредёлять въ штатскую службу». Заткну себё уши, затопаю ногами, замотаю головой и закричу: «Не хочу, не хочу быть подъячимъ и говорить: гослежее донде же бяху сиръчь цицевая», — и при этомъ заносить руку за спину, изображая, какъ подъячіе беруть взятки. Откуда я взяль тогда такую рогатую фразу, не помню и даже не понямаю ея смысла.

Между тёмъ насталь май. Приближался майскій парадъ гвардейскаго корпуса. Тетка жила тогда на Царицыномъ лугу, въ домъ бывшемъ Долгорувова, что нынъ дворецъ принца Ольденбургскаго. Занимала она великольную квартиру, оконъ десять, если не болье, всю ту часть бельэтажа, которая выходила на Царицынъ лугъ, прамо противъ царской палатки. Дня за два до парада зашель я въ теткъ.

- Надъюсь, Николай, что ты будещь у меня послъ завтра, во время нарада. Я обмеръ, замялся и промямлилъ:
- Ахъ, ma tante! Въдь у васъ и безъ меня будетъ много народу; да ктому же я хорошо знакомъ съ этимъ нарадомъ, потому что и самъ не разъ фигурировалъ на немъ и даже бывалъ распекаемъ нашимъ дивизіоннымъ отцомъ-командиромъ (генералъ-лейтенантомъ Исаковымъ, свирънъйшинъ изъ командировъ) \*).

<sup>\*)</sup> А вёдь этотъ командиръ буквально служилъ на заднихъ лаикахъ передъ теткою, матерыю любимаю адъютанта, почти друга его илазнаю начальника, Вел. Кт. Михапла Павловича. И скажи в тогда одно только слово тетке, а она словечко вышерёченному командиру, то изъ моего мучителя-гонетеля, въ мигъ превратился бы онъ въ моего рьянаго защитника-покровителя. Ну такъ видите ли: госножа амбиція не приказала; какъ это можно! Не протекціей, а своимъ ябомъ долженъ былъ я брать и преуспівать по службі. Ну и преуспіваль: разъ просиділь на гауптвахів цілую неділю за важный проступокъ: солдать, моего взвода, отчисленный ві полховую швальню, снять, передъ нимъ, командиромъ, фуражку не ліной, какъ слідовало, а правой рукой; а другой разъ за то, что на репитиціи развода, салютуя полусаблей его превосходительству, большей палецъ моей руки, лежавшій на эфесь, осмілился уклониться на поллиніи въ бокъ отъ отвісной линіи. Не візрите? Такъ вамъ могуть поручиться за мою правдивость, нікоторые уцілівнійе и любимые мною однополнане: Ал. Ал. Одинцовъ, Серг. Петр. Озеронъ, гр. Конст. Пв. Разва-

- Какой вздоръ! Вонервыхъ: большая разница самому фигурировать во фронтъ и быть распекаему, или покойно сметръть на парадъ
  изъ окна. Во вторыхъ: я отдаю только восемь оконъ, а два оставляю
  для себя, для моихъ родныхъ и короткихъ пріятелей. Сметри же прикоди хоть ради того, чтобы поъсть вволю конфетъ, до которыхъ ты
  большой охотникъ и которыя будутъ у меня отъ Рязанова (лучшаго тогда
  кондитера въ Петербургъ). Я снова замялся. Атмосфера Царицына Луга
  вдругъ сдълалась удушливою (для меня только, разумъется): въ ней
  запахло гарью, т. е. генералами да графами et consorts, и я началъ
  мямлить:
- Ахъ, chère tante! Въдь у васъ будетъ масса гостей, и не простыхь, а все титулованныхъ: все графы съ графинями, да князья съ княгинями, да сенаторы и генералы съ сенаторшами и съ генеральшами. Пожалуй и министры будутъ, и все звъздоносцы. И превратятся ваши комнаты въ млечный путь. И не перенесетъ мое слабое зръне всего этого сіянія и блеска, и я рискую схватить, если не куричью, то генеральскую слъпоту. Ктому же вы зваете, что я не нитаю ни малъйшей нъжности къ титулованнымъ особамъ. Поэтому увольте, молю васъ, сhère tante!
- Ахъ, Николай, Николай! Какую ченуху несешь ты! Правда: у меня будуть почти что одни титулованные, звъздоносцы, какъ ты удачно выразился. Но что жъ изъ этого? Какое тебъ дъло до нихъ, а имъ до тебя? Она—сами по себъ, а ты—самъ по себъ. Въдь ты мой родной, горячо любимый мною родной. Въдь съ покойной-то твоей умницей матерью мы жили душа въ душу. Дивная была женщина, да успокоитъ Господь ен душу. Ктому же, вотъ видишь ли еще что? Если бы и захотъла отдавать въ наймы мои восемь оконъ, то получала бы за нихъ хорошія деньги. Но ты знаешь, что это не въ монхъ правилахъ, и не въ привычкахъ, и потому и отдаю окна даромъ, изъ уваженія, по знакомству. Мало того: каждый парадъ обходится мнъ не дешево, потому что и не скуплюсь на угощеніе монхъ гостей: и оршадъ, и лимонадъ, и шеколадъ, и кофе, и чай, и разнообразная, обильная закуска съ неде-

довскій... Господа молодые нынашайе офицеры! Благословляйте судьбу за то, что вамь посчастливилось служить не въ тридцатыхъ, а въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, при такихъ Царихъ, накъ Александръ III и Александръ III, и еще за то, что не вкушали сладости командованія отцовъ-командировъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, каковую сладость вполнъ вкусили мы грашные, ветераны той военной пугачевщины.

шевыми винами и ликерами: чего хочеть, того просишь. Затёмь: и конфеты отъ Рязанова, и всевозможные фрукты отъ Елисёева. Такъ какое же моимъ гостямъ, звёздоносцамъ, дёло до тебя, не звёздоносца? Ну, что же? придешь?

- Постараюсь, chère tante!
- Нечего туть стараться, а просто—приходи, непремённо приходи, а не то разсержусь.

Вышель я оть тетки въ глубокомъ раздумьи, печальный, ирачный. Въ продолжени двухъ дней потеряль я и сонъ, и апистить. Страшная для меня туча, хотя и звъздоносная, повисла надо мною. Это было для меня тоже, что кликъ: «Отечество въ опасности», и я готовъ быль закричать вмъстъ съ Катономъ:

#### «Delenda Carthago!»

Насталь, наконець, роковой для меня день. Погода была прелестная, ясная, теплая, но мий все казалось мрачнымъ. Часъ парада приближался. Нехотя досталь я своей новенькій фракъ. Медленно, автоматически сталь я облекаться въ непривычное мий «штатское» платье. Сперва завиль и взбиль себй передъ зеркаломъ огромный «кокъ», — тогда была мода на огромные хохлы. Одёлся, сталь прохаживаться по комнатй и поглядывать на часы. Нёсколько разъ браль шляпу, подходиль къ двери, брался за ручку, но отворить не рёшался. И вдругъ отчаянно вскрикнуль:

- Чорть возьми! что будеть, то будеть.

И, мигомъ переодъвшись изъ фрака въ сюртукъ, отправился бъглымъ шагомъ, виъсто Царицына Луга, и спасаясь отъ этого луга, въ Караванную, гдъ жилъ мой школьный и полковой товарищъ, за годъ передътъмъ вышедшій изъ полка и служившій потомъ въ министерствъ финансовъ. Засталъ я его дома, въ халатъ, и провель у него все утро, до самаго объда.

Спустя два дня, со страхомъ и трепетомъ поднимался я по парадной лестнице въ роскошное жилище тетки. Съ потупленными долу очами вступилъ я въ ея будуаръ и, разумъется, нашелъ ее «въ какомъ-то строгомъ чинъ».

- Гдё это пропадаль ты, любезнёйшій мой племяничекь?
- Виновать, chère tante! Никакъ не могь быть у васъ третьяго дня, несмотря на все мое желаніе: мев что-то сильно нездоровилось, промодвиль я.
- Не лги, а прежде поучись лгать. Ложь тебъ не къ лицу. Ну, что, упрямецъ, дикарь? Поставилъ на свое? Эдакова страху нагнали на

тебя генералы да сенаторы, да графы съ князьями. Укусили бы они тебя, что ли?

- Виновать, простите меня великодушно, chère tante, умоляль я тетку, цёлуя у нея руку. Не могу переваривать ни превосходительныхь, ни сіятельныхь. Еще разъ молю простить меня.
- Ну, Богъ тебя простить. Я не сержусь. Только, ради Бога, голубчикъ! приходи ко мий почаще обйдать до твоего отъйзда въ глушь. Богъ вйсть, когда и гдй мы увидимся?

И точно вышло: «Богъ въсть когда и гдъ?...» Много, много лътъ спустя, я свиделся съ нею, но где и какъ?... Въ Москве, въ гостинниць. Она была въ монашеской рясь. Эта благороднъйшая, умнъйшая женщина вдругъ выкинула штуку вовсе не умивищую. Вскоръ по моемъ отъйздй изъ Петербурга, въ одно прескверное утро, прійдя поздороваться съ нею въ будуаръ, сынъ не нашелъ ее тамъ. Она и не ночевала дома. Проходить день, матери нёть. Проходить другой, третій, цёлая недёля: ни слуху, ни духу; сгинула, пропада безъ въсти. Потомъ, послъ многихъ дней безплодныхъ распросовъ и поисковъ, молодой Шиповъ узнаетъ косвенными путями, что его мать была сначала близь Новгорода, у пресловутаго тогда Фотія, на покаяніи. Потомъ удалилась въ какой-то монастырь иножинею. Потомъ года черезъ два или три, сдёлалась игуменьею, не номню, какого монастыря. И почти каждый годь прібажала въ Москву на нъкоторое время. И тогда, у подъезда гостиницы, где она останавливалась, съ утра до вечера, стояли кареты московскихъ аристократовъ, прівзжавшихъ на поклоненіе и подъ благословеніе къ матушкъ-игуменьъ. Больше одного разу я не видался съ этою замъчательною женскою личностью. И даже не знаю, когда и гдъ она умерла, и гдъ похоронена. Спустя насколько дать посав побага ся оть сына, попалось мна въ руки весьма интересное письмо, которое писала она къ другой моей теткъ, Левашовой, и въ которомъ подробно описывала свои странствованія и похожденія, а между прочимь и визить свой Фотію, и не въ дом'в его, а на дворъ, у балкона (это было лътомъ), съ котораго онъ встрътиль ее весьма недружелюбно, даже погрозиль на нее своимъ посохомъ. Да и быль же этоть пресловутый архимандрить, наперсникь дочери чесменскаго героя, богачихи Анны Алексвевны Орловой, тоже знаменитой въ въ своемъ родъ; быль человъкомъ ухъ какимъ! съ страшвъйшими копючками и закорючками, и ужъ очень и очень себъ на умъ, по части святости и субъективнаго спасенія.

Съ сыномъ тетки, момиъ кузеномъ, былъ страшно трагическій конецъ. Любимый адъютантъ Михаила Павловича, онъ сопутствоваль ему

во всёхъ поёздкахъ его за границу. Въ одну изъ тавихъ, нажется последнюю для нихъ обонхъ, опрокинулся экипажъ. Великій инязь и его адъютанть полетвли внизь головой. Первый счастливо, безь последствій, а второй ударился головою о камень: произошло сотрясение мозга, онъ помъщался. А незадолго до того, онъ женился на прекрасной и богатой дъвумит, на Васильчиковой. Вскорт по возвращения своемъ въ Петербургъ, онъ переръзалъ себъ горло бритвой и умеръ. Помъщался онъ на томъ, что у него стеклянный носъ; и, при видъ каждаго человъка, онъ въ испугъ протягиваль руки впередъ, для защиты своего носа, и кричаль: «остороживи, не разбейте!» И какое странное психическое совпаденіе: когда я воспитывался съ нимъ вийстй, ему было 17 лють. Была у него привычка - безпрестанно дергать себя за носъ, точно жедая его вытянуть, сделать длиниве, и тогда, какъ онъ самъ вовсе не быль курносъ, а быль у него носъ какъ носъ; ни длинный, ни короткій. Мать часто журила его за эту странную привычку, но отъучить не могла. Въ Петербургъ же я не замъчалъ, дергалъ ли онъ свой носъ.

Аминь. Кончены моя исповёдь, мое покаяніе въ трехъ маніяхъ. Послёдняя (двё «фобіи») уже давно умерла и неоживала болёе. Желудокъ мой укрёпился нравственно на столько, что можеть переваривать всякихъ титулованныхъ. Ктому же и самые титулованные, какъ я уже замётилъ выше, весьма улучшились, — стали удобоваримёе. Но первыя двё маніи, въ особенности самая первая, не умерли. Онё только спять, но повременамъ пошевеливаются, дають знать о себё.

Вотъ вамъ, любезныя читательницы и читатели, я весь передъ вами, безъ малъйшей утайки....

Безъ малъйшей утайки... что я сказаль?.. Покаюсь и поправляюсь: начались, наконецъ, сказываться, не совершенною потерей, а лишь минутными затибніями, изміжами мні моей памяти, мои 72 года. Еще далеко не во всемъ я покаялся, позабыль многое, о чемъ разскажу въслёдующей главъ.

## Продолжение повинной.

Итакъ, память измѣнила мнѣ на этотъ разъ, когда я, написавъ предъидущую главу ап courant de ma plume, хотѣлъ ее окончить фразою: «безъ малѣйшей утайки». Но оглянувшись еще разъ на мое прошлое, прожитое и пошаривъ въ немъ, я, къ великому моему удив-

денію, открыль, что я пропустиль, совершенно забыль упомянуть еще о многихъ чертахъ моего характера и, главное, еще объ одной моей манін, о четвертой, которую можно назвать себяфобіей, и которая вытекала: изъ преувеличеннаго ли самолюбія, изъ остатковъ ли отъ моего дътства - застънчивости, «букости», изъ чрезвычайной ли моей меительности, щекотливости, или изъ хронической недовбрчивости къ самому себъ, къ своимъ способностямъ, къ своей здой судьбъ. Но только и эта четвертая манія, какъ и первыя три, огненною полосою прощла черезъ всю мою жизнь и причинила мив много горя, страданій, огромныхъ матеріальныхъ потерь и, вёроятно, если не вполив испортила мою карьеру, то много помъщала ей быть несравненно лучшею, чъмъ какою она осталась. Происходила эта манія частію и отъ некоторыхъ правиль жизки, которыя составиль я еще въ моей юности, которыхъ потомъ съ фанатическою приверженностью и которыя, такъ сказать, вошли мив въ плоть и кровь. Вотъ, между многими другими, ивкоторыя правила, которыя находиль я необходимыми для сохраненія всецёло свободы моихъ убъжденій, върованій, вкусовь, мибній, поступковь и права распоряжаться своею судьбою:

- 1. Никогда, никому не навязывать моего знакомства.
- 2. Никогда ни въ комъ не искать, ни у кого не заискивать и, Боже Сохрани! ходить къ кому либо на поклонъ, кому либо кланяться, улыбаться, распъвать акаеисты, диеирамбы и просить о чемъ нибудь, выпрашивать подачки.... Я ужасался при одной мысли о такой «фикасти», какъ выражаются институтки.
- 3. Знакомиться и поддерживать знакомство лишь съ тъми, кто этого желаеть и явно выказываеть мив такое желаніе. Sinon, point d'affaire, слуга покорный. Вообще я быль всегда очень тугь на новыя знакомства. Я дёлаль исключенія изь этого правила, когда дёло касалось музыки и артистовъ вообще, а въ особенности какого либо ги тариста, объ игръ нотораго слышаль я похвальные отзывы. О, въ такомъ случать всё мои страхи, мнительности и самолюбія откладывались въ сторону, и я бёгаю, бывало, какъ искатель кладовъ, по всему городу, отыскивая гитарнаго феникса. Искаль я разъ дней пять по Петербургу какого-то Карицкаго, пока не обрълъ его подъ небесами, чуть не на чердакт огромнаго дома полукругомъ, что у Обухова моста. Это было лътомъ 1840 года. И что-жъ? оказался жалкій хвастунъ и царапунъ, который бряцаль по струнамъ гитары и при этомъ захлебывался, пыхтёль и вздыхаль, какъ кузнечный мёхъ и закатываль глаза подъ лобъ. А въ бытность мою въ Неаполё искаль и отыскаль я ги-

тарное чудо-юдо, какого-то Гордана, съ шеей обмотанной не шарфомъ, а канимъ-то затаснаннымъ половикомъ и тоже, не игравшаго, а дребезжавшаго на гитаръ что-то въ родъ польки, и также съ страшнъйшими гримасами и захлебывающимся ртомъ, что у него исправляло должность музыкальныхъ вкуса, выраженія и стиля. Объ этомъ неаполитанскомъ гитаристъ перваго сорта (снизу) упоминаль я въ «Задушевной Исповъди». Но если я трудно знакомился, за то не легко и раззнакомливался, если не встржчалось на это уважительных в правственных причинь. Страхъ какъ дорожилъ я хорошими старыми знакомствами, тщательно старался избъгать всякихъ поводовь къ неудовольствіямъ, устранять мальйшее недоразуньніе. Прежде нежели познакомиться съ кымь, я долго вглядывался и въ личность, и въ обстановку того, съ къиъ предстояло мев познакомиться. Чуть что не такъ, не ладно на мой взглядъ, я тотчасъ же и отлавирую, чтобы избавить себя отъ непріятности раззнакомливаться впоследствии. Оттого-то, какъ я уже заметиль выше, и не имълъ я никакихъ «исторій», хотя очень любилъ «Исторію XVIII-го стольтія» Ансильона, и вообще всякую хорошую исторію, но не «исторіи», которыхъ боядся я пуще vomito negro, желтой лихорадки тожъ. Въ дълахъ серьезныхъ, гдъ требовалась осторожность и осмотрительность, я никогда не выказываль сразу все, что я могу и чего не могу. Проходило иногда довольно долгое время, что, въ глазахъ имбишить со мною важное дбло, я казался долеко не тбмъ, чбмъ я быль, казался иногда противоположнымъ моему я, т. е. привидывался смиреннъйшею, безобиднъйшею овцою, которую всякій могъ обидъть, и такой игрой удавалось мив не разъ раскрывать тайныя козни мошенниковъ, стакнувшихся для обворованія моего или ввъреннаго инъ дъла. И когда, для спасенія этого дёла, являлась необходимость въ энергім, я вдругь, безъ всякихъ постепенностей, преобразовывался изъ овцы въ дьва или тигра и разгоняль, повергаль въ прахъ шайки воровъ и воришень. Порою могь даже хитрить и, ради спасенія погибающаго діла, составить такой планъ дъйствій, который почти всегда удавался. даромъ же до 15-ти лътняго возраста я быль рыжимъ. Но кромъ исилючительно важныхъ случаевъ, я никогда не быль дипломатомъ, не терпълъ этой роли въ обиходной жизни, гнушался ею. Но энергія и рёшительность никогда не повидали меня, выводили часто изъ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, спасали иногда отчаненое, погибавшее дъло. И если я разъ ръшался на что, положительно или отрицательно, то уже ничто и никто не могъ меня ни удержать, ни сбить съ толку: coûte que coûte, я поставлю на своемъ.

Въ семейной жизни я быль мятокъ и деликатенъ, порою даже черезчуръ; но внё дома и въ исключительныхъ случаяхъ становился иногда колкимъ, ръзкимъ, хлесткимъ и могъ показаться, не знающему меня, чортъ знаетъ чъмъ, пожалуй и самимъ чортомъ, тогда какъ на самомъ дълъ и походилъ на соблазнителя нашей прародительницы столько же, сколько вы, любезный читатель, походите на дагомейскаго короля свиръпой намяти.

Еслибы эта глава не вышла такою длинеою, то разсказаль бы я о моемъ курьезномъ столкновенім, лётомъ 1860 г., съ однимъ превосходительствомъ, извёстнымъ тогда подъ именемъ позументнаго генерала, которому захотелось принарианить должные имъ мив 1400 р. Какимъ ураганомъ налетълъ я тогда на его дачу по петергофской дорогъ; какого страку нагналь я тамъ въ его конторб, и только этимъ спасъ мои 1400 р., которые, безъ моей быстроты и энергіи, улыбнулись бы мий, останись бы на выки въ бездонномъ превосходительномъ карманъ. Можетъ быть и разсважу я объ этомъ весьма характерномъ столкновеніи, но только гораздо позднёе, въ девятой книгь, въ главъ: Галлерея портретовъ отцовъ-командировъ добраго стараго времени, хотя командиромъ-то онъ никогда не былъ. .. виноватъ: былъ однажды, но только не но военной части, а по ярморочной въ Нижненъ. И оставиль же онь тамь по себь память.... Ахъ, какую память! Первый сорть (снизу). Каково же должно было быть тамъ положение заправлявшаго тогда нижегородскою губерніей моего пріятеля и бывшаго сотоварища по Латовскому полку, Алексън Алексъича, этой добръйшей, разумнъйшей, честивишей, благородивищей, s'il en fût, души?... А слыхали ли вы, читаталь, о знаменитомъ посредничествъ позументнаго героя между его дядюшкой, гр. Клейниихелемъ, и нъкоею г-жею Демидовою, по поставкъ чугунной лёстницы въ имъніе дядюшки? Върно не слыхали? Ну такъ я разскажу «сей» геройскій подвигь позументщика въ «Галлерев портретовъ». Разскажу теперь еще одинъ забавный случай, который покажеть, какъ, не только въ врупныхъ, но и въ мелкихъ дёлахъ, энергія выручала меня.

Въ 1836 году, въ мат, Лит. полкъ выходиль изъ Ораніенбаума въ лагерь подъ Красн. Селомъ. Идя на маневры или дёлая большой переходъ, офицеры имтли обыкновеніе брать съ собою въ ранецъ что нибудь сътстное и фляжку вина или водки. Я всегда дёлалъ тоже, но на этотъ разъ оплошалъ и не взялъ ничего. Дёлаемъ мы переходъ верстъ въ 20, и останавливаемся на привалъ въ чухонской деревушкъ. Я страшно проголодался, а запаса ни крошки. Иду на поиски чего нибудь

съвстнаго, коть кавба съ молокомъ. Обхожу почти всв избы, и вездв одинь отвъть: «нёть ничего, ни молока, ни кавба. «Проклятая чухна, и за деньги ничего не достанешь, коть умирай съ голоду», ворчаль я. Наконецъ, зайдя на одинъ дворъ, усматриваю отворенную дверь въ какой-то чуланъ, а въ чуланъ: на полкахъ и на полу множество кринокъ съ молокомъ. Я обрадовался: перспектива голоданія удалилась отъ меня. Вхожу. Передо мной очутилась старая, безобразнъйщая чухонка.

— Есть у васъ хаббъ? — спросиль н. — Есть, — процедила она неохотно, почти злобно черезъ свой беззубый роть. - А что возьмешь съ меня за ломоть клібба и кружку молока? — Ничего не возьму, — еще злобнъе процъдила старая корга - Я даромъ не хочу, а за все заплачу тебъ, сколько положишь. -- Ни даромъ, ни за деньги ничего не дамъ, ступай отсюда, баринъ! — Отчего-жъ не продаешь? Въдь у тебя здъсь много горшковъ съ молокомъ. — Сказано не дамъ, такъ и не дамъ. — Такъ ты хочешь меня уморить съ голоду! Такъ слушай же: прежде, чёмъ умереть съ голоду, я проклинаю тебя и твой домъ. Пусть онъ сгорить до тла, совежив твоимъ скарбомъ и имуществомъ! Пусть твои коровы, телята и овцы передохнуть всё до единой! Пусть градъ выбыеть всё твои поля и огороды, и у тебя не родится ни зерна! Пусть и сама ты охромбешь и у тебя отнимутся руки или ноги! Знай, что въ прошломъ году, въ Новгородской губерній, сторьдо десять деревень отъ моихъ проклятій и пало десять стадъ коровь съ телятами и овцами; и всь поля были выбиты градонь. А два дня тому назадъ писали инъ, что въ Лугскомъ уёздё, гдё меня недавно обидёли, сгорёла до тла большущая деревня. Итакъ, подавись своимъ модокомъ; но не пройдетъ мъсяца, какъ у тебя не будетъ ни кола, ни двора и отнимутся объ руки, если я сейчасъ не набися и не сниму съ тебя проклятія. Аминь. Прощай, пожалъешь, да будеть поздно.

Произнеся такое страшное проклятіе, ничёмь не уступавшее извёстнымь проклятіямь Камиллы въ «Гораціяхь и Кураціяхь» Корнеля, я котёль уйти. Но не успёль переступить черезь порогь, какь беззубая чухонка бросилась ко мей въ величайшемь испуге, съ умоляющимь видомь и чуть не рыдая, проговорила:

— Баринъ, не уходи, прости меня, старую дуру. Вотъ тебъ, кушай на здоровье, сколько угодно. — И давай ставить передо мною горшокъ, другой и даже третій. Достала цълую краюху хльба и очень хорошаго, мягкаго. — Ладно, прощаю тебя и снимаю съ тебя мое проклятіе. Теперь будь понойна и не бойся ничего: будешь здоровъе прежкяго; ни одна жорова, ни теленовъ, ни овца у тебя не забольетъ, и все будетъ цълехонько. Аминь. — И вооружившись поданной мий ложкой, отрёзавь домоть хлёба, мигомъ убраль полгоршка превкуснаго молока и быль спасень отъ голодной смерти. Затёмъ вынимаю портмоне для расплаты. Куда! Старуха и слышать не хочеть брать съ меня денегь. — Ну такъ отдай ихъ бёднымъ или на церковь, — сказаль я, положивъ на столъ какую-то монету и вышель изъ чулана, оставя чухонку вполнё довольною иною, и самъ будучи вполнё доволень ею, а еще болёе ея молокомъ и хлёбомъ.

Я не могъ равнодушно глядъть, когда, безъ всякой вины, а просто для забавы, били собаку или кошку. Не разъ сердился я на одного изъ момхъ илемянниковъ за то, что онъ иногда потъщался надъ попавшейся ему несчастной кошкой — таская ее за хвость, или травя собакой. Но, гръщный человъкъ, крысъ и мышей ненавидълъ и не прочь быль отправить ихъ ad patres, въ особенности мышей, которыя перегрызии и перепортили у меня много книгь и рукописей, да прочитанной объективной газеты «Journal de St. Pétersbourg», которая за целыхъ 16 летъ копилась и хранилась на чердака въ ащикахъ, и которую любиль я еще и за то, что, сверхъ своей объективности, она была и благоприлична и не ругалась, какъ иныя, ни съ къмъ весьма неизящно, а порою и черезчурь забористо. Ее можно было брать въ руки безъ перчатокъ и не запачкаться. Хоть и прочитанная, старая, но все-таки было какъ-то жаль, совъстно уничтожать самому, зря, этотъ печатный хламъ. Что же до прочихъ потребностей домашняго обихода, на это шла у меня другая газета, русская, ultra-субъективная. Ну, такъ воть и взялись за дъло очищенія чердака отъ хлама мыши, у которыхъ, не такъ какъ у меня, оказалось очень мало совъстливости, не только относительно събдобиаго, удобоваримаго, но и въ отношенім газеть, самой тяжелой. неудобоваримой пищи не только для людей, но и для грызуновъ; а попадаются нерёдко и такія субъективныя газетки да журнадики, ихъ не переварять и желудки всёхъ страусовь, вийсти взятые.

4. Стараться сколь возможно менте одолжаться другими, но самому одолжать другихь сколь возможно болте, на сколько позволять мит мом средства; а часто, увы, и сверхъ моихъ средствъ, и въ явный себт ущербъ... И какже много, и какъ часто платился я за это и своимъ комфортомъ, — если только бывалъ у меня когда, не комфортъ, а пародія комфорта, — и своимъ спокойствіемъ, не говоря о сладостяхъ жизни, которыхъ лишь запахомъ удавалось мит иногда пользоваться, а самую суть уступалъ я другимъ. Ну, за все это и благодарили меня благороднъйшимъ образомъ, а въ добавокъ, какъ лестно для моего самолюбія обзывали меня порою нъкоторые изъ моихъ родныхъ и нъкоторые изъ знакомыхъ.

- 5. Безъ крайней необходимости, неизбъжности, такъ сказать, никогда не занимать, не дълать долговъ. А когда это было неизбъжно, и то лишь небольшими кушами, и не на долго, то занимать только у короткихъ моихъ знакомыхъ, которые хорошо, вдоль и поперекъ мена знають и безусловно мив върять. И затъмъ, хоть «лечь костьми», но уплатить всенъло и въ срокъ. Поэтому полковые мои товарищи часто говаривали: «Давать взаймы Манарову, все равно, что въ банкъ класть». Вывало, только что получу жалованье отъ казначея, сейчасъ же, прямо отъ него и почти бъгомъ къ моему кредитору. И если не застану его дома, иду, раздосадованный, къ себъ. Вдругъ встръчаю его по дорогъ. «Стой, мив нужно съ тобой переговорить». Веду его таниственно подъ ворота перваго дома, вынимаю изъ кармана и сую ежу въ руку мой долгъ. И такъ легко сдълается мив послъ этого, словно пудовую гирю сняли съ моихъ плечъ.
- 6. А чтобы исполнять предъидущія правила, то, во первыхъ: я никогда не бралъ карть въ руки для азартныхъ игръ; даже въ коммерческія игры и по самой маленькой, почти никогда не игралъ; во вторыхъ: постоянно себъ отказываль не только въ дорогихъ, но и въ дешевыхъ сладостяхъ жизни. Не жалълъ я денегъ лишь на то, безг чего нельзя было обойтисъ порядочному человъку. Теперь, чтобы показать сколь неуклонно слъдовалъ я моимъ правиламъ, я разскажу одинъ, изъ множества, разительный примъръ соблюденія нервыхъ трехъ правилъ и съ тъмъ вмъстъ образчикъ моей четвертой фобіи, т. е. себяфобіи, отразившейся потомъ невыгодно на всей моей карьеръ.

Въ одной изъ будущихъ княгъ «Воспоминаній» будетъ глава: Первый блинъ, да и комомъ», въ которой описывалъ я мою любовь, мою бурную, огненную страсть къ Аннетъ Гесслингъ, къ «большому ребенку», какъ ее называли, въ которую перевлюблялись тогда почти всъ прапорщики и подпоручики Литовскаго полка, половина поручиковъ, нъкоторые изъ ротныхъ командировъ, но не батальонные: чинъ не позволяль. Разумъется, я, какъ и большая часть моихъ товарищей литовцевъ, часто посъщалъ домъ ея дъда, восьмидесятилътняго пастора лютеранской церкви въ Ораніенбаумъ, къ которому Аннета часто прівзжала изъ Петербурга гостить. Понятно, что бывать у Андрея Ивановича (пастора) и созерцать тамъ мое свътило, любоваться восхитительной головкой и всей граціозной, стройной фигурой большаго ребенка, слушать ея очаровательный, мелодическій голось, засматриваться въ дазурь ея прелестныхъ глазокъ, было для меня пес plus ultra неземнаго блаженства. И вдругъ, ни съ того, ни съ сего, миъ покажется иногда, что я тамъ,

у пастора, не «изъ самыхъ желанныхъ» гостей, что меня принимаютъ безъ большаго удовольствія, такъ себъ, изъ въжливости, для счета. Ну и баста! Прощай мое небо, прощай лазурь дътскихъ глазокъ. Мъсяцъ, два, три туда ни ногой. Сердце у меня ноетъ, разрывается! Пустъ себъ ноетъ! пустъ разрывается! но ни за какія блага, ни за какія небеса, ни за какую лазурь не согласился бы я быть, гдъ бы то ни было, такъ себъ, лишнимъ, нежеланнымъ, оц різ aller. И вотт начинаютъ сыпаться на меня со всъхъ сторонъ восклицанія, вопросы отъ моихъ товарищей:

— Да что это, Макаровъ, не видатъ тебя у Андрея Иваныча? Да отчего это пересталъ ты бывать у Гесслинговъ. Тамъ всё удивляются, недоумёваютъ, всё спращиваютъ: «что это сдёлалось съ м-сьё Макаровымъ; отчего такъ долго онъ у насъ не былъ; здоровъ ли м-сьё Макаровь»? А м-сьё Макаровъ и въ усъ себё не дуетъ; сердце у него страшно болитъ, разрывается; онъ замерзъ, окоченёлъ, давно не грёвщись ослёпительными лучами своего солнца; а все таки ни ногой въ этому солнцу. Не довёряетъ восклицательнымъ знавамъ товарищей и сообщеніямъ о томъ, что «тамъ замёчаютъ, безпокоятся о его отсутствім». Наконецъ и встрётится онъ въ какомъ либо другомъ домё или съ мамашей, или съ одной изъ сестеръ большаго ребенка, а иногда и съ нимъ самимъ.

— Что это, м-сьё Макаровъ, вы совстиъ забыли насъ? За что это вы лимаете насъ такъ долго удовольствія видёть вась въ нашемъ домъ? Ради Бога навъщайте насъ, — и пр. и пр.

Ну, м-сьё Макаровъ и ръшится наконецъ снять съ себя зарокъ: со страхомъ и трепетомъ, съ замиреніемъ сердца отправится онъ къ своему божеству, къ своему солнцу, и тотчасъ же, въ первый же визить отойдеть, оттаетъ, согръется живительными лучами прекраснъйшаго изъ земныхъ свътилъ, лучами ораніенбаумскаго солнышка. А вотъ примъръ, въ подтвержденіе пятаго правила моей страшной боязни, чтобы ничья ни единая копъйка не пропала за мною.

Въ началъ семидесятыхъ годовъ разъ случилась мнъ крайность въ 800 рубляхъ. Вду я къ моему близкому сосвду по тульскому имънію, къ хорошему старому (съ 1840 г.) моему знакомцу Степану Степ. Стрекалову, этому образцу высокой честности и аристократа въ наилучшемъ смыслъ этого слова, безъ тъни гордости, чванства или тщеславія, всегда одинаково привътливаго, въжливаго и любезнаго не только со своими аристократическими собратіями, но и со всъми прочими смертными, далеко не аристократами, были бы только порядочные люди. Разумъется, онъ тотчасъ же и съ величайшею готовностью одолжиль мнъ эту сумму,

подъ простую росписку на уплату черезъ 4 или 5 мъсяцевъ. Бду я осенью въ Петербургъ, потомъ возвращаюсь оттуда съ деньгами, останавливаюсь на короткое время въ Москвъ и сейчасъ же къ Степану Степановичу на Тверскую противъ англійскаго клуба. Приняла меня его супруга, Александра Николаевна, эта благородивищая, прекрасивищая женщина. Ну, да объ ней нечего много говорить: ее знаетъ вся Москва по ея ангельской доброть, идеальной женской и христіанской добродътели, мли върнъе, по соединению всъхъ добродътелей; по неустающей, непрестанной благотворительности. А знаетъ ли она, старушка Москва, о ея тажно испытанной жизни, о томъ, что изъ троихъ любиныхъ ею дътей, она одну дочь, Екатерину, потеряла еще отроковицей, другую, Наталію, потерила послъ короткаго замужества ен съ княземъ Дивеномъ. Наконецъ единственный, горячо любимый ею сынъ, тоже Степанъ или, какъ его называли, «Копочка», прекрасивншій, рідкій молодой человікь, умерь вскоръ послъ своей женитьбы на Челищевой. Затъмъ потеряла она и его единственнаго сына, своего внука. Осталось у ней только отъ старшей дочери трое внуковъ, Ливеновъ, но не Стрекаловыхъ. И эти несчастія не ожесточили Александру Николаевну противъ судьбы, а напротивъ: еще болъе умиротворили, умягчили ея сердце, сдълали ее еще религіознъе, еще добрве, еще благотворительнве. Итакъ, какъ и всегда, Александра Николаевна приняла меня очень любезно и сказала, когда заговориль я о : Апсон чизом

- Мой мужъ убхаль за границу, а когда вернется, не знаю.
- Все равно: я привезъ деньги, которыя и прошу васъ принять отъ меня. Но только тутъ является вотъ какой вопросъ: по разсъянности, я забыль вписать мой долгъ въ мою приходную книгу и не помню 300 или 350 р. взялъ я. Поэтому прошу васъ достать мою росписку, чтобы разръшить мое недоумъніе.
- Какже это сдълать? Въдь мужъ мой не оставляль мят этой росписки и даже ни слова не говориль о вашемъ долгъ.
- Въ такомъ случав плачу вамъ 350 р. Это мой священный долгъ загладить мою разсъянность и забывчивость.

Убзжаю изъ Москвы из себъ въ деревию. Дней черезъ десять по мосмъ возвращения, прівзжаеть ко мив управляющій Стрекалова и говорить:

— Вчера получиль я письмо отъ Александры Николаевны: она питеть, чтобы я сейчась же отвезь къ вамь 50 р., излишне вами ей заплаченныхъ. Она отыскала вашу респиску, въ которой значатся, что вы взяли у Степана Ст. не 350, а только 300 р. Эти деньги все равно, какъ бы свалились инт съ неба. Ужъ коли зашла ртвь о моей неспособности — быть неякуратнымъ въ платежахъ долга, о болтвиенномъ, судорожномъ моемъ содроганіи при одной мысли о томъ, что можетъ пропасть за мной хотя единая чья либо коптию, то следуетъ разсказать не... «маленькій фельетонъ», какъ говорится иногда въ «Новомъ Времени», а маленькій казусь или казусикъ; и разсказать ради вящщей иллюстраціи вышесказанной моей неспособности, которую можно было бы назвать долгофобіей, и которая сразу угадывается и высоко цёнится заграницею, хоть, напримёръ, въ Парижъ, но уже только не у насъ въ Россіи, не въ Москвъ, не въ Петербургъ, чему разительный примёръ приведу я ниже. Но разъ встрётилось блестящее исключеніе изъ правила, и гдъ же? въ Тулъ!!!...

Живя постоянно въ деревий, въ трехъ верстахъ отъ передпосладней станців (Баранова) чугунки, не добзжая 20 версть изъ Москвы въ Тулу; осень, зиму и часть весны проживаю въ Тулъ, ради сыновей-гимназистовъ. Говорилъ я уже о моемъ отвращении — занимать иначе, какъ у короткихъ знакомыхъ и то въ крайнихъ случаяхъ; но уже ни въ какомъ случав не у коренныхъ туляковъ; Боже избави! Въдь это такой народець!!!.... А какой же, спросите вы, читатель. Ванъ очень хочется это внать? Ну, куда ни шло, удовлетворю ваше любопытство; но только не сейчась, а поздиже. И займусь я тогда съ особенной любовью «эвтими» милыми туляками, про которыхъ даже сложились двъ пословицы: «Доброй малой, да туляка», (есть варіянть этой пословицы: Всёмъ бы корошь, да тулякъ»), и «Въ Тулу не мудрено прівхать умникомъ, но мудрено выпохать из нее таковымь». Я сназаль уже, что, такъ накъ миж 72 года, то въроятно не заставить себя долго ждать минута моего отправленія Туда, куда не хочу уносить съ собою ничего зд'вшняго, особенно такой пикантной матеріи, какъ характеристика туляковъ стараго и новаго времени, грандіозныхъ и мизерныхъ, со степлышками и безъ оныхъ. Вёдь вы просто разведете и руками и ногами, когда узнаете, что это за милые, прелестные субъекты.... Возвращаюсь въ вредиту.

Итанъ, у провныхъ туляковъ я никогда не кредитовался, но въ нѣкоторыхъ лавкахъ, въ томъ числъ и въ инсной, забираю на книжку,
потому что весьма неудобно посылать за всякой малостью прислугу съ
деньгами, которыя не разъ и теряла она. Такимъ образомъ накопился
расчетъ съ инсной лавкою почти за мъсяцъ. И вдругъ, однажды, кухарка
теряетъ инсную книжку. Досадно. Ъду самъ въ инсную лавку Серебрякова и спращиваю: Сколько я вамъ долженъ? — А не знаю, батюшка!
Какъ не знаете? въдь у васъ должны быть записаны въ книгу мои за-

боры? — Някакихъ такихъ книгъ у меня, батюшка, не имъется. А платятъ мнъ господа по своимъ книжкамъ. — Да въдь мою-то книжку сегодня потеряла дура кухарка косолапая. Какже я теперь васъ разсчитаю? — А ужъ какъ вамъ самимъ заблагоразсудится: что дадите, тъмъ и буду доволенъ. Мой гръхъ.

Возвращаюсь домой въ большомъ раздумьи, какъ выяснить и сосчитать повърнъе на память цифры почти мъсячнаго забора. Сажусь за счеты, погружаюсь въ воспоминанія о ссъкахъ, филеяхъ, бифстексахъ, ростбифахъ, телятинахъ, и пр. и пр. Призываю на помощь жену. Болье часа прокорпълъ и надъ разръшеніемъ этой мясной задачи, корпълъ до испарины, но итогъ подвель: вышло 36 руб. съ конъйками. Отвожу самъ эти деньги и, съ наслажденіемъ, вручаю Серебрякову. А на другое утро приносятъ мнъ потеряяную книжку, которую вто-то нашель на тротуаръ, и прочтя заголовокъ принесъ ее въ лавку Серебрякова. Оказалась незначительная разница рубля въ полтора противъ моего расчета. Но съ тъхъ поръ, когда я привожу Серебрякову мой долгъ, иногда за два или за три мъсяца, и извиняюсь, что такъ долго не платилъ, онъ неизмѣнно говорить инъ:

— Помилуйте, батюшка! Да если бы вы не платили мит и въ продолжени года, такъ и тогда я ничуточки не обезпокоюсь. Втдь за вами-то
деньги втрите, чти у меня въ сундукт. У меня-то могутъ уворовать,
ну и пропали. А у васъ-то завсегда будутъ цтлы; хоть бы и украли,
вы навтрно мит заплатите. Я во всю жисть не забуду, какъ вы могли
мит не заплатить ни коптики, значитъ самъ я былъ виноватъ. А вы
тотчасъ же заплатили мит безъ всякаго спору вли сумленія.—Теперь о
вышесказанной способности умть угадывать долгобоязнь, т. е. честность
на расплату заграницею, и о способности не умть это угадывать въ
нашей матушкт «Рассет».

Жиль и съ августа 1851 по конець января 1852 года въ Парижъ, съ повойною второю женою и дочерью. Быль а свидътелень знаменитаго сопр d'état маленькаго Наполеона (по Виктору Гюго); ходиль посмотръть на баррикады, да не пустили, а въ добавокъ чуть меня не подстрълили, когда и, со многими русскими, смотръль изъ окна отеля Итальянскаго бульвара, какъ проходили мимо войска отъ церкви Маделенъ къ Портъ-Сенъ-Мартенъ, гдъ уже возникали баррикады. Это было на третій день послъ переворота 2 декабря. А за нъсколько дней до этого, находясь на хорахъ представительнаго собранія, я былъ свидътелемъ одной изъ самыхъ бурныхъ парламентскихъ сценъ.

Послъ премьерства Леона Фоще, ловкаго, умнаго и весьма себъ на умъ, сформировалось у маленькаго Наполеона самое лакейское и бездарное министерство, какое когда либо существовало, министерство Ториньи, который еще быль такъ себъ. Но прочіе, въ особенности министрь юстицін Давіель, злополучивйщій министришко. После громовых в речей Жюля Фавра и Теофила Бака, приносившаго жалобу собранію за то, что его гдъ-то арестовали, невзиран на его депутатскую неприкосновенность, вскарабкался на трибуну толстенькій эксь-прокурорикь и тогдашній министрикъ Давіель; вскарабкался и принялся оправдывать своихъ бездарныхъ коллегь, но какь? не то чтобы: «и пошель, и пошель», а «и понолзь, и поползъ». Наконецъ, такъ ужъ зарапортовался, понесъ такую околесную, что все разразилось громкимъ, неудержимымъ кохотомъ: и лъвая, и правая, и центръ. Возгласы, упреки, сарказмы сыпались градомъ на злополучнаго министра, который пыхтёль, заикадся, захлебывался, безпрестанно утирался платкомъ. Наконецъ долговязый, съдовласый и саркастическій президенть Дюпень, плуть изь умнівищихь плутовь, сжалился и громогласно принялся защищать министра, но какъ? Вотъ слово въ слово что и какъ прозубоскалиль онъ, съ президентскаго кресла, обращаясь въ депутатамъ всъхъ сторонъ:

— Messieurs, bien ou mal laissez parler le ministre (Господа! хорошо ли, илохо ли, дайте же говорить министру).

Боже мой! какой гвалтъ послъдовалъ въ собрании за этимъ злымъ сарказмомъ! Съ крайней правой раздалось:

 Г. президентъ! Вы, который долженъ защищать министра, а вы первый бросаете въ него грязью!

А сколько весьма интереснаго могь бы я поразсказать о многихъ другихъ актерахъ грязно-кровавой арлекинады 2-го декабря, и что слышалъя тогда отъ моего квартирнаго хозяина, преумнаго француза. Напримъръ: какъ Сент-Арно продаль республику Наполеону за уплату его огромныхъ долговъ; какъ потомъ онъ украль 300 тысячъ фр. изъ подъ пресъ-папье въ кабинетъ императора, и вслъдъ затъмъ смертельно ранилъ капитана Коримоза, ординарца императора и въ его глазалъ; какъ Евгенія потомъ слезно, на кольияхъ умоляла мать убитаго ординарца не разглашать объ втомъ кровавомъ дворцовомъ скандалъ; какъ этотъ Сент-Арно не захотълъ послъдовать примъру Маньяка, предавшаго за полтора милльона собственноручную записку Наполеона, въ которой этотъ парижскій декабристъ писалъ: Тиех, massacrez tout» (убивайте, ръжьте всъхъ). А за удержаніе у себя, про черный день, этой гуманной записочки, послали его потомъ въ Крымъ — пожинать лавры и кипарисныя вътки. Ну и дегъ

тамъ костьми пресловутый эксъ-актеръ, а потомъ военный и громадный министръ негромаднаго, а маленькаго Наполеона...

Итакъ, проходили по бульвару войска. Зрълище было весьма интересное. Вдругъ какой нибудь тротуарный зъвака крикнетъ неистово: «Vive la république!» А всібдь за этимь конный жандармь вихремь налетить на врикуна и давай отсчитывать ему по спинъ полновъсные удары палашемъ, т. е. угоститъ фуктелями, говоря прежнимъ военнымъ языкомъ. На углу улицы Ришелье стояла кучка зъвакъ. Вдругъ вто-то выстрёлиль изъ нистолета въ проходившихъ солдать, и хотя никого не задёдь, но съ десятокъ изъ нихъ повернулись къ кучкё и пифъ-пафъ. Одна изъ пуль, шальная, понала прямо въ окво, изъ котораго мы смотръли и, прожужжавъ надъ нашими головами, ударилась въ стъну. Бывшій туть мой шуринь, Богаевскій, досталь эту пулю и спряталь на паинть. А когда я возвратился домой, въ улицу Шоссе д'Антенъ, то хозявнъ ввартиры предостеретъ меня, сказавъ: «Ради Бога не ходите, или хоть по меньше расхаживайте теперь по Парижу; въдь за ничто пропадете: васъ могуть застрелить въ толпе». И точно: когда въ тотъ же вечеръ отправилась наша компанія по Итальянскому бульвару къ Портъ-Мартенъ посмотръть на баррикады, чего намъ страшно хотвлось, то, начиная отъ бульвара Воньнуваль, стали намъ попадатся сперва лужи врови на тротуаръ, потомъ трупы убитыхъ, одинъ, два, наконецъ цълая группа. И все это мирные прохожіе съ зонтиками, подстріленные въ разгаріз революціонной сумятицы. А стёны одного дома были накъ решето отъ картечныхъ выстрёловъ. При проёздё артилеріи, вто-то выстрёлиль въ нее изъ этого дома. Тотчасъ же ивсколько орудій повернулись дулами къ дому, дали залпъ картечью, и случайно убили одного отставнаго французскаго генерала, мирно сидъвшаго за столомъ, и превратили въ ръшето ствну дома. Но баррикадъ мы не видали. Цвиь часовыхъ насъ не пустила.... Но я увлекаюсь монии воспоминаніями. Отложу ихъ до одной изъ будущихъ книгъ, гдъ сообщу о многомъ видънномъ и слышанномъ мною тогда въ Парижъ, и о чемъ нигдъ не говорилось въ печати. Возвращусь въ вредиту, о которомъ я началъ рачь.

Во время пребыванія моего въ Парижъ, я часто посъщаль Палеронль, и тамь закодиль много разъ въ оптическій магазинь Вальяна, гдъ сидъла весьма пожилая дама. Покупаль я разныя вещицы. Взяль для жены великольный элиптическій бинокль слоновой кости. Потомъ разсудиль взять такой же, но черный, для себя. Стоиль онь 50 фр. Достаю изъ кармана портионе; оказалось только нъсколько франковъ и банковый билеть въ 500 фр. Подаю, сказавъ: — Можете размънять? Дама не береть

билета и говорить: — Занесите деньги посль, когда нибудь. — Да въдь вы меня не знаете (она знала, что я русскій). — Такъ что жъ? А вы все таки мнъ отдадите, я это знаю. — Да узнайте же мой адресъ. — Не нужно. — Ну хоть мое имя. — И этого ненужно. — А какъ я не принесу вамъ моего долга, какже вы будете его взыскивать, не зная, гдъ я и кто я? — О, нъть! вы принесете свой долгъ, непремънно принесете, я въ томъ увърена. Я знаю, съ кюмъ имъю долю; въдъ не даромъ сижу я здъсъ въ продолжении двадцати лътъ. Такъ таки и не захотъла узнать ни моего адреса, ни фамиліи. Разумъется, на другой-же день я отнесъ ей 50 фр. Это, изволите видъть, кредить заграничный, полный здоровья и силъ. А вотъ образчикъ кредита «рассейскаго», т. е. чахоточнъйщаго, хилъйшаго кредитищки.

Жиль я съ начала 1869 по іюнь 1872 года на Вознесенскомъ проспекть, близь типографіи Печаткиной, бывшей Неклюдова, гдь печаталось тогда первое изданіе моего «Полнаго французско-русскаго словаря». Имъю я обыкновеніе выкуривать посль обеда сигау и запивать ее чьмъ нибудь: чаемъ, кофе или виномъ. Въ то время я выпиваль полстакана недорогаго сотерна въ 75 коп. (нынь онъ стоить 1 р. 25 коп. Явный прогрессъ въ «рассейскихъ» финансахъ и кредить). Браль я его постоянно у Денкера, что у Казанскаго моста. Захожу разъ туда и велю подать двъ бутылки сотерну. Подаютъ. Хвать за карманъ: портмоне забыль дома, что весьма ръдко случается со мною.

- Прикажите отнести этотъ сотернъ ко миѣ на квартиру, а деньги запесу къ вамъ завтра: а забылъ дома свой портмоне. На лице сидъльца, чистокровнаго остзейца, появилось недоумѣніе, нисколько не скрываемое, а очень многоговорящее.
- Что это? вы, кажется, не върите мив на полтора рубля, и тогда какъ я уже болъе двухълътъ беру у васъ вино и вамъ хорошо извъстны и мое имя, и моя квартира! Остзеецъ замялся, но не сконфузился и проостзеилъ:
- Что жъ дёлать, господинь? Съ полгода тому назадъ къ намъ ёздиль одинь господинь, такой важный, въ каретё и съ дакеемъ. Забиралъ у насъ вина, платиль; а потомъ набралъ рублей на 30, да больше и не пріёзжалъ. Ищи его теперь.
- Да потому-то онъ, быть можеть, и не заплатиль, что не приходиль, а прівзжаль къ вань въ кареть, и съ лакеемь.
  - Что жъ дълать, господинъ?
- -- A воть что: домой я, можеть быть, не попаду ранке обкда. А курить сигару, не запивая виномъ, не люблю. Такъ воть вамъ въ обез-

печеніе золотое кольцо, стоющее 15 р., сказаль я и, снявь кольцо съ пальца, подаль его сидёльцу. На этоть разь остзеецъ сконфузился, не браль оть меня кольца, а протянуль мит одну изъ бутылокъ.

- Благодарю вась за огромный кредить. Стало быть вы находите, что я стою не болье 75 коньекь, а полутора рублей не стою. Отказываюсь отъ вашего сотерна, и отъ кредита, не желая быть причиною вашего страха за цълость вашего капитала и удаляюсь. Прощайте, и не до свиданья, а на всегда. Зайду, возвращаясь домой, къ Шиту въ Большой Мъщанской и буду брать у него .-- Не правда ли, какой тонкій оствейскій такть и умінье угадывать порядочных и честных виней? Но и у православныхъ не лучше; а то пожалуй и похуже. Много, много разъ имълъ я случай убъдиться въ этой дафатеровской способности моихъ милыхъ согражданъ, хотя бы напримъръ относительно поддержим и кредита, какіе оказывали мив ивкоторые наши меценаты въ объекъ столицахъ, въ снабжении меня средствами въ изданию моихъ словарей. даже подъ върнъйшее обезпечение двумя рублями за рубль. А равно и вредита по отпуску мив бумаги въ долгъ подъ такое же вврное обезпеченіе. Но обо всемъ этомъ подробиве скажется въ носледней кимга, которая будеть резюмировать мои жизненныя похожденія.

Я быль еще страшевитий мечтатель, заткнуль бы за поясь любую молочинцу изъ басии Лафонтена. О чемъ только не мечталъ я? Но главною, любимою моею мечтою была сущая бездёлица: сдёлаться богатымь, страшно богатымъ, такимъ, у котораго не только куры, но и всъ пътухи, гуси, индъйки и даже утки, — а въдь онъ извъстны своею прожорливостью, -- словомъ всъ домашаје пернатые могли бы вволю клевать и не выклевать. И мечталь я о богатствъ не для себя, совсъмъ нътъ: я нивогда не быль и не буду падокь на корысть, умёль и всегда буду умъть довольствоваться не многимъ, необходимымъ (но въ хорошихъ сигарахъ съ рюмкою хорошаго Шато-д'Икемъ я себъ тогда не отказываль бы). А мечталь я о богатствъ для того, чтобы дёлать безконечную массу дебра. И было бы у меня тогда много честныхъ и гуманныхъ секретарей и сотрудниковъ, которые помогали бы мев отыскивать на чердакахъ и въ подвалахъ Петербурга и Москвы несчастныхъ, голодныхъ артистовъ, художниковъ, начинающихъ писателей, въ особенности, несправедливо и зазорно обруганных гуманными журнальными Шемяками. И выстрояль бы я тогда, и не одинь, а нъсколько огромныхъ домовъ, съ многочисленными меблированными комнатами, которыя отдавались бы безплатно со столомъ, съ медицинской помощью и разными удобствами вышеръченнымъ меньшимъ братьямъ обоего пола. А чуть у кого плохое бълье или одежда, и этимъ снабжались бы они даромъ изъ огромнаго магазина платья и бълья. И это было бы для меня превыше встать земныхъ почестей и наслажденій, за исключеніемъ — любить и быть любимымъ избранницей моего сердца. И мало ли еще какой міръ мечтаній и желаній, филантропическихъ и гуманитарныхъ, неустанно роился и кишъль въ моемъ воображении и въ сердцъ съ тъхъ поръ, какъ я сталъ себя помнить, т. е. отъ ранняго отрочества и до преклонныхъ лъть. О если бы были у меня средства дълать добро, много, много добра, какъ бы я быль тогда счастливь, счастливье всьхь владыкь и спльныхь міра! И во въки не пожелать бы для себя инаго счастія. Но, увы! Охота смертная, даже участь горькая. Не только для меньшой братіи, но и для себя-то самого приходилось не разъ ломать голову надъ разръшеніемъ соціальной ввадратуры вруга, — какъ и чъмъ прожить, — самому-то бы еще ничего, а то съ женою и дътьми извъстное трудное время, какъ напр. во время последней войны съ турками, когда все думали уже не о книгахъ, и даже не о словаряхъ, а о томъ, какъ бы свести концы съ концами.

А сколько пользы и добра могъ бы и сдёлать для общества, еслибы попаль на свое мёсто и приложиль бы къ дёлу мою энергическую дёнтельность! Но занятіе такого мёста возможно не на востоке, а на западе, гдё всякій способный и неутоминый дёятель можеть приносить пользу отечеству не только ст малыму чиному, но и безу всякаго чина, былу бы только умену, даровить, дъятелень и честень.

## «Chaque pays a sa mode».

Китай, его давдиать тысячь церемоній, чай, чинъ состоять въ самомъ близкомъ, тёсномъ родствъ между собою; гдъ же туть найти мъсто справедливой и раціональной опънкъ человъческихъ способностей и достоинствъ? Чай и чинъ, чинъ и чай — всему голова, это — альфа и омега расы славянскикъ скиеовъ. И что всего ужаснъе: противовъсомъ этой затхлой китайщины являются, не гражданскія доблести, а... динамитъ и нитрогищеринъ. Окутайся же въ черное покрывало, истинная гражданская доблесть! Спрачься и сиди подъ спудолъ, пока и подъ тебя не подведутъ мину, и не взорвутъ тебя. А вотъ образчикъ моего отвращенія къ займамъ не у самыхъ короткихъ знакомыхъ.

1832 года 15 августа, въ Оранівновумъ собрадась, для загородной прогудки, навальнада литовскихъ офицеровъ, въ которой и я принималъ участів. Своей лошади у меня не было, а предложилъ мев свою одинъ изъ нашихъ капитановъ, но не предупредилъ меня, что лошадь эта, бывшая черкесская, горячая, здая, почти бъщеная. Когда явился и на

мъсто сбора, передъ присутственными мъстами, уже всъ участвовавшіе въ кавальнадъ уъхали. Подхожу къ назначенной для меня лошади, которую держаль подъ уздцы деньщикъ капитана; она чуть не укусила меня и затъмъ стала лягаться, но меня не задъла. Вскочилъ я на нее, но не успълъ хорошо усъсться и понръпче подобрать поводья, какъ она занусила удила и, какъ стръла, поичалась впередъ, по дорогъ къ дворцовому саду. Невдалевъ впередъ лежалъ глубокій, широкій и выстланный намнемъ ровъ. Лошадь взяла лъвъе, мимо моста и мчалась прямо въ ровъ. Остановить ее не было возможности. Перескочить черезъ ровъ еще менъе, такъ онъ былъ широкъ. «Ну, подумаль я, прыгнетъ въ ровъ и поминай какъ звали, костей не соберешь». Но, выбирая изъ двухъ золъ меньшее, я вынулъ ноги изъ стремянъ и, за нъсколько шаговъ отъ рва, прыгъ на всемъ скаку на землю. Окаянная же лошадь, прискакавъ на край рва, остановилась какъ вкопанная.

Не помию, что и какъ произопио со мной посив отчаяннаго прыжка. Ударъ быль страшный, лъвымъ плечемъ о землю. Попробовалъ было я приподняться, кровь клынула у меня ртомъ и носомъ. Я потеряль сознанів. Отъ сильнаго удара, сюртукъ мой распоролся по шванъ, распоролись и задніе карманы. Въ ту минуту проходили мимо двое полковыхъ музыкантовъ. Увидевъ офицера, лежащаго въ крови, безъ чувствъ, они подхватили меня подъ руки и поволокии во дворецъ, гдв, какъ у офицера роты Его Высочества, была моя квартира, возлъ самой церкви. Покойный Михаилъ Павловичь даваль квартиру въ своемъ дворцъ офицерамъ своей роты и полковникамъ. Приволокли меня, уложили на постель, привели доктора (Прокоповича, только что выпущеннаго въ полкъ изъ Мед.-хир. Академін и сдъдавшагося тотчасъ же моимъ закадычнымъ другомъ), который пустиль мив кровь изъ правой руки. Аввое плечо страшно распухло, такъ что пришлось разръзывать рубашку и рукавъ сюртука, чтобы снять ихъ съ меня. Два мъсяца ворочали меня съ боку на бокъ. Но молодость взяла свое, я сталъ поправляться, а силы возвращаться ко мев. Но только после въ продолжении тридцати леть не могъ я ни спать, ни лежать долго на лёвомъ боку: сейчасъ начинало ломить дёвое плечо.

Вотъ въ эти-то два мъсяца моего заключенія истощились вст мои небольшіе фонды. И какъ нарочно, замедлили съ выдачей жалованья и казначей не прітумаль изъ Петербурга. Произвожу ревизію моей кассы: оказалось на лицо всего четыре двугривенныхъ; не жирно, чортъ возьми! Посылаю къ одному товарищу: сухи лелюхи; самъ сидитъ безъ гроша и, въ ожиданіи благъ, т. е. жалованья, кормится въ долгъ у Шмита

(трактирщика). Посылаю къ другому, третьему — та же исторія. А закадычный мой другь, соратникъ и сожитель, поручикъ Крыжановскій, въ Петербургъ, гостить у своего дяди, казначея капитула орденовъ и, въроятно, любезничаетъ съ своей кузиной, въ которую, говоря мимоходомъ, я былъ влюбленъ заочно, воображеніемъ, никогда ее не видавши, по разсказамъ друга, что она — прехорошенькая и преумненькая и еще, важная причина — прочитавъ ее премилое письмо къ кузену, гдъ она, между прочимъ, писала «что красота у мужчинъ — послъдняя вещь». Ну возможно ли послъ этого не влюбиться? Не знаю, какъ думаете объ этомъ вы, любезный читатель, а по моему — невозможно.

Итакъ необходимо было испробовать мои финансовыя способности, придумывать, ухищряться не хуже нынёшняго турецкаго министра финацсовъ...., да пожалуй и многихъ другихъ странъ. Въдь за плохимито финансами дёло не станеть, они сплошь да рядомъ.... А между тёмъ достать денегь и сколько угодно, было для меня весьма легко: стоило только обратиться къ моему ротному командиру, капитану Тинькову, прелестивниему человнку и умници, жившему тоже во дворци, противъ моей квартиры на одной площадкъ. Но тутъ встрътилось неодолимое для меня препятствіе, хотя всегда радушно, ласково, какъ родной быль я принимаемь въ его семействъ, состоявщемъ изъ умиъйшей и мильйшей Парасковые Сергъевны, его жены, и еще изъ сына и трехъ дочерей, изъ которыхъ вторая, Софья, была потомъ дивной, ослъпительной красавицей. Просить взаймы хоть и у прекраситивато человъка и товарища, но съ которымъ я не быль на ты, это было до того не въ монхъ правилахъ, ни въ понятіяхъ, до того казалось инъ чудовищнымь, что я даже ни разу и не подумаль объ этомъ, а порешиль вопросъ о питаніи-это по прежнему, а по новому - вопросъ о «борьбъ за существованіе»; портшиль я самымь субъективнымь образомь, а именно:

- Эй, Иванъ! закричалъ я моему деньщику.
- Что прикажете, Вате благородіе?
- Есть у насъ черный хатьбъ?
- Есть, Ваше благородіе.
- II mnoro?
- Да, цълый большущій каравай. А скоро и еще другой принесуть такой же.
  - А ходить ли сюда молочница и по чемъ бутылка молока?
  - Ходить всякой день. А молоко по пятачку за бутылку.

Ура! Стало быть я снасень оть голодной смерти. У меня четыре двугривенныхь; значить инестнадцать пятачковь, хватить на шестнадцать дней «хорошаго обёда съ молокомь». Ну, а тамъ хлёбь можно и съ водой. Буду живъ, не умру. Воть и началась для меня спартанская жизнь: два ломтя солдатскаго хлёба, да бутылка молока въ день. Чёмъ это не обёдь? Въ осажденномъ городё и того подъ часъ не достанешь. Но не болёе пяти дней сидёлъ я на этой пищё Св. Антонія. Тиньковъ канъ-то пронюжаль пре мое невольное постничанье. Боже мой, какъ онъ сердился на меня и пуще всего скорбёль о моемъ постничаныи, когда мнё необходима была сытная, питательная пища для подерёпленія мо-ихъ силъ. Не хотёль слушать моихъ запирательствъ и увёреній, что я сытехонекъ и здоровехонекъ, положиль ко мнё на столь сумну, равносильную моему третному жалованью и, несмотря на мои протесты, что и пятой части этого съ меня будетъ, ушель отъ меня, сказавши: — Разсержусь не на шутку, если не возьмете этихъ денегъ.

Деликатничаль и благодушничаль, или вёрнёе глупиль я иногда въ дёлахь и вопросахь о цифрахь весьма и очень почтенныхь, иноготысячныхь; но всего здёсь не перечтешь и не перескажены; да и къ чему? Однако-жъ разскажу еще хоть и о маленькой моей безсребренности; потому что нёкоторыя подробности этого разсказа довольно курьезны, чтобы познакомить съ ними моихъ читателей.

Въ 1863 году, живя въ тульской деревив, я получиль предложение отъ одной народившейся тогда большой газеты — быть ея корреспондентомъ. Корреспондироваль я ивсящевъ пять и затёмъ отвазался за немибниемъ досуга: я тогда приступиль въ составлению моего перваго лексикографическаго труда (Полнаго рус.-фр. словаря). А что до такой миверности, какъ гонораръ за пять мъсящевъ корреспонденціи, я и не подумаль обращаться за этимъ въ редакцію той газеты, и не подумаль потому, что какъ мнё казалось, тамъ не очень дорожили моимъ сотрудничествомъ и гдё, — все-таки это казалось мнё, — не очень щадилось и не избавлялось отъ уколовъ мое самолюбів.

«Мет не дорогъ твой подарокъ, Дорога твоя любовь»

Поется въ русской пъснъ. А я, съ своей стороны, тоже могъ бы пропъть:

«Люблю одну любовь безъ всякихъ я подарковъ, Но не могу териъть подарковъ безъ любви».

И это была тоже одна изъ ръзкихъ чертъ моего характера. Какъ

чорть ладону, боялся я всегда, чтобы вто нибудь не сдёлаль мнё подарка. Везь отвращенія могь и принять подаровь липь отъ близкихь родныхь вь день имянинь, да еще оть друзей, и то съ условіємь, чтобы это была малоцённая бездёлушка, въ родё мёдной пепельницы для сигарь, какихь нёть уже вь продажё. Ну еще отъ короткаго знакомаго фунть, а пожалуй и два, хорошихь конфекть.... но не болёе.... Это ничего, можно принять, потому что можно скоро порёшить, такъ чтобы подарокъ не могь кслоть мнё глаза.

Не жмите плечами, не морщитесь, гг. цёломудренные Зоилы на мою старческую болтовню. «Все это личности», готовы сказать вы.... Извините, это вовсе не личности, а моя, быть можеть, посмертная замогильная исповыдь. А вёдь не слёдуеть уносить съ собою Туда накую бы то ни было горечь, все это надо вылить изъ сердца и оставить здёсь, въ юдоли плача. Съ всепрощеніемь, а не съ досадою, не съ непріязнію должно явиться Туда. А канже достигнуть этого иначе, какъ не очистивь свое сердце поливищимь изліяніемь всего, что накопилось, наболёло въ немь въ продолженіи многихъ лёть?

Хоть и кратковременна была моя корреспондентская дъятельность и безъ всикихъ для меня результатовъ, но она принесла громадную пользу тульскому, и дворянскому, и крестьянскому обществу, и заслуживаетъ быть разсказанною. Это происходило въ началь эры мировыхъ посредниковъ. Таковымъ въ первомъ участив тульскаго увада былъ тогда нвнто М. Ив. Б., эксъ штабсъ-капитанъ гвардіи, богатый, сибаритъ и хлъбосоль, задававшій пиры и объды на славу, и съ сильнейшею протекціей и поддержкой: родной его брать быль любинымъ чиновникомъ министра Вн. Дёль, а самъ онъ быль лелённь тульскимъ губернаторомъ, который за него горой; словомъ: баринъ важный, сильный, не уязвляемый, не сломаемый, не вытуриваемый. А между тёмъ, котя это и быль человать добрайшей души, благороднайшій, но настояла крайняя необходимость его вытурить, и чёмь скорёе, тёмь лучше для пользы крестьянъ 1-го мироваго участва, для спасенія ихъ отъ ограбленія. И вытурить его не потому, что онь не только не выдумаль бы пороху, но еслибъ могъ, то уничтожиль бы всё извёстные порохи на свётё. Да и къ чему выдумывать еще новый порохъ, когда и старымъ-то истребляють сотии тысячь людей, и добро бы еще јерусалимскихъ гешефтиахеровъ (этимъ-туда и дорога); а то полезныхъ гражданъ, воиновъ, и часто истребляютъ ни за что, ни за нюхъ табаку, за то, что кто-то не приняль чьего-то посланника, или — зачёмь ключи оть чегото хранятся у того-то, а не у того-то?

Итакъ събдовало вытурить посредника и не потому, что онъ былъ черезчуръ благочестивъ, богомоленъ, расхаживалъ цёлый день по комнатамъ, въ особенности по чердаку, распъвалъ канты и кадилъ (буквально кадилъ), чтобы выкадить изъ дому всю нечистую силу.

И не потому, что онъ, вогда выбажаль, котя и весьма рёдко, но все-таки выбажаль въ свой участокъ, то всегда браль съ собою свой образокъ и свою лампадку для своихъ коленопреклоненныхъ моленій, — чужимъ образамъ и лампадкамъ не довъряль: свои были не въ примъръ лучше.

И не потому, что онъ нянчился съ какими-то, добытыми имъ отъ когото, мощами, или частію мощей, въдали про это одни только посвященные, которымъ, по уплатъ ими приличнаго жертвованія, такъ рублей во-сто, позволялось приложиться къ его святынъ, и за это они были уже застрахованы отъ всякихъ бъдъ, бользней и напастей.

Не правда ли:

«Свъжо преданіе, а върится съ трудомъ».

Но все это— исторически вёрно. По крайней мёрё я слышаль тогда обо всемь этомь оть многихь туляковь, и, между прочими, оть быв-шаго тогда тульскаго предводителя дворянства. Теперь о томъ, почему слёдовало вытурить посредника 1-го участка; безпремённо слёдовало по нижеслёдующимь его дёяніямь:

Во первыхъ: утромъ онъ бывалъ еще и такъ и сякъ. Но съ объда начиналъ прикладываться, добро бы къ своей святынъ, а то къ рюмочкъ ликерца, или наливочки, которая создавалась у него весьма художественно. Прикладыванія эти учащались, такъ что къ вечеру приходилъ онъ въ блаженное состояніе восточнаго теріака. И это почти ежедневно.

Во вторыхъ: вслъдствіе такихъ прикладываній онъ страшно опустился, обльнился, отяжельль, раскись, и потому почти не занимался дылами своего участка, и весьма рыдко выйзжаль изъ дому. Отъ этого страшно страдали всв дыла, и крестьянскія, и дворянскія; напримърь: исполни онь настоятельныя и повторительныя мои просьбы — прівлать но мий ввести уставную грамоту и поговорить съ крестьянами, послыдніе непремыно перешли бы на выкупь, какъ это и сдылаль онь у моего сосыда, у исправника. А такъ какъ и быль не исправникь, а личность безполезная, отъ которой ни шерсти, ни молока, то онъ прошеній моихъ и не уважиль, и такъ таки не прівзжаль ко мий, а крестьяне уперлись и на выкупь не перешли.

Въ третьихъ: всявдствіе частыхъ привладываній къ рюмочкань, и еще всявдствіе своего отяжельнія, обланенія, опьянанія, всани далани

участка нолновластно орудоваль его письмоводитель, бывшій квартальный увзднаго города, выгнанный изъ службы за непомърное взяточничество. Можно себъ представить, какой «козель быль пущень въ огородъ», т. е. въ 1-й мировой участокъ: поголовное ограбление крестьянъ злополучнаго участка; правды никакой, повсюду царило Шемякинство. И ничего нельзя было подблать: хоть и пьяный, но слишкомъ силенъ былъ мировой тузъ. Раздавался тамъ и сямъ робкій, въ четверть голоса ропотъ, не доходившій и до Тулы, а не то чтобы далье. Вотъ на такогото туза и оподчился я и подняль руку, не съ мечемъ, а съ перомъ. Не пожальть я красокъ для первой моей корреспонденціи, довольно длинной, столбцовъ на пять большой газеты, гдв и поместили ее въ 36 номеръ отъ 10 февр. 1863 года. Пришла эта корреспонденція въ Тулу и разразилась въ ней, какъ громовой ударъ, или върнъе, какъ бомба. Все чиновное и нечиновное встрепенулось, засустилось, заершилось, большею частію перетрусило: нанъ! напасть на такого туза, губернаторскаго и министерскаго любимца, и отделать на объ корки. Да это-приминаль... Въ тульскомъ клубъ № 36 «Голоса» переходилъ изъ рукъ въ руки, читался съ жадностью и на другой день пошель обходить весь городъ. Въ этотъ же день быль и мировой събздъ. Первый перепуганный быль губернаторь, прівхавшій на събедь и жалобно, слезно обратившійся ко всёмъ посредникамъ, за исключеніемъ одного, 1-го участка: онъ п на събзды-то прібзжаль рёдко: привладыванья къ святынъ да въ рюмочкъ и затъмъ выкаживаніе кадиломъ нечистой силы поважнъе мировымъ съъздовъ. Итакъ начальникъ Тульской губерніи обратился къ посредникамъ и, чуть не рыдая, спросилъ.

- Господа! Читали вы корреспонденцію въ 36-мъ номеръ «Голоса»?
- -- Читали.
- Кто написаль эту статью? \*).
- Макаровъ.
- Господа! вамъ слъдуетъ отвъчать.
- Вовсе не следуеть, потому что: во первыхь: это относится не къ намъ, а къ Михайлу Иванычу, такъ пусть онъ за себн и отвъчаеть. Во вторыкъ: отвъчать очень трудно, потому что все, что напи-

<sup>\*)</sup> Ненавида какія бы то ни было потемки, обожая свётъ, я никогда не прятался за анонимомъ или псевдонимомъ, кромё одного обруганнаго, и двухъ забракованныхъ моихъ романовъ (въ томъ числё и этихъ Воспоминаній, но только подъ другимъ заглавіемъ), да еще маленькой брошюрки. Но въ статьяхъ полемическихъ я выступаль всегда безъ маски, съ открытымъ лицемъ. Поэтому я просилъ тогда редакцію «Голоса», чтобы впредь выставляли полнов мое имя, что и было сдёлано.

сано Макаровымъ — великая правда. Въ третьихъ: это дёло литературное, а мы литературою не занимаемся.

Въ великомъ смущения и огорчения за своего любимца, вышелъ его покровитель изъ съъзда посредниковъ.

На другой день послё съёзда, являлось ко мнё въ номеръ нёсколько землевладёльцевъ (одинъ тверской), съ изъявленіями живъйшей благодарности за мою смёлую статью, которая, по ихъ словамъ, должна имёть самыя благодётельныя послёдствія, нарушивъ безиятежный, и для общества весьма вредный кейфъ многихъ посредниковъ, которые слишкомъ рано вздумали опочить на скороспёлыхъ лаврахъ.

Дошла громовая въсть о корреспонденціи «Голоса» и до героя этой статьи. И онъ встрепенулся, стряхнуль съ себя лёнь и, отложивь на время свои прикладыванія, въ испугь, въ лихорадкъ поспъщиль въ Тулу. Прочелъ статью, захныкаль, всплакнуль и, съ 36-мъ померомъ «Голоса» въ рукахъ, пустился въ паломничество, т. е. въ объёздъ сильныхъ тульскаго міра, если только могуть быть въ Туль таковые, а не пародім на сильныхъ міра. И вездё-то онъ хныкаль, и вездё всплакиваль, но ничего не добился. Было гораздо болбе ироническихъ, нежели сочувственных улыбокъ Послё этого проходить мёсяць, посредникъ 1-го участка пріободрился, пересталь жныкать, но не пересталь льниться и прикладываться пуще прежняго.... съ горя, въроятно. Да и что же оставалось ему дёлать съ горя, какъ не прикладываться? А письмоводитель его, эксъ-кварташка, нисколько не унялся и продолжалъ грабить попрежнему, если не пуще прежняго. Тогда отправился я во второй врестовой, т. е. корреспондентскій походъ и написаль новую длинную статью, съ болве густыми и яркими красками. Помвстили ее въ 69 номеръ «Голоса». Вотъ какъ я заключилъ эту вторую о посредникъ корреспонденцію:

«Во всякомъ случав, въ какой бы инстанціи ни рвшилось окончательно это двло, изъ него вытекають два неизбъжные вывода: или г. В. дол- окент быть судим за совершеніе им подлога, если я докажу это,— или, если я не усивю этого доказать, то я самт должент быть судим за ложное обвиненіе это.

Смъло, ребромъ былъ поставленъ мною вопросъ о посредникъ 1-го участва. Только бурныя событія въ Польшъ помъщали тогда, въ выс-шихъ административныхъ сферахъ, обратить должное вниманіе на мою статью, съ грознымъ обвиненіемъ въ подлогъ. Но какъ ни лелънлъ гу-

<sup>\*)</sup> Можеть быть в номѣщу эти двъ статьи въ Приложеніи: Исторія созданія мошть словарей, помъщу ради курьеза.

бернаторъ своего любимца, а все-таки, въ концъ концовъ, вынужденъ былъ пригласить его къ себъ и, хотя съ печальнымъ лицомъ, но серьезимиъ тономъ сказать ему:

— Подавайте въ отставку, поскоръе подавайте, а не то васъ подъ судъ, подъ судъ, подъ судъ.

Потому, что подлогь быль на лицо. И какой подлогь! Добро бы еще изъ за крупнаго интереса; а то изъ за лёни. Не желая тревожить свой постоянно опохмеляющійся нейфъ и пріёхать ко инё ввести уставную грамоту, онъ подписаль ее у себя въ домё въ деревнё, да еще заднимъ числомъ, да еще вотъ какъ: «я тамъ быль и уставную грамоту ввель». Тогда какъ и глазъ ко мнё не показаль. Право было бы, думаю, лучше, еслибы онъ подписаль такъ: «я тамъ быль, пиво медъ пиль, по усамъ текло, въ ротъ не кануло»... Ну ужъ въ «евтомъ» разъ извините: въ ротъ-то ему непремённо кануло бы, и порядочно.

Итакъ мироваго туза я вытуриль, ничто ему не помогло: ни родной брать, любишець министра, ни самъ министръ, ни благожелатель губернаторъ, ни тысяча душъ, ни объды съ художественными наливками. Другой заняль его мъсто, умный, дъльный, справедливый и нисколько и ни къ чему не прикладывающійся. Участокъ быль освобожденъ изъ неволи египетской, т. е. кварташкиной, вздохнуль и благословиль мое имя, потому что, кромъ меня, едва ли ито изъ туляковъ ръшился и могъ бы сломить и вытурить губернаторскаго любимца, рекомендованнаго ему въ посредники самимъ министромъ Вн. дълъ. Любопытна была потомъ встръча у губернатора вытуреннаго посредника съ тульскимъ предводителемъ дворянства, покойнымъ Докудовскимъ, — хорошій и умный быль человъкъ, дай ему Богъ царство Небесное.

- Это вамъ, Петръ Андреичъ, обязанъ я потерею мъста? плачевно, но и злобно хныкалъ на предводителя вытуренный. Я напиму на васъ статью.
- Полноте, Михайло Иванычъ! Вы прежде сами отпишитесь отъ статей Макарова, — отвъчалъ предводитель.

И была же у меня разъ сцена съ этимъ Михайломъ Иванычемъ, обладателемъ чудодёйственныхъ мощей и художественныхъ наливокъ; была гораздо ранъе его вытуренія, когда, въ полномъ собраніи посредниковъ, ураганомъ налетълъ я на него за одно его облыжное донесеніе, и когда тутъ же попросилъ его назначить мнъ «извъстное рандеву», а одного изъ его товарищей — быть моимъ свидътелемъ. Плибко перепутался и кажется потомъ заболълъ бывшій заправитель 1-го участка, котя и вымолиль у меня прощеніе. А накой страхъ навели тогда мои

корреспонденціи на тульское чиновничество! Покойный предводитель До-

 Никодай Петровичъ! Какъ огня боятся васъ, т. е. вашего пера, многіе тульскіе служаки; при одномъ имени вашемъ они блёднёють.

А лъть шесть тому назадъ (въ 1875 году), въ 287 номеръ тогдашняго «Новаго Времени». отдълалъ я всласть одного тульскаго, не туза, а «валета» пиковой... виновать «крёностной масти», хотёль я сказать, т. е. валета отъ кръпостныхъ дъль, каковыя дъла «оный валеть» тормозиль и мертвиль безбожнойшимь образомь. Сильно осерчаль тогда «оный валеть прекрасный» за мою правдивую статью, которая чрезвычайно порадовала и посмъщила большинство тулнковъ, не разъ страдавщихъ отъ его, «валета прекраснаго», торможеній, затягиваній и разныхъ прочихъ юридическихъ заковычекъ и закорючекъ. Покущался даже «оный валеть прекрасный» на диффамацію, да убоялся бездны премудрости, — но тормовить и даже хорохориться и фыркать не убоямся... Когда нибудь я спеціально займусь валетами, прекрасными и даже вовсе не прекрасными, но съ закорючками, займусь ими съ особенною любовію и поразскажу о ихъ валетной дънтельности вещи, и какія: назидательныя, курьезныя, забористыя, «ужасти» какія забористыя, за которыя, прекрасный, или не прекрасный валеть вполей заслуживаеть честь быть посаженнымъ въ банку со спиртомъ и въ кунтскамеру, маршъ. Десятки тысячь дюбопытныхъ посътителей привлекла бы эта банка со спиртомъ и съ валетомъ, если не прекраснымъ, то съ закорючками.... Во всякомъ случав, посадять въ банку, или нътъ, а не следуетъ молчать о томъ, отъ чего страдаеть и стонеть все общество; страдаеть жестоко, стонетъ громко, а валеты прекрасные и непрекрасные, и въ усь себъ не дують, а только ухимляются, да новыя заковычки и закокорючки придумывають для торможенія діль. А иные, не въ счеть абонемента, еще и хорохорятся, ухъ какъ хорохоряться, ни на волосъ не уступать индейскимь петухамь. А не погрози на петуха палкой, такъ пожалуй и ущипнеть. Но палки пътухи не любять, връпво боятся.... Итакъ долгъ наждаго честнаго гражданина, не труса, — говорить, говорить громко и указывать на зло, подлежащее устранению, или хотя исправлению.

Страдаль я часто, теряль много и разъ почти цёлое состояніе, отъ моей разсѣянности, что бы ей было пусто. Воть два образчика этого умственнаго паралича.

Весною 1845 года я должень быль встрётиться въ Петербургё съ однимъ тогдашнимъ воротилой и пріобщиться къ важнымъ дёламъ. Пріъхаль я туда, но только не для важныхъ, а для своихъ семейныхъ дёль — пристроивать моихъ дётей-сироть нослё смерти ихъ матери. А такъ какъ воротило не даль себё труда увёдомить меня заранёе о своемъ пребываніи въ Питерё, а я, съ своей стороны, по разсённюсти, тоже не увёдомиль его о скоромъ прибытіи моемъ въ сёверную Пальмиру, то и прожиль тамъ недёли двё, не вёдан о воротилё и неповидавшись съ нимъ. А этотъ послёдній взяль да и отдаль другому обёщанное инё дёло, которое принесло 25,000 р. чистой прибыли, ничёмъ не рискуя. Но это меня тогда ни сколько не огорчило; я быль раздавленъ страшнымъ горемъ— потерею обожаемой жены, а потомъ вскорё погрузился я въ эмпиреи какихъ-то розовыхъ и радужныхъ мечтаній о какой-то домогильной и даже замогильной дружбё, каковая дружба потомъ.... Ну да объ этомъ, быть можетъ, поговорю послё. А вотъ другой, неважный, в только смёшной случай моей разсённости.

Живя у дяди, во время моей первой отставки, въ его иманіи, близь Солигалича, вздумаль я однажды поохотиться съ ружьемъ дяди (своего у меня не было, потому что не осталось во мив ни мальйшей страсти въ какой бы то ни было охотв). Дядя и говорить мев: «Коля! воть тебъ пороховница, а вонъ тамъ, на каминъ, въ бутылкъ порохъ, но только въ этой, а не въ той: тамъ красное вино». Подхожу, беру бутылку и насыпаю пороху въ пороховницу. Отойдя отъ камина, замъчаю, что пороху слишкомъ много, надо отсыпать. Подхожу снова къ камину, отсынаю въ бутылку изъ пороховницы, остается мало, кочу еще немного подсыпать, и ухъ.... вмёсто пороху льется вино въ пороховницу; стало быть и въ вино уже насыпанъ порохъ. Такимъ образомъ удалось мит въ одно и то же время испортить и порохъ, и вино. А сколько разъ случалось мив на улицъ раскланиваться съ незнакомымъ, а мимо знакомаго пройти не поклонившись, и, спохватившись, раскланяться, когда онъ быль уже далеко отъ меня, т. е. поклониться ему въ «задніе». А разъ, еще въ шволъ подпраноричесвъ, выхожу я на смотръ, становлюсь во фронтъ. И вдругъ всв вокругъ меня разражаются громкимъ хохотомъ и, повазывая на меня пальцемъ, кричатъ : «Пинети, Пинети»! Я былъ въ полной амуниціи, съ ружьемъ въ рукахъ, но съ голой головой, безъ кивера. И забылъ-то я о сущей бездёлицё: о своей головё. А сколько разъ случалось мит перемъщивать письма. Напримъръ: были у меня два занадычныхъ друга: Семеновъ (съ которымъ я помърялся на охотничьихъ ружьяхъ въ «необыкновенномъ поединкъ», и съ того же момента перешель съ нимь съ ем на мы) и другой морякь Кадниковь. Въ началъ сорожовыхъ годовъ, первый жилъ въ Костромской губерніи, а другой, капитанъ-лейтенанть, служиль въ Новоархангельскъ (въ Ситкъ), и командоваль кораблемь. Онь утонуль вь 1843 году вь своей собственной кають, вь которую ворвалась общенная колна во время шторма. И коть разь написаль я цисьма: одному — въ Костромскую губ., другому — въ Новоархангельскъ, и отправиль на почту. И чтожь? дней черезь десять получаю письмо отъ моего костромскаго друга, который присылаеть мив обратно письмо, написанное мною Кадникову, а самъ пишеть: «Получиль твое письмо, но только не ко мнь, а къ какому-то другу Николаю, съ вопросами о жизни въ Новоархангельскъ». Разумъется, и тотчасъ же написаль два новыхъ письма и уже постарался не ошибиться въ адресахъ. Хорошо, что письмо мое застало еще въ Петербургъ корабль, отходившій въ Ситху разь въ годь. А года черезъ два получиль я отвъть отъ Кадникова, который писаль мнь, что вдругь получиль два моихъ нисьма: одно къ нему, а другое къ какому-то другу Владиміру.

Еще любиль я и наблюдаль строжайше порядокь и акуратность вы дълахь, счетахь и расчетахь. Но на моемь письменномь столь царить хаось домірозданный. Хорошо еще, что время оть времени, когда я долго роюсь въ этомь хаосъ газеть, журналовь, писемь, бумагь, записочень и разныхь письменныхь принадлежностей и, тщетно отыскивая вдругь понадобившуюся мнъ вещь, проклинаю свою горькую судьбу, жена сжалится надо иною, отыщеть, что мнъ нужно и водворить порядокь на моемъ столъ, но не болъе, какъ дня на три, или на четыре. И тамъ снова — увы и ахъ!

Ну, кажется, я все пересказаль... Виновать, не все еще: вспоиниль объ одной чертъ, могущей пополнить мою характеристику; это — самая педантская акуратность, всегда, вездё, во всемь и со всёми. Никогда никого не заставляль я ждать себя. Придеть ко мив, за чёмь либо, престыянинь, и я сейчась выхожу къ нему. Не терпъль, чтобы меня дожидались. Никогда, за весьма рёдкими исключеніями, я не опаздываль, приходиль всегда, по дълу ли, на свидание ли, ранве назначеннаго часа. Оть этого-то и создалась у меня привычка ходить постоянно скоро. На тротуарахъ удицъ никто меня не обгонялъ, а напротивъ: я обгонялъ всткъ. Но увы! съ иткоторыхъ поръ и меня стали перегонять. Покойный мой сынъ всегда говориль, идя со мною: «папа, ты слишкомъ скоро ходишь, я не могу посить за тобой». Еще: никогда не могь повернуться мой языкь, что бы объщать что либо кому небудь, если я не быль вполнъ увъренъ, что могу исполнить мое объщание. При малъйшемъ сомивнім, я руками и ногами отъ всяких воббіцавій, отказываю наотрівзь, несмотря ни на какія упрашиванія и назойливыя приставанія и мольбы. Но разъ объщаю что либо, я становлюсь кабальнымъ рабомъ своего объщанія и, quand même, хоть тресни, а исполню его.

Не могь я еще никогда понять ревность, глупую ревность. Понимаю я, что можно бояться — не умъть понравиться, заслужить любовь, или бояться, что бы не перестать нравиться, не перестать быть любинымь; бояться этого и дёлать все возможное и невозможное для того, чтобы избъжать горькой, жалкой участи ностылаго или брошеннаго любовника или мужа. Но ревновать къ кому бы то ни было жену или любовницу? О навъ это глупо и... даже забавно. Ревность нивогда нивого не спасала и не спасеть оть неудобства извъстныхь и не совстив граціозныхъ украшеній супружеских головъ. Напротивь: или она ускорить это нежелательное событіе, или даже изъ невозможнаго сділаеть его возможнымъ. Но убивать за невърность, т. е. за то, что перестали меня любить, за то, что я опостылёль, можеть опротивёль, а тёмь паче за то, что я не понравился и меня не полюбили? Ну, это верхъ такого безумія, такой уродинности, помноженной на такую непроходимо-неистовую глупость, подходящую къ гидрофобіи, что за такой «пассажъ» мало обрить голову, посадить на цёнь и обливать водой со льдомъ, а не лишнимъ будеть и постегать «извёстными по извёстной», и не маленько, а больненько. Въ дълакъ вздыхательныхъ, въ особенности, доходили до стецени раздувальнаго мёха, я прибёгаль къ формулё изъ русской пъсни: «Если любишь, такъ скажи, а не любишь — откажи». А ужъ я ли не вздыхаль какъ раздувальный мъхъ? «Ужасти» какъ вздыхаль! Я ли не втюрился по самую манушку въ восхитительную Аннету Гесслингъ, въ компаніи съ двумя или болье дюжинами моихъ литовскихъ товарищей. А все-таки и не подумаль убить «большаго ребенка» за то. что на всъ мои вздохи и охи она постоянно отвъчала ни къ чему не ведущими дътскими улыбками, хотя и ангельскими. Самого себя убить. это дёло другое, это дёло личныхъ возэрёній и вкусовъ. А о вкусахъ не спорять. Ну а ужь какъ пришло мив не въ мочь, я взяль да и вышель въ отставну, и убхаль протрезвиться на родину, въ глушь, не въ Саратовъ, а въ Чухлому и въ Солигаличъ. Ну и протрезвился и вылечился послъ полуторагодичнаго тамъ пребыванія. И убивать никого не понадобилось. Все, что по моему позволительно сдёлать въ казусё супружеской невърности, это: снять съ себя шляпу, превъжливо шаркнуть ножкой и, поклонивщись со всевозможною граціей, сказать: «Сударыня! вы не стоите чести, чтобы я васъ убиль; даже не стоите и того, чтобы я васъ побиль. Этой последней чести можеть быть удостоить васъ новый вашь сожитель. Затёнь инёю честь вамь кланяться и пожелать здоровья и всякаго благонолучія, кром'в чистой сов'єсти и уваженія честныхъ людей».

Безчестье жены должно убивать на поваль всякое къ ней уваженіе; а безг уваженія честной любви нътг, и не можетг, не должно быть. А одна скотская похоть оскверняеть святое чувство дюбви, унижаеть человъчество и позорить поилонниковъ одной илоти, низводя ихъ на степень, если еще не ниже, безсиысленныхъ и безсловесных тварей. Вспоминаю я одинь давниюній случай моей неревнуемости, и ума и находчивости меей первой жены. Въ сороковыхъ годахъ, жиль я съ нею въ деревив близъ Тулы, гдв и теперь живу. Вздумаль было тогда ухаживать за нею одинъ изъ сосёднихъ селадоновъ, петербургскій эксь-левъ, съ эспаньолкою а ля Бальзакъ, съ прическою а ля мужикъ и даже, кажется, дай Богъ намять, со стеклышкомъ въ глазу, и хотя... о ужасъ! хотя и не совсёмъ бойко «парлефрансейничалъ», но за то ужъ куда какъ бойко откалываль ногами на паркеть въ разныхъ «евданих» илясальных упражненіяхь. Ну, еще и угощаль, и пиры задаваль на славу. И даже, даже... прищуриваль одинъ глазъ, но только не помню который: со степлынкомъ или безъ «онаго». Какъ есть девъ. Вотъ и вздумалъ тогда селадонничать «евтотъ» шестидесятипятилътній молодой человъвъ... Съдина въ бороду а... и заселадонничалъ было уже совсвиъ нецеремонно и нетапиственно. Я нисколько не сердился, а хохоталь оть всей души надъ шестидесятицятильтнимъ юношей. А мой повойной ангель тоже сначала смёнися подъ самый нось селадону, а когда ей ужъ очень надобла навязчивость вздыхателя, не съдовласаго, упаси Боже, а какъ есть черномазаго брюнета, — на это существоваль тогда метаморфозическій порошокь Магарадзи, — надобль онь моей жень, она и отръзала ему, и разъ навсегда заставила замолчать:

- Скажите мив, мильйшій Ник. Ст.: кто вашь докторь? спросила она съ самой простодушно-дътской улыбкой.
  - Мой докторъ?... такой-то... да для чего вамъ это знать?
- А вотъ для чего: искусенъ ли онъ въ психіатріи? Если да, то вамъ слёдуетъ къ нему обратиться, и чёмъ скорёе, тёмъ лучше: опасность велика и близка, и вамъ надо серьезно у него полечиться.

Картина... Эксь-левъ, съ эспаньолной а ля Бальзакъ, причесанный а ля мужикъ, со стеклышкомъ въ прищуренномъ глазу, котвлъ было непремённо провалиться сквозь землю отъ такого конфуза, но «одначе-жъ» не провалился, отложивъ это до боле удобнаго случая. Къ тому-же онъ отлично умёлъ скользить по паркету въ мазурке и прочикъ пріятныхъ упражненіяхъ ногъ, но не головы, — да ну ее, эту голову! На что она? еще въ бёду съ ней попадешь и какъ разъ угодишь въ мёста не столь, а то и въ очень отдаленныя. Были бы крёпкія ноги, да еще хоть ка-

пельку мъднаго лба, ну и довольно для успъховъ въ большомъ свътъ. А все-таки настояль на своемь и провалился, но гораздо поздиве, этоть эксь-левь и задаватель великолённых и многостоющих празднествь; провадился въ пучину долговъ и долговыхъ обязательствъ. Пришлось проститься съ пышной обстановкой, но не съ голубоокой Фании, бывшей кормительницей Жужужки, Бобошки и Макашки покойной супруги, грандиссимъйшей изъ тогдащнихъ гранъ-дамъ. И пришлось докоротать свой въкъ въ скромненькой квартиръ въ Туль, впрочемъ на Кіевской. А въдь это Невскій проспекть Тулы. И по паркету онь уже не скользиль тогда, некогда, ну и старость одолёла; и даже порошовъ Магарадзи быль брощень, и брюнеть вдругь преобразился и сталь съдь аки лунь. А стеклышка все таки не понидаль. Итакъ, быль онъ тогда занять разръшеніемъ великаго міроваго вопроса: превратить глупенькую и смазливеньную Фанни въ артистки тульскаго «кіатера», да въ парлефрансейную даму. «Везъ этого нельзя жъ». На то онъ и эксъ-левъ, хотя и не бойкій парлефрансейникъ, гувернантку приставилъ къ своей голубоокой дурочкъ.

О, священный тёни двухъ ангеловъ: чудесной Саши и божественной Софи! Гдё вы? Если вы встрётились Тамъ, то, — и я вёрую въ это, — вы встрётились весело и, безъ злобы и ревности, протянули другъ другу свои бёлоснёжный руки, любовно облобывались, радостно посестрились и горячо молитесь обо мяё, также какъ и я никогда не перестану горячо молиться объ васъ. Вы были два ярко-блестящіе маяка въ моей жизни. Освётили на время мой путь, блеснули, обогрёли меня, познакомили съ блаженствомъ земнаго, но безупречнаго рая, и.... затёмъ отлетёли въ свою небесную отчизну, оставя меня во мракё и холодё сёверныхъ ночей, искунать страданіями мимолетное земное счастіе, и купить, цёною этихъ страданій, вёчное блаженство небожителей, между которыми вытеперь блещете какъ звёзды первой величины, вёроятно такія же звёзды, какъ и тё, про которыя сказаль когда-то Бахтуринъ въ своемъ «Красномъ Покрывалё»:

«О звёзды, звёзды, радость ночи! Кто вась такъ иышно засвётиль? Кто вы? Не дивныя ли очи Святой толиы небесныхъ силь?»

Объ этомъ курьезномъ и несчастномъ пьяномъ поэтъ, эксъ-гусаръ, я поговорю въ девятой книжкъ. Я хорошо его зналъ. Ояъ по нъсколько дней сряду гащивалъ у меня въ палаткъ, въ лагеръ подъ Краснымъ Селомъ, въ 1836 году. Онъ былъ передъ тъмъ за что-то разжалованъ въ солдаты. Выли у него два замъчательные таланта: разсказывать анекдоты изъ своей гусарской жизни, отъ которыхъ мы животики надрывали отъ смъха.

А самъ не улыбнется. Потомъ — импровизировать. Какую тему ему ни задайте, онъ вдругъ, безъ малъйшаго надумыванія, продекламируеть безъ остановки ивсколько десятковь самыхь звучныхь, гладкихь, плавныхъ стиховъ, усъянныхъ блестками тонкаго остроумія. Но когда онъ гостиль у меня, то штофъ простой водки на столъ и нъсколько домтиковъ чернаго хабба съ солью были sine qua non его гощенія у меня, или у кого другаго изъ монкъ товарищей. А какія прелестныя вещицы писаль онъ мий въ альбомъ, и писалъ, находясь уже «на пятомъ взводъ». Разъ залучили мы его къ себъ въ казармы на Выборгскую сторону. Прогостиль онъ у насъ три недъли. Очищеннаго давали ему умъренно, и онъ написаль, въ это недлинное время, лучшую свою драму въ стихахъ: «Кузьма Рощинъ», которан довольно долго держалась на сценъ Александр. театра. Разсказаль бы я хоть два изь его анекдотовь. П у вась, читатель, надорвало бы животики отъ смъха. Большая часть этихъ анекдотовъ были импровизаціи. Отлагаю, до 9-й книги, разсказъ нёсколькихъ импровизированныхъ имъ своеобразныхъ анекдотовъ, и поговорю теперь еще объ этомъ несчастномъ, если не геніальномъ, то высоко-даровитомъ поэтъ, допившемся до чертиковъ и умершемъ гдъ-то въ безизвъстности.

Возвращаюсь я разъ съученья въ лагеръ. Бахтуринъ спитъ на диванъ. На столъ штофъ водки, опорожненный на двъ трети. При входъ моемъ въпалатку поэтъ зашевелился, открылъ пьяные глаза и спросилъ хриплымъ голосомъ:

- Откуда?
- Съ ученья.
- Ну что?
- Распекали, охъ какъ распекли, не приведи Богъ!
- Макаровъ! давай мят перо и бумагу.
- На что?
- Напишу тебъ.
- Спи лучше; гдё тебё писать? Не только рукой, но и языкомъ-то ты насилу ворочаеть.
  - Давай, говорять тебь, давай: напишу.

Нечего дълать: подаю требуемое. Усълся Бахтуринъ на диванъ, схватилъ перо и, едва успъвая сохранять равновъсіе, моргая заспанными глазами, написалъ твердымъ и правильнымъ почеркомъ, безъ малъйшаго надумыванья, словно писалъ выученное на память; написалъ предестную импровизацію:

Однообразные досуги Смёнили бёшенство страстей; Безъ вдохновенья, безъ подруги Проходитъ время юныхъ дней. Я свыкся съ хладной тишиною, Душа печальна и нёма. Живу въ забвеньи сиротою, Нётъ грезъ для сердца и ума.

Когда жъ опять во мий проснется Порывъ любви, порывъ весны? Когда же чувство отзовется На гласъ знакомой старины?

Мое молчить воображенье Какъ льдомъ покрытая ръка. Приди былое наслажденье, Разсъй младаго старика.

И это было для него также легко, какъ для меня выпить рюмку хорошаго Шато д'Икемъ. Дня черезъ два повторилась та же сцена, но съ небольшимъ варіантомъ. Поэтъ спросилъ мой альбомъ. Подаю, а самъ сажусь возлё него и зорко слёжу за писаніемъ. Вотъ что и какъ импровизироваль пьяный поэтъ:

Макаровь! въ твой альбомъ гвардейской Я подмахну стишовъ злодъйской; Но отъ ничтожнаго пъвца Не жди похвалъ, не жди сравненій: Меня давно Парнаса геній Назначиль въ бракъ, какъ жеребца. Чтожъ написать тебъ, милой? Живи сто лътъ, люби друзей, Да удивляй своею силой.....

Ничего, не дурно для лыка не внжущаго. Но вотъ и послъдній, десятый стихъ. Я обмеръ, вскочилъ, всплеснулъ руками и завопилъ, почти въ отчаяніи:

- Сумасшедшій, разбойникъ ты эдакой! Ты испортиль мой альбомъ; что это подмахнуль ты туть?
- Ну, ну, не сердись: н поправлю, перемъню. И вотъ зачеркиваетъ онъ послъдній стихъ, вписываетъ другой, замънивъ въ немъ первое и послъднее слово другими:

Въ.... объятьяхъ миденькихъ.... цирцей.

Приведу еще, не все, а лишь конецъ одной изъ его импровизацій, и то потому, что она навлекла на себя громы одного изъ тогдашнихъ петербургскихъ цензоровъ.

Въ одномъ домѣ давали обѣдъ въ честь поэта. Шампанское лилось рѣкою. По окончанія пиршества, Бахтуринъ еле-еле могъ доплестись до кабинета хозяина, усѣлся на диванъ и собирался всхрапнуть. Не тутъ-то было. Въ кабинетъ входитъ прелестная дочь хозяина, съ альбомомъ въ рукахъ и говоритъ пьяному поэту:

- М-сьё Батуринъ! Нанишите мнъ что нибудь на память.
- Сударыня, не могу.
- Ради Бога напишите.
- Право слово не могу.
- А я не уйду безъ того, чтобы вы не написали.
- Ну, извольте.

Ставять передъ поэтомъ столикъ, на него чернильницу и перо; и Бахтуринъ вписываетъ прекраснымъ, четкимъ почеркомъ одну изъ прелестнъйшихъ своихъ импровизацій. Вотъ ся окончаніе:

Съ нёмымъ и грустнымъ изумленьемъ
На прасоту твою гляжу.
Какъ падшій ангель, съ умиленьемъ
На память небо привожу
И мыслю: милое созданье!
И эту душу загубя,
Что свётъ готовить ей? страданье,
Обманъ, быть можетъ, иль познанье
Міръ отвратительный тебя.

Попадись эта импровизація въ одинъ сборникъ, а сборникъ на судъ Ваала, т. е. цензора, который изракъ сладующій Соломоновъ приговоръ:

«Вы, г. авторъ, сравниваете себя съ чортомъ, а чортъ не можетъ и не смъетъ приводить себъ на память Небо, да еще и съ умиленіемъ (sic)». Далъе: «Какъ смъете вы, г. авторъ, называть отвратительнымъ тотъ міръ, въ которомъ живетъ Государь Императоръ (sic)?»

Вотъ такъ цензоръ! цъломудреннъе самато Катона цензора. А есле бы онъ и самъ назывался Катономъ и былъ бы современникомъ знаменитато римлянина, то «сей» послъдній, провъдавъ про соломоновскій судъ своего однофамильца, по всей въроятности, тотчасъ же подаль бы, по командъ разумъется, прошеніе о перемънъ ему фамиліп, осмъхотворенной россійскимъ цензоромъ - Соломономъ. Это напомнило мнъ одного обрусъвшато

француза, подававшаго когда-то прошеніе покойному Ниволаю Павловичу, тоже о перемінів ему фамиліи, не знаю почему то ненравившейся потомку древней Галліи. А покойный то Государь, преостроумный насмішникь, возьми да и выверни на изнанку французскую фамилію: вмісто Suchard, написаль Drachus. Потомь обрусили это имя такь: Драшусово. Разсказавь о ціломудренности цензора, не могу удержаться, чтобы не разсказать, при семь удобномь случай, кой что подобное о другомь цензорів конца пятидесятых и начала шестидесятых годовь. Воть нікоторые изъ его цензорских подвиговь:

- 1. Въ «Современникъ» помъщена повъсть, героиня которой названа Марією. И вдругь, въ одномъ мъстъ, цензоръ зачеркиваетъ Марія, вмъсто которой вписываетъ Анна. Редакторъ къ нему за объясненіемъ. «Нельзя: у васъ сказано: О ты, моя божественная Марія, а въдь это Богородица». Да какже: все Марія, а вдругъ Анна? «Нельзя-съ: намъ строго приказано: не допускать кощунства. Вотъ все, что могу для васъ сдълать» и, зачеркнувъ Анну, поставилъ.... многоточіе (sic).
- 2. Въ томъ же журналъ героиня одной повъсти изображена очень непривлекательно. Редактору запросъ: «Узнать у автора, какого чина его героиня? если не свыше 6-го класса, можно оставить. А если она статская (цензоръ самъ кмълъ этотъ междоумочный чинъ), а тъмъ паче тайная совътница, то не подобаетъ выражаться о ней такъ непочтительно (sic)».
- 3. Герой романа, турокъ, бросается на колѣни передъ своей возлюбленной и восклицаетъ: «Клянусь пророкомъ»! Цензоръ зачеркиваетъ и виъсто Пророкомъ, ставитъ Осадой Гента (такъ измъненъ былъ титулъ оперы Мейербера на сценъ русской оперы) (sic).
- 4. Извъстную поговорку «Бхалъ-чижикъ въ лодочкъ, въ адмиралъскомо чинъ, передълываетъ въ лейтенантскомо чинъ. «Такъ лучте; а не то Вел. Енязь генералъ-адмиралъ можетъ обидъться» (sic).
- 5. Вивсто Долговязый, ставить Пузаков». Такъ дучте; а не то гр. Панинъ можетъ обидёться (sic).
- 6. Вийсто Попъ, ставить надворный совтиниих Ханжиловъ. Такъ вёжниве, ну и остроумейе (sic).

Перечень этоть не вибщаеть и десятой части всёхь цёломудренностей высокороднаго цензора, про котораго бывшій и покойный министръ народнаго просвещенія, Ковалевскій, сказаль разь, тоже покойному, Гречу:

<sup>—</sup> Все это напуталь у меня дуракь О.... (sic).

Да! Бахтуринъ былъ настоящій, въ душт поэть; сердцемъ — незлобенъ и наивенъ, какъ младенецъ, поэтическимъ талантомъ и чувствомъ—
великанъ. Не потеряйся онъ, не упади, не предайся безпутной жизни;
дай сосредоточиться своей мысли, своему вдохновенію, своей неистощимой
фантазіи, а не давай имъ испаряться въ отрывкахъ, бутадахъ, въ безпрерывныхъ экспроитахъ, то вышелъ бы изъ него первоклассный поэтъ,
и много прекраснаго, въчнаго создалъ бы онъ. Былъ онъ не то, что нтыкоторые изъ нынте-стихотворствующихъ россіянъ, эти, не то что поэты,
а стиховропатели и риемоподбиратели, которые закативъ глаза подъ лобъ,
въ реально-пінтическомъ экстазъ, поютъ и заливаются все о чемъ-то такомъ туманномъ, неопредъленномъ, неуловимомъ, что и глаза самаго сокола, самые остро и дальновидные глаза инчего не откроютъ и не увидятъ. А иногда и увидятъ кое-что, когда они, риемоплетчики, запоютъ,
примтрно о томъ, какъ

## Поютъ птички, и синички, Хвостами мащутъ лисички.

Ну воть они и поють себь, эти первокласные микроскопическіе поэтики, и поють, и поють, и какъ сладкозвучно; а при этомь и хвостами своими машуть, машуть, машуть, и какъ граціозно!... Пойте и махайте хвостами, мои милые, но только чурь меня. Боюсь заслушаться ващего сладкопънія, заслушаться и.... заснуть словно оть дурманнаго зелья.

Такъ какъ я разсказываль объ импровизаціяль Бахтурина, то и позволяю себъ вписать сюда маленькую импровизацію-параболу, пришедшую мит въ голову, когда я говориль выше о двукъ ангелахъ. Это напданъ къ вышесказанному.

«Два ангела летели надъ землей, несли сосудъ съ божественнымъ напиткомъ, съ живой небесною водой. И видять вдругъ они, среди иустыни знойной, изнемогающаго, безпомощнаго странника, добраго, любвеобильнаго, лишеннаго силъ продолжать свой путь. Полные любви и состраданія, божественные посланцы остановились надъ умирающинъ отъ
жажды и усталости путникомъ, подлетёли въ нему на своихъ прозрачныхъ крыльяхъ, открыли божественный сосудъ и напоили его божественнымъ питьемъ, которое воскресило его. И когда странникъ набралъ достаточно силъ, чтобы продолжать свой путь далёе, до конца, ангелы
сказали ему: «Мужайся и крёпись, продолжай свой путь съ Вёрою,
Надеждою и Любовью, и ты болёе не упадешь до конца своего пути.
А мы полетимъ обратно Туда, и Тамъ доложимъ о тебё нашему Все-

держителю, а твоему небесному отцу. Ты же продолжай быть такимъ же добрымь и любвеобильнымъ, какимъ ты быль, и мы пріуготовимъ тебѣ ивсто между нами въ небесной обители». И улетѣли въ надзвѣздный міръ крылатые, минутные посѣтители и гости земли, и унесли съ собою божественный сосудъ; но усладительный ароматъ небеснаго напитка остался при путникъ и, въ тяжелыя минуты его жизни, подкрѣплялъ его силы, подникаль его падающій духъ. И, утомленный жизненнымъ путемъ странникъ, съ Върою, Надеждою и Любовію устремляль взоръ свой въ небо, и только Тамъ чаяль обръсть въчное успокосніе».

Теперь обращаюсь въ моимъ читателямъ съ просьбою простить меня великодущно за мою старческую болтовню. Мнт необходимо было разсказать о себт все ради того, чтобы, какъ сказаль я выше, «очистить себя отъ всякія скверны», тталь болте что, не только за «Задушевную Исповтдь», но и послт изданія моихъ словарей, пробовали бросать въ меня комки чернтйшей грязи, напримтръ: нашлись въ Тулт разные благопріятели, у которыхъ повернулся языкъ сказать, а у другихъ—передать, и кому же? моей жент, что будто я не расчель, обидтлъ моего сотрудника по рус.-фр. словарю (каковаго сотрудника у меня никогда не было), и послт трехъ лтт его добросовтстной работы, прогналь его ни съ чты !!.. Фуй, какія гадости! Не даромъ говорять: «добрый малый, да тулякъ», да еще: «Языкъ безъ костей, куда хочешь, туда и воротишь».

А еще не далже, какъ нынжшней весной, одинь тулякь, да еще и мировой судья, говориль одной дамк, пожелавшей нанять на люто флигель въ моемъ имкнім близь Тулы, — каковой флигель я никогда и пикому въ наймы не отдаю, а даю безплатно моимъ знакомымъ, что и сделаль на дняхъ относительно вышесказанной дамы; — итакъ, вышержченный мировой отпустиль следующую вовсе немировую штуку:

— Да сохранить вась Богь имёть какое-либо дёло съ Макаровымъ! Вёдь это — извистный скандалисть, съ которымь опасно и встрититься-то.

Воть какіе попадаются на Руси мировые антики! почище, не шашкою, разумѣется, а языкомъ; почище всѣхъ мирныхъ и немирныхъ черкесовъ разбойничьей памяти, и годятся хоть сейчасъ же въ посаженые отцы или въ шафера, смотря по лѣтамъ, турецкимъ баши-бузукамъ, какъ европейскимъ, такъ и азіятскимъ. И изъ за чего же это сыръ-боръ загорълся? Вѣдъ черкесамъ-то извинительно: они во 1-хъ, басурманы, а во 2-хъ и соблазнительно: можно кой-чѣмъ и поживиться отъ зарѣзаннаго или подстрѣленнаго гяура. Ну, а тульскій-то мировой и православный черкесь изъ за чего хлопоталь?... А такъ себъ, языкъ почесать... Въдь «языкъ-то безъ костей»; такъ пожалуй на здоровье, чешите, господа мировые и немировые, почешите у себя языкъ, или что другое, да только съ осторожкою, съ оглядкою; а не то.... Да такіе ли еще встръчаются мировые антики, годящісся уже не въ посаженые отцы, а такъ-таки прямо, черезъ чинъ, въ самые баши-бузуки, которыхъ, пожалуй, и за поясъ заткнутъ? Изъ множества таковыхъ, упомяну здъсь объ одномъ, петербургскомъ.

Однажды требуеть онь къ себъ въ камеру одного заслуженнаго гененераль-лейтенанта и его кучера, положимъ Халуева. Заставляеть онъ, мировой баши-бузукъ, стараго воина дожидаться малую толику времени, не обращая ни малъйшаго вниманія на то, что воинъ-то быль покрыть ранами на поль чести, и опирался на палку. Ну, а что быль онъ покрыть орденами, такъ это для славянскаго мироваго баши-бузука — последнее, плевое дъло. А «смъть такое сужденіе имъть» о военныхъ заслугахъ, въроятно было ему, баши-бузуку, строго на-строго внушено изъ какой нибудь ультра-либеральной лакейской. Вотъ израненый воинъ и говорить:

- Г. мировой судья! Я раненъ, не могу долго стоять: прикажите подать миъ стуль.
- Эй, сторожъ! подай стуль *генералу*; да подай стуль и господину Халуеву.

Такимъ образомъ рядышкомъ съ заслуженымъ, израненымъ генералълейтенантомъ посадили нисколько не израненаго его кучера.... Вотъ такъ либералъ, даже ультра и переультра-либералъ!... Прелестъ, заглядънье! браво! бисъ!

«Неправда», — снажуть мив какіе нибудь скептики. «Правда», отвёчу я, потому что все это слышаль я оть жены роднаго брата того генерала, съ которыми привелось мив однажды влать въ одномъ вагонъ изъ Москвы въ Петербургъ.

Да одни ли эти оборыши, или върнъе, рядовые, нестроевые юридической арміи, предводимой хромоногой славянской генеральшей Оемидой; одни ли они наводять уныніе на своихь славянскихь сограждань? Куда ни взглянешь, внизь ли, около ли себя, повыше ли, всюду поражаеть и печалить взоры здороваго зрителя тъ нравственныя и злъйшія золотуха и худосочіє, которыя разъбдають всъ слои и всъ іерархическія ступени общирнаго славянскаго царства. Для вящщей назидательности, я разскажу кое-что о моихъ собственныхъ мытарствахъ въ камеръ одного изъ Петербургскихъ мировыхъ судей.

При этомъ завъряю честію: все что буду писать о момъъ мытарствахъ, петербургскихъ или тульскихъ, все это — святая истина: ни слова неправды не позволю себъ.

Это было въ декабръ 1856 года. Я жилъ тогда на Васил. Острову, гдъ печаталось 1-е изданіе моего Полнаго рус.-фр. словаря въ типографім Неклюдова. Въ одно прескверное и предождливое утро получаю большой конвертъ, распечатываю и съ ужасомъ читаю:

«Мир. судья такого-то участка приглашаеть вась къ себъ въ камеру на такое-то число, къ 11-ти часамъ утра, для разбирательства по жалобъ на васъ кронштадтскаго мъщанина Филонова, въ искъ съ васъ 256 р. 50».

Я обмеръ, но еще болъе изумился и недоумъвалъ: никогда никакого Филонова я въ глаза не видалъ, даже не слыхалъ о его имени! Отправляюсь въ назначенный день и часъ и въ проливной дождь. Въ предвамерной народу тьма. Жду часъ, два; обо мнъ въ камеръ ни гугу. Я къ письмоводителю съ вопросомъ:

- Меня вызвали сюда къ 11-ти часамъ, а теперь уже второй часъ. Когда же начнется мое дъло?
- A Богъ въсть? Можетъ въ два часа, а можетъ въ три, а то можетъ и въ цять.
  - Такъ зачёмъ же вызывали меня въ одиннадцати, а не поздиве.
  - Да такъ, такой ужъ порядокъ (читай безпорядокъ).
- А здёсь этотъ г. Филоновъ. Письмоводитель онинулъ глазами аудиторію и сказалъ:
- Здёсь. Вонь онь сидить у окна. Это быль человёнь лёть 30-ти, прилично одётый и выбритый. Подхожу и спрашиваю:
  - Вы г. Филоновь?

  - Вы подали жалобу на мајора Макарова?
  - Подалъ-съ.
  - Онъ долженъ вамъ 256 р. 50 к.?
  - Долженъ-съ.
  - У васъ есть на это доказательства?
  - Есть-съ.
  - Вы знаете Макарова? Молчаніе.
  - Видали его когда нибудь? Молчаніе.
- Макаровъ, это я, къ вашимъ услугамъ. Сильное изумленіе, морганіе глазами и нъкоторое содроганіе въ тълъ прилично одътаго и безбородаго господина.

- За что это, г. Филоновъ, пожаловали вы меня въ мошенники и въ подлецы?
  - -- Помилуйте-съ; какъ это?
- Да такъ. Въдь по вашимъ словамъ у васъ есть доказательство на мой вамъ долгъ. Такъ прежде, чъмъ жаловаться, вамъ бы обратиться ко мит съ этимъ доказательствомъ. Я, можетъ быть, сейчасъ же и заплатилъ бы вамъ этотъ долгъ и избавилъ бы и васъ и себя отъ путе чествія въ такую скверную погоду. А вы взяли да и поръщили, что я вамъ не заплачу, т. е., что я подлецъ.
  - Я любию лучше жэловаться (слово въ слово).
  - О вкусахъ не спорятъ.

Итакъ, непроницаемая таинственность продолжала царить надъ моимъ дъломъ. «Что сей сонъ значить», вопрошалъ я мысленно возникшаго передо мною сфивкса въ образъ кронштадтскаго мъщанина Филонова? Но сфинксъ упорно молчалъ и только глядълъ то въ полъ, то въ потолокъ, порою громко сморкался и откашливался. Наконецъ послъ трехчасоваго сидънія въ предкамерной, сторожъ подошелъ ко мнъ и сказалъ: «Пожалуйте въ камеру».

Вхожу, Сфинксъ тоже. Сидбло тапъ насколько любителей эксаловаться. Были свободныя мъста. Я съль налъво, сфинскъ направо. Разбиралась масса дъль, а до моего все еще не доходило. Рискнуль было я разъ сказать представителю мировой Өемиды, что меня вызвали къ 11-ти часамъ, а теперь уже три. — Молчать и дожидаться! — зычно прикнула на меня мировая Оемида, уже очень не молодая и даже превосходительная. Впрочемъ надо отдать справедливость ся крикливымъ способностямъ: почти ни одно разбирательство не обходилось безъ прика, развикъ, quasi невъжливыхъ замъчаній, внушеній и обрываній громогласнымъ молчать. Словомъ, г-жа мировая Өемида вела себя ни дать ни взять какъ генераль тридцатыхъ годовъ, хорохорящійся на ученьи передъ своею частью. Только въ 5 часовъ, когда камера уже опустъла, мой противникъ и в были позваны въ разбирательству. На запросъ судьи «какія у васъ доказательства справедливости вашего иска», мой противникъ досталь засаденную книжечку и подаль ее. Книжка развертывается: на первой страницъ написано: «1855 года въ маъ, архитекторъ Тибленъ принялъ на службу шлиссельбургскаго мъщанина Каткова, съ платою ему по 20 р. въ мъсяцъ». Мироваго сильно покоробило.

— Что это значить! въ внижкъ Тибленъ и Катковъ, а здъсь—Макаровъ и Филоновъ? — Извольте посмотръть въ книжку, гдъ и найдете доказательство долга г. Манарова Каткову. — Книжка долго перелистывается и наконецъ на одной страницъ значится: «Выдано Каткову 5 р. въ счетъ жалованья. Н. Макаровъ».

- Aaa! вотъ оно воскликнуль весело васильеостровскій мъритель правосудія, видимо обрадованный открытіемъ (равносильнымъ открытію Америки) такого яснаго противъ меня доказательства. - Что это? оправдывайтесь. — А вотъ что: въ концъ 1854 года купиль я близъ Шлиссельбурга заводъ вийсти съ архитекторомъ Тибленомъ, уйхалъ въ деревню и поручиль ему наблюдать за заводомъ, но только на словахъ, не давая довъренности, потому что всё деньги за заводъ были мои, а у Тиблена были одив только надежды да объщанія. Въ мое отсутствіе онъ приняль Каткова на службу, но никакого условія съ нимъ не заключаль. А когда и возвратился на время въ Петербургъ, Катковъ явился ко мет и выпросиль у меня 5 р., которые я вписаль въ книжку. Тиблень, за неимъніемь денегь, выбыль потомъ изъ моего компаньонства, а я вскоръ убхаль заграницу, гдъ пробыль 7 мъсяцевъ. Безъ меня управляющій заводомъ уволиль Каткова за нетрезвость и плутовство. Въ 1857 г. Катковъ подалъ на меня жалобу С.-Петербургскому генераль-губернатору, но ему тогда же отказали наотрёзь въ его искъ. Съ тъхъ поръ заводъ мой давно уже перешель въ другія руки; да и самъ Катковъ, кажется, умеръ. Вотъ все, что я знаю и что могъ припомнить по прошествін такого долгаго времени.
- Все что вы сказали, всего этого мало, чтобы опроверснуть справедливость иска г. Филонова. Даю вамь двё недёли срока для отысканія и представленія мий болёе вёских доказательствъ правоты вашего дёла. Въ противномь случай вамь придется заплатить 256 р. 50 к. (Sic). Соломонь, сущій Соломонь. Вышель я изъ камеры голодный и разбитый отъ усталости, отъ тошноты и отъ премудрости васильеостровскаго Соломона. Проходять двё недёли. Доказательствъ болёе вёских я не отыскиваль, по той простой причине, что ихъ нигдё не находилось, кромё какъ въ десятилётней давности и уродливо нелёномь якобы доказательстве ничего не означающею подписью подъ выдачею ияти р. Итакъ я снова въ мировой камерё. На этотъ разъ не до 5, а до 6 часовъ держать меня, такъ что прежде разобрано было даже послёднее курьезное дёло о собаке, каковая собака находилась на лицо въ камерё и страшно важничала передо мною, и не напрасно. Дёло было вотъ въ чемъ:

Идеть по тротуару одинъ господинъ съ палкою, но безъ собаки. На встръчу ему другой — съ собакою, но безъ палки. Палка собакъ не нравится, она бросается на ея владъльца и наровитъ его укусить. Вла-

дъльцу палки не нравится то, что собана хочеть его укусить, и онъ хвать ее палкою. Собакъ сильно не нравится, что ее кватили палкой, и за это она рветъ пальто господина съ палкою. Господину съ палкой сильно не поправилось рванье на немъ пальто, и онъ порядкомъ вздулъ за это собаку палкой. Господину безъ палки сильно не понравилось, что вздули налкой его собаку. И воть изъ этихъ двухъ господъ, да изъ собани, палки и рванаго пальто родилась двойственная жалоба, дуалистическое дъло: одинъ жалуется на собаку, за изорванное пальто; собака, т. е. ея хозяннь жалуется за побои. Какъ туть выйти изъ юридической диллены? Но васильеостровского Соломона не смутила такая двойственность, и онъ ръприлъ теніально, а ля ісрусалинскій Соломонъ: «взыскать съ владъльца собаки 5 р. за изорванное пальто; а изъ этихъ пяти рублей удержать 1 р. 50 к. въ пользу побитой собаки "). Мив же, злосчастному, во все время собачьяго разбирательства казалось, что эта почтенная нелюбительница палокъ (да и кто ихъ любитъ, субъектиено, разумъется, а объективно — охотники найдутся) насмъщинво на меня смотрить и думаеть про себя: «Воть я хоть и собака, а въ камеръ васильеостровскаго судін им'єю гораздо болье почета, нежели ты, отставной маїоръ. Въдь ты - только отставной, а я состою на дъйствительной службъ при моемъ господинъ. А господинъ-то мой важный, очень важный: его кухарка приходится родною кумой кухаркъ Его Превосходительства. Такъ вотъ мив и почетъ, и первое мъсто; а ты сиди себъ и жди». Наконецъ дошло дёло до меня, до последняго. Вызывають: встаю я одинъ, а Филонова и следъ простыль: отъ шестичасоваго голоданія у него такъ сильно «зацарапали кошки въ брюхъ», что провалился куда-то, въроятно въ обжорную. Судія поглядёль да подумаль, потомъ еще подумаль да поглядель. Затемъ написаль что-то, всталь и провозгласиль:

— По указу.... жалоба Филонова оставляется безъ последствій.

Я вышель изъ камеры, вздохнувъ свободно, но не надолго. Разумъется, что въ продолжении моего шестичасоваго сидънія, я не разъ должень быль выслушивать громкую команду миъ г. мироваго: «Молчать! сидъть смирно»... Если это не Юпитеръ-громовержецъ, то по меньшей мъръ, генераль тридцатыхъ годовъ передъ своею частію, гдъ

<sup>\*)</sup> Что до цифръ взысканія и до распредъленія ихъ, я не могу поручиться, что это было буквально твкъ. Память начинаетъ измѣнять мнѣ. Помню, что присуждено было взыскать, но сколько, съ кого и кому именно я сказаль гадательно, по воспоминанію и соображенію обстоятельствъ дѣла, лицъ и ихъ карактеровъ.

быль бы несравненно болье на своемъ мёсть, чёмь вы мировой камерь. Выше сказаль н, что я «вздехнуль, но не надоло». Мёсяца черезь полтора получаю снова большой конверть: меня вызывали на марть 1867 года на мировой събздъ по виелляціонной жалобь уже не Филонова, а рижскаго мёщанина Меркульева все по тому же иску 256 р. 50 к. Хотя на събздь мое дёло и выгорёло, но на что я тамъ насмотрёлся, какіе тамъ были тогда порядки, чтобы не сказать безпорядки, такъ я, да и всякій другой, кто взглянуль бы на тъ порядки, только развель бы руками, да разинуль бы реть до умей отъ изумленія, и не зналь бы, что дёлать: плакать или смёнться. Но описывать все это было бы слишкомъ долго, и потому махну рукой на все это комико-каррикатурное прошлое, да примольлю, въ смыслё покорности судьбь: да ну ихъ! Теперь съ визитомъ къ госпожё тульской мировой Өемлдъ.

10 іюня 1877 года, въ полдень является на дворъ моей тульской деревни нищій за поданніємъ. Ему подають враюху хліба, онь не береть, говоря: «мий надо денегь». — Да відь ты недавно получиль отъ барыни гривенникъ. Когда хліба не хочешь, такъ убирайся со двора. — Нищій не уходиль, а съ большею наглостью сталь требовать денегь, и ногда мой слуга хотіль прогнать его, онь сталь мачать на него находящемся у него въ рукахъ желівной налкой, говоря: «не мішай, убыю!»

- Прогони, ради Бога, этого Нефеда (это быль одинъ лънтяй изъ крестьянъ моей деревни), онъ ужасно перепугаль дътей, кеторыя играли на дворъ,—сказала мнъ жена, войдя ко мнъ въ кабинетъ.
- Чего тебъ надо? спросиль я наглеца. Денегь, —дерзко отвъчаль онь. Вонь отеюда, негодяй, и, повернувь его кь воротамь, толкнуль его вь спину и самь обернулся кь прыльцу, чтобы войти въ домь. Вдругь, при словахь: «такъ воть же тебъ», получаю страшный ударь по головъ жельзной излкой, щатаюсь и падею на землю, обливансь провыю. Меня подняли, втащили въ комнату, гдъ встрътили меня крики ужаса и вопли испуганняго семейства. Нъсколько полотенець остановили кровотечене. На другое утро прівзжаеть становой, производить слъдствіе и отдаеть приказь сельскому старость содержать буяна подъ строгимь арестомъ (очень строгимь: на другой же день староста выпустиль его изъ подъ ареста, и даже не отобраль отъ него жельзной палки).
- Кому жаловаться, спрашиваю я становаго? А право не знаю кому. Какъ не знаете? Я думаю : въ окр. судъ? Не совътую : присяжные оправдають. Недавно оправдали двухъ старшинъ, промотавшихъ: одинъ 500 р., а другой 1500 р. мірскихъ денегъ. Оправдали также и

двухъ поджигателей, которыхъ я поймаль на дёлё 1). А ужъ лучше пожалуйтесь мировому: этоть все что вибудь сдёлаеть; вёдь это-лучшій изъ нашихъ мировыхъ. — Слушаюсь становаго и подаю жалобу по его совъту. Получаю повъстку. Бду 29 іюля въ 5-й участокъ. быль одинь изъ лучшихъ мир. судей не только въ Тульской губерніи. но во всей Россіи: Ник. Серг. Загряжскій, превосходный человъкъ и, сь тъмъ вмъстъ, превосходный мир. судья. А сверхъ того это быль одинь изъ тёхъ немногихъ коренныхъ тульскихъ жителей, къ которому возможно было не примънять мъстной пословицы: «добрый малый, да туляка». Это быль и тулякь, и прекрасивищий человыкь... Туляка? Это премногозначущая вличка. Случалось, что вто нибудь малознающій меня, заметивь, что я не прихожу въ восторгь оть милыхъ тулячковь, а напротивъ, скажетъ мив: «да въдь вы и сама тулякъ. - Не ручачтесь, — отвъчаю я; — не тулякъ я, а костромичъ. Повелъніемъ злаго рока и черезъ имъніе, данное за моей первой женой, поселился и здъсь сорокъ три года тому назадъ, и живу, или върнъе, прозябаю и вяну въ колодной, негостепріминой, эгоистической здёшней атмесферъ, съ зловонными и удушливыми міазмами тошнительнаго носозадирательства, мишурной важности, доходящей до невъжливости, до грубости и съ тъмъ вийстй съ ползаніемъ передъ даровыми об'йдами съ обиліемъ шампанскато, передъ парою рысаковъ, да передъ играющими по большой и по маленькой.

А имъете ли вы, читатель, понятіе о тульскомъ важничаньм: въроятно нътъ? О какое это важничанье: изумительное, колоссальное, геніальное! Вся Тула важничаетъ съ утра до вечера, а порою и съ вечера до утра. И важничаютъ не одни тульскіе тузы: важничаютъ даже
валеты, даже тройки и двойки, важничаютъ даже нули. Нътъ такого
илюгавенькаго туляка, нътъ такого тульскаго ничтожества, которое не
отыскало бы кого нибудь плюгавъе, ничтожнъе себя. Ну и важничаютъ.
Секретарь важничаетъ передъ повытчикомъ, повытчикъ— передъ своимъ
помощникомъ, помощникъ— передъ писцомъ, писецъ— передъ сторожемъ,

<sup>4)</sup> Становой быль вполет правъ. Года четыре тому назадъ я самъ быль присяжнымъ въ одномъ засёданіи. Судили воровку, пойманную съ поличнымъ. А все-таки напілись гуманные туляки, не изъ дворянъ, а изъ ка(ку)печества, которые съ пёною у рта орали: невиновата. Но предсёдатель да я пер свлили; воровку присудили посядёть маленько въ казенной квартиръ, и поразмыслять о непрочности земнаго счастія вообще, а о находкъ портмоне изъ подъ ветрины, въ особенности.

сторожъ-передъ бабою, баба-передъ собакою, собака-передъ кошкою, кошка-передъ мышью. Важничаеть ли, и передъ кънъ, тульская мышь, этоть важный вопрось могуть рёшить одак только чистокровные лаки. Каждый изъ нихъ, хотя бы и плюгавый, но все-таки прошель всю науку важничанья, окончиль всё классы и всё курсы гимназіи и университета важничанья, выдержаль и сдаль блистательно экзамень, и получиль дипломъ на доктора важничанья и носозадиранія.... Въ сравнении тульскаго, колоссальнаго, важничанье губернаторовъ, сенаторовъ, министровъ - ничто, фи, мелюзга, дътская наивность, не болъе. Но только, милые мои тулячки, какъ вы ни важничайте, какъ высоко ни задирайте свои носы, а все-таки вамъ какъ до звъзды небесной до величія и высоты важничанья той собаки, что важничала въ камеръ васильностровскаго мироваго. Вы задираете носы только до высоты полицейскаго дома, что на Кіевской. Не спорю, высоко, но собака еще выше вась: она задирала свой до высоты страсбургской колокольни, а порою и главной египетской пирамиды, съ вершины которой Оле-буль восхищаль своею волшебною скрипкою потомковъ фараоновъ. Ну и вы восхищаететульских кожалых да торгововь, восхищаете — степлышками въ глазу и еще разными мъстными предестями. Мъстный колоритъ, это - главное. Однако же и вамъ, тулячки, слъдуетъ отдать справедливость: не во всемъ же побитая собава выше васъ, не побитыхъ. Храбростью, безстращіємъ она далеко ниже: она боялась и конфузилась при видъ палки прохожаго господина, а некоторые изъ васъ, не все, нетъ, а лишь некоторые не боятся и нисколько не конфузятся даже отъ соприкасательства дланей въ ланитамъ за контрабандный поцълуй въ публичномъ мъстъ.... Знай нашихъ... Да вы не вздумайте разсердиться, мои милые. разсердиться также тупо и глупо, какъ сердились вы во время оно за Побъду нада самодурами. Въдь тогда было мнъ только 52, а теперь 72 года. Значить: не сегодня, такъ завтра, придется намъ разстаться навъки. А при разставаніи навъки зла не должно помнить, слъдуетъ позабыть все: мий сороколитиія оскорбленія вами моего самолюбія, вамьной смъхъ, т. е. безвредныя эпиграммы и сарказмы. Поквитались и безубыточно. Въдь я не то чтобы, а такъ себъ, больше ради смъха; а сибхъ тоже и на вороту не виснеть. И зла вамъ ни малбишаго отъ негь не приключится. А такъ, развъ посмъется себъ подъ носъ кто нибудо и гдъ нибудь. Тъмъ все и кончится. Въдь и дъдушка Крыловъ давно уже сказаль, что :

> «Сибяться право не гръшно Надъ тъмъ, что истинно смъщно».

А что до ващей чести, сохрани Боже! Она вся при васъ; передъ нею я быль, есмь и пребуду слуга покорный и почтительнъйшій. Честь одно, а важничанье совсёмъ другое. Вёдь вы, туляки, право, премилые и даже есть распречестные малые, но только важные, укъ какіе важные: рукой не достанешь до иного изъ васъ, будь онъ коть карапузенькій, но только со стеклышкомъ, да съ угощеньицами. Но за то, оставя въ сторонъ хроническую, гиперболическую и неудобоваримую важность, этотъ criterium истаго туляка, у нихъ, у туляковъ, имбется одно великое качество, или просто добродътель, чисто спартанская, это — выносливость и небрезгливость, такъ что ихъ ни отъ чего не тошнитъ; и наконецъ — чрезвычайно кръпкіе нервы и безпримърно здоровые желудки, способные переваривать то, чего не переварили бы желудки страусовъ. Разумъется они, туляки, понимають сладости комфорта и пейфа и не брезгають ими; но когда это нужно, они переносить стоически величайшія неудобства и лишенія. Сегодня они вкусять и оцівнять гастрономическій, тонкій об'бдь съ такими же тонкими питіями, въ особенности оцёнять обёдь «амфитріонный»; а завтра удовольствуются коркою чернаго, заплъснъвъдаго клаба и стаканомъ мутной, противной воды. Но чемъ туляки подходять весьма близко къ спартанцамъ, такъ это воть чёмь: у Лакедемонцевь была вь большой чести какая-то черная похлебка; у туляковъ въ большомъ употреблении похлебка зеленая, или върнъе, зеленыя щи, изъ особеннаго рода кислицы или щавеля необыкновенно вислаго, который ростеть въ изобили около одной деревни, называемой Кислинка. Поэтому похлебка эта называется-щи изъ щавеля Кислинскаго, каковые щи до того кислы (кислее уксуса четыремъ разбойниковъ), до того противны, что никто, кромъ туляковъ, не могъ бы вкъ ложки проглотить безъ того, чтобы его не стошнило, или даже не вырвало; а туляки объбдаются этими прокислыми кислинскими щами, и ихъ не тошнитъ, и желудки ихъ перевариваютъ эту мъстную похлебку. Сказано-спартанцы. Впрочемъ «о вкусахъ не спорятъ». Китайцы, напримъръ, лакомятся крысами и даже ъдять мясо всякихъ нечистых в тварей, даже протухлое, червивое. Остается рышиль важный гастрономическій вопрось: чей вкусь испорченнье — китайцевь или тудяковъ; что противнъе: китайское рагу изъ крысъ или тульскіе зеленые щи изъ щавеля Кислинскаго? Если живъ еще извъстный когда-то московскій гастрономъ-обжора Рахмановъ, онъ могь бы рёшить такой міровой вопрось о витайскихь крысахь и о тульскомь щавель Кислинсконъ. Но что желудки у туляковъ здоровенные, этотъ вопросъ уже давно поръщенъ и сданъ въ архивъ. Впрочемъ много еще наберется

кое-чего по мелочи норазсказать о гражданскихъ и соціальныхъ доблестихъ коренныхъ милыхъ тулячковъ. О, что это за доблести! Первый сортъ. Но обо всемъ этомъ до 9-й книги «Воспоминаній». Итакъ изнываю и чахну и въ ожиданіи моего Моисеи, который выведетъ мени изъ неволи сгипетской... Гораздо хуже: изъ неволи тульской, и уведетъ меня Туда, къ двумъ моимъ ангеламъ хранителямъ, къ Сашт и Софи. Какой контрастъ! Тула, т. е. тьма кромѣшная, холодъ и зловоніе важничанья и эгонзма; а Тамъ — свтть, тепло, благоуханіе и благодать небожителей, а не.... Петрушекъ, съ собственнымъ запахомъ.... Выливайтесь же сорокадвухлътнія мой обиды и оскорбленія, порою бользненныя, но всегда трусливыя, обиды отъ чуждой мить, разноплеменной со мною орды. Итакъ и въ 5-мъ инровомъ участкъ.

— Ваше дёло ясно какъ день, право какъ сама справедливость, — сказаль мий Ник. Сергичъ. — Но, къ величайшему моему сожалбнію ничего путнаго не могу для васъ сдёлать: намъ дано право поощрять, а не наказывать негодяевъ изъ крестьянъ. Что могу я сдёлать? Чтобы дёйствительно наказать дерзкаго негодяя и буяна, его слёдовало бы присудить къ тюрьмё съ тяжелою работою. А я могу только посадить его подъ арестъ на болбе или менбе долгій срокъ. А такой арестъ былъ бы наказаніемъ для васъ, для меня, а не для наглаго нищаго. Даровыя квартира, щи и хлёбъ, при ничего недёланьи — не наказаніе, а поощреніе. Много разъ убёдился и въ этомъ изъ моей судейской практики: не исправленными, а пуще развращенными и дерзкими выходили изъ тюрьмы сажаемые туда мною негодяи.

Слова Загряжскаго оправдались вполив. Выпущенный изъ тюрьмы послё мёсячаго сидёнія, наглый Нефедъ громко, во всеуслышаніе пожвалялся на деревнё: «Распрекрасно было мий сидёть подъ арестомь: кормили и поили меня до-сыта, лучше, чёмъ иногда ёль я на волё. Работы никаной: лежи себё на боку. Славная жисть. Достанется же теперь барину и не такъ, да и до барыни доберусь и». Ну и добрался до насъ съ помощію своего брата, Феофана рябаго, да по милости нашей будто бы гуманности, какъ утверждаютъ восточные исевдолибералы, а по мийнію западныхъ и настоящихъ либераловь— по милости нашей распущенности и халатности. Измыслили они, Нефедъ и Феофанъ, и выкинули такую штуку: подаетъ Феофанъ рябой мировому жалобу, отъ 1-го октября 1877 года, въ которой значится: «Подвергнуть г. Макарова и г-жу Макарову уголовному суду, перваго за намёреніе изнасиловать его дочь Арину, а вторую за оскорбленіе его дочери, тёмъ, что, по жалобё ея на дерзость Арины, старшина поса-

диль ее на девь подъ арестъ». Не върите, читатель? Такъ не угодно дя взглянуть на двъ повъстки мироваго, изъ коихъ одна гласить о жалобъ Феофана на меня и мою жену, другая о жалобъ моей на оклеветаніе мое Феофаномъ, и еще на копію съ ръшенія мироваго отъ 30 января 1878 года, по дълу оклеветанія меня и жены моей. Разумъется. мировой оставиль безъ последствія эту дерзкую влевету, ради ея нельпости, голословности и бездовазательности, тамъ болве, что и находилси въ Петербургъ, когда сажали подъ арестъ грязную, некрасивую дъвку, извъстную всей деревив своимъ разгуломъ. Само собою разумъется, что послъ такой неслыханно наглой продълки, я самъ подалъ жалобу на оклеветаніе меня и жены моей. Мировой присудиль клеветника на чьсяць подъ арестъ. Феофанъ подалъ неудовольствіе. Дёло перешло въ тульскій мировой събздъ. И что-жъ?... Кокъ вы думаете, что же?... Мировой съпъдъ скассироваль рышение Загряжскаго и... оправдаль клеветника, т. е. выдаль ему головою меня, семидесятильтняго и дряхльющаго старика!!!. Оправдаль за клевету, за ложное обвинение меня въ преступлении, за которое усилаютъ по Владиміркт въ мъста самыя отдаленныя, на каторжныя работы!!..

Вотъ такъ Соломоны, какъ есть всероссійскіе Соломоны XIX стольтія, ультра-либералы, ультра-филантропы, ультра-гуманисты, ультра-прогресисты, словомъ сочетаніе всевозможныхъ ультра. Исполать вамъ всероссійскіе Соломоны XIX стольтія. Склоняюсь и благоговью передъ вашимъ благодушіемъ, но, съ тымъ вмысть, склоняюсь, и склоняюсь еще ниже, чымъ передъ вами, склоняюсь передъ благодушіемъ русскаго мужичка-добряка. Этихъ добряковъ за все гладять по головив, а они нисколько не зазнаются, не злобствують, не буйствують во всю русскую ширь, на распашку славянскую. Развы только погрубять ному нибудь, или желызною палкою по головы събланть. А что до инаго, прочаго, то все обстоить благополучно. Ну, а будь-ко это тамъ, гды нибудь на запады-ко ихъ по головив, какъ русскихъ, такъ они черезъ годь, а много черезъ два, не то чтобы только палкой по головы, а перебили бы половину дворянъ, а другую половину вогнали бы въ чахотку.

Еще разъ исполать вамъ, господа тульскіе и благодушнѣйшіе ивъ всёхъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ Соломоновъ. Склоняюсь и благоговъю передъ вашим судейско-мировыми доблестями; а все-таки мятныя лепешки постоянно ношу въ карманъ на случай то-иноты.... Конецъ послъднему сказанью о мировыхъ и тулякахъ.

Пишу я эти бутады про мировыхъ да про туляковъ и вдругъ должень бросить перо. Теперь семь часовъ пополудии. Вечеръ прелестный. Окно кабинета открыто, выходить на большой деревенскій прудь, за которымъ вся деревия, по склону, какъ на ладони. Перебранка бабъ, плачъ дътей, мальйшій шумъ ясно долетаеть до меня. И воть слышу громкій дътскій плачь. Поднимаю голову: по длинной плотинъ бъгуть четыре босоногія дівочки, и воють, приговаривая: «мама, мама, гдів мама? Охъ бъда!» Думаю, кто нибудь забольль, и шлеть къ жень за лекарствомъ. Я на дворъ; вобгають девочки и ко мит съ ревомъ: «Ой, батюшки, бъда, горе наше! - Что такое, спрашиваю? «Пудъ Иванычъ горитъ, пожаръ!» Меня хватило, словно обухомъ въ добъ. Въ деревив ни единаго пария: всъ они и большинство бабъ на покосъ, за пять верстъ. Только дёвки да ребята въ деревив. — Эй, кто тамъ? — крикнулъ я на весь дворъ. Кучеръ да два рабочіє выбъгають изъ сарая, а изъ избы мозглявый эксъ-солдативъ, чистильщикъ обуви да кухонной посуды, котораго нищій грозился убить жельзной палкой. — Въ деревню, на пожаръ, живъе, поворачивайся. — Схватили ведра и побъжали. И самъ я, какъ быль въ туфляхъ, такъ и зашагалъ на пожаръ. Меня догоняютъ двое старшихъ сыновей. «Папа, и мы съ тобой; въдь не опасно, не сгоримъ». Смотрю, бъжить въ догонку съ пригорка и мой меньшой, шестиявтній Вости, остави за собой няню, запинается за камень и растигивается на пыльной дорогв. Встаеть, осматриваеть колвно: ссадина, въ крови, вытираетъ платкомъ, но ни единаго оха, а бъжитъ далъе. Какъ бы онъ ни ушибся, крякнеть, но не зареветь: страшный крыпышь. Воть мы у избы Пуда Иваныча. Кучка бабъ и дъвокъ галдъютъ. Рабочіе мои съ пустыми ведрами. Пожаръ потушили. Была благодать Божія: ни вътерка, ни одинъ листокъ не шелохнулся. А будь сильный вътеръ, вся деревня была бы въ огив. А отъ чего пожаръ? У Пуда пятеро дътей. Четверо старшіе принесли грибовъ изъ рощи, и выщли изъ избы-искать свою мать. А младшій, трехлётній, вздумаль угостить себя печеными грибами. Взядъ оханку щепокъ, бросидъ къ стънъ на завадинку, обложенную соломой, досталь спичку и зажегь щенки. Да еще пошель, отыскаль мать и отрапортоваль ей: «Мамонька! я печку затопиль, грибы жарю». Разумъется, такого поджигателя не осудили бы не только тульскіе присяжные изъ ка(ку)печества, но даже и самые свиръпые держиморды... Вотъ вамъ картина сельской жизни, снятая съ натуры.

Я такъ теперь занять дополненіями Воспоминаній, что не успъваю пробътать Новое Время. И воть немного удосужившись, беру № 1924 и съ ужасомъ прочитываю фельетонь: Крушеніе на ростововладикавказской жельзной дорогь.

Скажу нъсколько словъ, не объ этомъ крушени, нътъ! а вообще о нашихъ желъзнодорожныхъ безпорядкахъ.

Я сказаль, что не успъваю прочитывать газеты, которыхъ накопляется по нъскольку номеровъ. Поэтому и теперь попадается мнъ еще и 1933 номеръ «Нов. Вр.», гдъ, на первой страницъ, читаю, между прочимъ, слъдующее:

«Такъ, напримъръ, на одной желъзной дорогъ, какъ сообщалось недавно въ газетахъ, чины желъзнодорожнаго батальона сняли, въ теченін мая и іюня мъсяцевъ, на незначительномъ сравнительно протяженіи въ 60 — 70 верстъ около 50,000 штукъ негоднихъ, гнилыхъ шпалъ, т. е. около двухъ третей всего количества..... А благодаря десятку такихъ шпалъ, еще не такъ давно случилось подъ Гатчиной, у станціи Суйда, весьма грустное крушеніе поъзда, стоившее жизни многимъ, и многихъ оставившее калъками».

Не редакція газеты, а я подчеркнуль нѣкоторыя фразы вышеприведеннаго извлеченія.

Что же это дълается на моей родинь? Когда же будетъ положенъ предъль организаторамь en grand человъческихь гекатомбъ? Когда же надёнуть намордники и наручники на желёзнодорожныхъ и всёхъ прочихъ Молоховъ, которые нагло и безнаказанно, и по нъскольку разъ сряду позволяють себъ опыты увеличенія сладостей, и безь того сладкой, но позорной своей жизни; уведиченія сладостей своего богомерзкаго чревоугодія человъческимо мясомо оть десятковь и сотней жертвь, истерзанных вежегодно на побздахъ нашихъ желбзныхъ дорогъ. И покупають они, желёзнодорожные людойды, это человическое мясо, не на наличныя деньги, а на гнилыя шпалы... Да! это настоящіе хищникилюдойды, отнариливаеные не бардою, а человическими мясоми, съ тою только разницею, что сало малороссійскихъ бардобдовъ идеть въ пищу человъку, а сало желъзнодорожныхъ людовдовъ не годилось бы ни для собавъ, ни для кошекъ. А развъ на смазку осей у колышекъ, въ которыхъ возятъ навозъ и разныя нечистоты.... «Черезчуръ сильно, т. е. ръзко», скажуть разные Маниловы. А десятии то убитыхь, изувъченныхъ ежегодно на нашихъ желъзныхъ дорогахъ, по имлести гнилыхъ шпаль, это развъ не черезчуръ сильно и ръзко, господа Маниловы-жеманники и губкожатели? А десятки-то бездомныхъ вдовъ и сиротъ, по милости жельзнодорожныхъ людовдовъ, это бездылица, господа рыяные защитники всякія скверны, лишь были бы он'в вредны для другихъ, а не для васъ.... Слишкомъ ръзко!... А развъ мягко, развъ не ръзко говорилъ Ювеналъ, царь сатириковъ, когда нещадно бичекалъ онъ, и кого? Патрицієвъ, сенаторовъ и императрицъ, а не только что этихъ... Когда же наконецъ, когда грянетъ громъ и надъ этими преступными драконовыми головами!... Облекайся же въ трауръ, россійское правосудіе. Прячься же отъ стыда подъ густое покрывало, славянская Фемида!... Но, впрочемъ, что значатъ относительно людойдства желёзнодорожные сластойжки? Это еще не корень зла: это — лишь злокачественныя болячки и язвы на худосочномъ тёлё. Лечите злую немощь не однимъ прижчганіемъ болячекъ и язвъ, а сильнёйшими дозами кровочистительныхъ декоктовъ. Вотъ какъ лечатъ такія злыя немощи на западъ.

Нъсколько лъть тому назадъ случилась во Франціи ужасная катастрофа. На одной изъ ез желъзныхъ дорогь, кажется на ліонской, много было убито, искалечено и поранено. Сейчасъ же притянули въ суду желъзнодорожную компанію и хватили ее нещадно по карману. Присудили уплатить 250 тысячъ фр. вдовъ съ дътьми убитаго въ поъздъ ученаго или художника, не помню. Другому осиротъвшему семейству приказали платить по 10,000 фр. ежегодной пожизненной пенсіи. Затъмъ множеству пострадавшихъ назначили разные крупные куши, единовременно или пожизненными пенсіями. Такъ что всего безчестія съ компаніи было взыскано болье, нежели на полтора милліона фр... Вотъ это, такъ декарство радикальное, дъйствительное, спасительное, и не катаплазмы изъ бълаго хлъба съ теплымъ молочкомъ; не наше мирволенье своему броту. Это—богиня, а не жеманница, не мирвольница. Это—строгая, безстрашная Фемида, а не дряблая и трусливая мямля Фемида Славяноскиеовна.

Сейчасъ пробъжаль я и № 1925 Нового Времени. На третьей страницъ въ концъ третьиго столбца нацечатано: «Изъ дальнъйшихъ разъясненій причинъ безпорядковъ въ Переяславлъ оказывается, «что ихъ вызвали сами евреи». Далъе въ статьъ говорится: «Когда въ толив убъдались, что арестують только русскихь, что ни къ одному ворочавшему оглоблями еврею не протанулась ни чья рука для ареста, ни одного ругателя-еврея не остановили, — тогда разгуль приняль размёры ужасающіе »... Снова глубокія негодованіе и скорбь овладёли мною при вопрось: что же это дълается, что будеть далъе и чъмъ все это кончится въ моемъ отечествъ? При семъ удобномъ случав хотвлось и можно было бы сказать много кое-чего по мелочи объ јерусалимскихъ выходцахъ, да и такъ я уже позволиль себъ говорить о многомь и о многихь, и говорить не тавъ навъ говоритъ славяноскиеская трусливая мямля и мирвольница, а канъ-западный безстрашный указатель на общественныя постыдныя болячки и язвы, бичующій немилосердно пороки и зло. Итакъ, объ этомъ до другаго раза. Но не могу удержаться, чтобы не восиликнуть: О пра-

внуки валой, дряблой, овечьей славянской расы! Били васъ когда-то печенъги, половцы, татары, литовцы, поляки, шведы, даже пугачевцы; били всв, кому только захотелось бить васъ, били потому, что не умели вы сплачиваться, давать дружный отпоръ, а были всегда: «кто въ лъсъ. кто по дрова». И тысяча явть грустной исторіи, съ ея поучительными уроками пропала даромъ, промотана безъ малъйшей для васъ пользы. «ничему вась не научила, ни отчего не отъучила». Какъ при почтенномъ Гостомысль, такъ и теперь: вы — все ть же: Кто во люсь, кто по дрова; не умъете дать дружнаго отпора, и кому же? Не батыямъ, а презръннымъ јерусалимскимъ выходцамъ и пройдохамъ, кровопійцамъ всего христіанскаго міра. Ну и быють вась оглоблями и арестують, не оглобельщиковъ-побивателей, а побиваемыхъ оглоблями, и... впередъ будуть вась бить оглоблями и арестовать за это, оттого, что вы: вто въ льсь, кто по дрова. И передъ къмъ въ разбродъ? Передъ горстью јерусалимскихъ гешефтиахеровъ... И кто-же это въ разбродъ-то? Не темная масса, нътъ! А интеллигенція; въ особенности пишущая.... И затъчъ: какой унизительный, постыдный контрасть между героями Куликовской битвы, неубоявшимися несмътныхъ полчицъ Мамая, и переяславскими полицейскими героями, спасовавшими передъ еврейскими оглоблями. Изъ этого же номера узналь я и о милосердіи нашего новаго Царя. Обрадовался и благословиль Его имя. Обрадовался не изъ сочувствія къ помилованной. Нътъ, тысячу разъ нътъ! Я былъ, есмь и всегда буду заклятымъ врагомъ всёхъ револьверщиковъ, динамитчиковъ и динамитчицъ, которыхъ считаю забишими и опаснъйшими врагами не только престола, въры, законовъ и самаго общества, но врагами, убійцами, палачами истинной свободы и прогреса. творцами завишей реакціи и одичанія, отупънія и оскотиненія человъчества. А радуюсь и благословляю самодержавную власть за то, что, сверхъ христіанскаго милосердія, является еще актъ глубокой политической мудрости, которая, отстранивъ безполезный уже теперь ударъ меча правосудія, даруеть жизнь цареубійці, и такимь высокимъ милосердіемъ уравниваетъ, облегчаетъ путь къ умиротворенію... Облегчивъ сердце полными сознаніями и отлитіємъ накопившейся въ немъ горечи, вернусь назадъ, въ очищенію моего имени отъ несправедливыхъ обвиненій. Пусть же, когда успокоюсь я на въки, не останется, не тягответь на моей цамяти ни одинь изъ тёхъ злостныхъ, грязныхъ навътовъ, которыми хотъли зацачкать мое имя. Пусть оно очистится и посвётибышимъ сойдеть со мною въ могилу и хоть тамъ успоконтъ мой пракъ. Если я сдълался извъстенъ, какъ порядочный лексикографъ, пусть же я буду извъстень еще какь не дурной человниг.

Еще: если и припомниль, или по крайней мъръ старалси припомнить и пересказать въ этой «Меа culpa» все пережитое, передуманное. перечувствованное и выстраданное мною, то сильно боюсь за последнюю книгу этихъ Воспоминаній, которую я еще не начиналь. Это самая интересная, драматическая изъ всёхъ книгъ. И я боюсь, достанеть ли у меня столько умънья, а главное силь, не нравственныхъ, а физическихъ (которыя, увы, замётно слабёють), чтобы рельефно изобразить всъ перипетіи последняго страшнаго періода моей жизни, моего странствованія по непривътливому для меня свъту, съ полнъйшимъ крушеніемъ всего, что могло красить жизнь, или хоть облегчать тяжесть несомаго креста, уменьшить страданія, уравнять жизненный путь; со швыраніями въ меня грязью одной роденькою за то, что я уронило свое дворянское званіе, женившись не на дворянкь, а на внучкъ вольнаго донскаго казака, впоследствім закрепощеннаго однимь княземь за свою върную ему, князю, службу на войнъ и вит войны; далъе: съ періодическими припадками, нашествіями на меня глубокаго, безвыходнаго отчаянія и съ кровавыми призранами многочисленныхъ попытокъ самоубійства, при ужаст оставить посла себя безпомощными жену и малолетникъ дътей; потомъ съ грозными драмами, какъ, напр.: безумная и, разумъется, безнадежная страсть единственнаго тогда у меня сына и сотрудника къ своей будущей мачих»; затымь, вслыдствие этой безнадежности, произошла потрясающая сцена его сумашествія, въ припадкъ котораго онъ бросается неистово на свою уже беременную мачиху; и наконецъ последній акть грозной драмы — смерть его въ тульскомъ домъ помъщанныхъ, послъ двухнедъльнаго сумастествія. Объ этомъ было въ то время напечатано (въ «Спб. Въд.», 1869 г. № 67), но только съ сокрытіемъ главной причины сумасшествія моего сына.

О, кавія страшныя воспоминанія!.. Двёнадцать лёть прошло съ тёхь порь; родилось у меня четверо дётей: дочь, уже второй годь на высшихь женскихь курсахь, и три сына, всё здоровыя, красивыя и преумныя дёти. Но при одной мысли о пережитыхь тогда мною часахь, всё раны сердца раскрываются, отзываются жгучею болью; меня душать слезы, рыданія!.. О, для чего родила меня мать на этоть бёлый... что я! на этоть гадкій, отвратительный свёть?... И что же? Мнё стыдно... Но я должень теперь во всемь сознаться, покаяться. Не смерть страшила меня вь послёднее время, нёть! Она улыбалась мнё, протягивала ко мнё великодушную руку, такь привётливо, сострадательно глядёла мнё вь глаза, манила къ себё и обёщала полное успокоеніе, полнёйшее забвеніе всёхь скорбей, страданій, обидь. Нёть не смерть, не эта бла-

годътельница несчастныхъ. А страшила меня, приводила въ отчаяніе, порою почти въ бъженство мысль, что я не импю права распоряжаться моею жизнію, импя жену и четырехъ малолютнихъ дътей; что эта жизнь перестала принадлежать мев, что она... закабалена; что я лишенъ, хуже чъмъ «правъ состоянія», лишенъ права разбить кандалы этой разбитый жизни, разломать двери этой мрачной, душной, смрадной тюрьмы, которую называютъ жизнію.... несчастливцевъ. И я безумно ропталъ на мою кабалу, чуть не проклиналь ее.

Да, воспоминанія ли пережитаго, прежнихъ страданій, погромовъ судьбы, страшныхъ утрать: перваго ангела моей жизни — моей первой жены; втораго дивно-прекраснаго ангела, Софи Генаръ, слетъвшаго прямо съ неба въ качествъ любимицы и посланницы Творца, слетъвшаго для того, чтобы, изумивъ и ослъпивъ кучку людей, удостоившихся ея лицезрънія, показать сынамъ человъческимъ, какъ, что и чъмъ должна быть настоящая женщина, до гръхопаденія, шедёвръ Создателя, его слава и гордость, т. е. совершенийшее изъ совершенийшихъ созданій; которая потомъ бросила на меня, безвъстнаго сироту, никому не милаго, встръченнаго на порогъ жизни нелюбовію матери и потомъ несущаго тяжелый кресть безъ мальйшаго къ себъ сочувствія холодной, безчувственной, деревянной рядовой толиы, но при злорадномъ кохотъ нъкоторыхъ изъ ея вожаковъ, ея джепросвътителей и столкусбивателей, статьекропателей, а порою и первокласныхъ лжецовъ и клеветниковъ, вершковых влюдищекъ, стосаженныхъ хвастунищекъ; бросила на меня она, ангель добра и разума, свой небесно-сострадательный взглядь, ръшилась сдёдаться настоящемь, а не риторическимь вигеломъ-хранитедемъ моей жизни, стать для меня постояннымъ источникомъ свъта и тепла, никогда незаходящимъ солицемъ, создать для меня земной рай и затопить волнами неизръченнаго блаженства четыре мъсяца моей жизни, по временамъ уносивши меня на своихъ прозрачныхъ крыльниъ куда-то, въ недосягаемыя выси, за орбиту солнечной системы, за илечный путь, за седьмое небо; и вдругь, опустивь меня на нашу негостепріимную, печальную планету, была отозвана на свою родину, на небо избранныхъ и праведныхъ для того, чтобы освёщать, согрёвать и укращать собою рай небесный (смотри во второй части Три маяка и Потерянный рай)... Да, эти ли жгучія воспоминанія, или настоящая грязь жизни и гнеть обстоятельствь, порою страшный, невыносимый: но я грызь и продолжаю грызть тяжелую цёпь жизни, и... не могу перегрызть. Спадеть ли она съ меня? Освободить ли меня оть нее чья нибудь благодътельная рука, помогши мий снять съ плечъ непосильный гнеть? Или

эта цёль перержавёеть и сама спадеть съ моиль израненыхь, окровавленныхъ членовъ?.. Но нътъ!.. Благодътельную руку въ современномъ скептическомъ и циническомъ обществъ протягиваютъ лишь счастливнамъ міра, въ дайвовыхъ перчаткахъ, а не несчастнымъ труженикамъ съ мозольными руками. Первымъ-гимны и диеирамбы, вторымъ-насмъшки, хула и брань; темъ подоботрастныя улыбки и нежные поцелуи, этимъ-грязь и камня. Двадцать этть я вртинися, страдаль и молчаль. Грудь разрывалась отъ боли, а я все молчаль и ждаль чего-то... Но ничего не дождался, кромъ строжайшаго карантина, спеціально воздвигнутаго для загражденія инъ доступа въ журнальный міръ и погребенія моего имени подъ густымъ слоемъ пыли-забвенія, который все болбе и болбе увеличивали... Все глухо, безмолвно, мертво вокругъ меня... Меня окружають глыбы льда, или осколым гранита, или простой, заурядный будыжникъ... Меня не поняди... и въроятно не захотять понять и оцънить, хоть какт правственного человька и гражданина, если не какт писателя... Стануть ли и теперь бросать въ меня грязью и камнями?.. Не знаю... Быть можеть да, быть можеть нътъ... Но я уже не боюсь: близь меня могила, которая укроеть меня и оть злобы людской, и оть ихъ грязи и наменьевъ... Разрывайся же грудь отъ рыданій и стоновъ! Лейтесь же слезы изъ старыхъ очей! Лейтесь же, лейтесь, пока не задьете меня съ моимъ горемъ! Лейтесь, пока не окончится жизненный пасквиль, и изъ хладёющихъ усть не выйдеть со вздохомъ предсмертнымъ:

> «Я быль между вами, но вы не познали меня, Бливорукіе слуги привычекь, рутины и модь».

И какое напряжение силь необходимо для 72-хъ-лътняго страдальца, чтобы написать эту главу, написать ее своими слезами, кровію своего сердца? А сколько еще силь потребуется впереди, для того, чтобы начать и кончить девятую или десятую (еще не знаю) книгу «Воспоминаній», эту повъсть второй половины моей жизни, въ которой были сосредоточены всё ея страданія, скорби, утраты, стращные перевороты отъ лучшаго къ худшему, эти, такъ сказать, жизненныя землетрясенія, не оставившія камня на камні; наконець грозныя семейныя драмы? И если я не умру еще до этого окончанія, то по всей вёроятности, эта книга нвится въ печати уже какъ замогильный мой голосъ... Да оно и лучше такъ. Дни мои, кажется, сочтены. И нисколько не жалью объ этомъ. Жалью лишь о томъ, что зловредная, злонамітренная, не критика, а безусловная ругань, злобное зубоскальство, парализируя всё мои способ-

ности, въ продолженіи доликъ льть, помьшала мнь написать много корошаго, въ чемь и увърень, нотому что и работаль съ необывновенной легкостью. На написаніе «Задушевной Исповьди» употребиль и пять недёль. Это быль мой первый трудь, проба пера. Для «Банка Тщеславія» — шесть недёль. Когда и написаль его (весною 1860 г.), то раза по два въ недёлю приносиль и тетради на прочтеніе покойному Добролюбову. Съ большимь вниманіемь слёдиль онь за моею работою. Когда, послё первыхь главь второй части, и принесь ему слёдующій и спросиль: — Ну, что? прочитали вы начало второй части? — Нъть: меня такь заниль вашь романь, что, не желая ослаблить впечатлёніе отрывочнымъ чтеніемъ, и дождусь конца романа, и тогда прочитаю вторую часть въ цёломъ. — А что, скоро вы помъстите въ «Современникъ»? — Да не ранёе сентября или октября. На май у нась все готово; а лётомь мы помѣщаемъ только легонькое, неважное, а лучшее приберетаемъ къ осени и зимъ.

Въ мав (1860 г.) я простидся съ Добродюбовымъ и проводиль его увзжавшаго на пароходв за-границу; затвив и самъ увхаль изъ Петербурга въ деревню. И только въ сентябрв 1861 года прівхаль я въ Петербургь и сейчась же навъстиль Добродюбова, только что возвратившегося изъ за-границы и даль ему рукопись «Побвда надъ Самодурами». — Отчего же не «Банкъ Тщесдавія»? вы обвщали его намъ. — Ядумаю, что «Самодуры» лучте. Впрочемъ и «Банкъ» отъ васъ не уйдеть. — Навъдайтесь ко мнъ черезъ недълку, — заключилъ Добродюбовъ, протигивая мнъ руку. Я ушелъ. Черезъ недълю нашелъ его въ постелъ; а еще черезъ недълю его не стало на свътъ. Со смертію этого даровитаго, прекраснаго молодаго человъка, умерла и моя дитературная будущность. Рукопись моя была возвращена мнъ редакцією «Современника» безъ послъдствій, и затъмъ уже ни одна и нагдъ не была принимаема, неисключая и этихъ «Воспоминаній», носившихъ другое заглавіе.

Когда я принимался за писаніе чего либо серьезнаго, то писаль всегда карандашомь, которыхь чинилось у меня дюжина. Возьмусь за перо, и вся фантазія исчезаеть, я деревенью, замерзаю, ничего дъльнаго не сходить съ пера. Возьму карандашь и міновенно оживаю, откуда что берется. Понадобится сравненіе, является три, четыре, embarras de richesse. Нужно опереться на авторитетскую мысль, понадобится эпиграфь, является нъсколько, въ прозъ и стихахь, затрудняешься въ выборь. Цълый рой мыслей рождается въ головъ, не успъваю записывать на лоскуткахъ бумаги, чтобы не забыть. Коснется дъло собственнаго имени: и, прочитанное или слышанное мною назадъ тому 30, 40 и бо-

лье льть и давно уже позабытое, оно вдругь воспресаеть въ моей памяти, словно кто-то шепнуль его мит на уко. Такъ, напр., разсказывая выше о необывновенномъ поединкъ въ Парижъ, я сейчасъ же всиомнилъ имя русскаго офицера (Телавскій), прочитанное мною еще въ 1825 году, болье полустольтія тому назадь, и давнымь давно позабытое. Начиная большой трудь, я пишу сперва туго: страничку, двё въ день, потомъ три, четыре и такъ далъе, все accelerando, и дохожу до 30 и болъе страницъ въ день. Четыре части «Побъды надъ Самодурами» (610 стр.) я написаль ровно въ четыре недёли, взявь сюжеть изъ подлинной жизни, и узнавъ героя романа Шугарова (тульскій поміщикъ Кр-цовъ). Потеряль я тогда и сонь, и аппетить. Спаль, или върнъе, лежаль въ забытые часа по четыре въ сутки, жыт менже восьмилътняго ребенка; не слышаль, что мив говорили; самоварь накрываль крышкой оть чайника, а чайникъ-крышкой отъ самовара. Последнюю часть написаль я въ два дин. Я дремалъ надъ бунагою, писавши, глаза сжимались отъ безсоницы, а рука съ карандашемъ, словно независящее отъ меня, живое, разумное существо, быстро бъгало по бумагъ. Я сталь подъ конецъ скелетомъ. Много помогало мий то, что меня всякое утро окачивали нйсколькими ушатами колодной воды. Это освъжало и голову, и тъло. Окончивъ романъ, я побхалъ на недблю въ Тулу отдохнуть, развлечься и дать переписать съ карандаша четвертую часть. Когда, по возвращенім въ деревню, я сталь пробъгать ее, то все написанное было для меня ново. Все до тла позабыль я черезь недвлю отдыха. А, какъ мив кажется, это — дучшая часть романа. Чтобы вполнъ освътить тогдашиее состояніе моего духа и мотивы многаго изъ написаннаго въ 3-й части «Самодуровъ», я впишу сюда посвящение этого романа моему другу Алекс. Ал. Одинцову. Въдь Меа сигра есть также и моя аппеляціонная жалоба и родъ процеса моимъ ругателямъ шестидесятыхъ годовъ; и потому должень быть принимаемъ и прочитанъ каждый документъ, служащій нь оправданію обвиненнаго. А вёдь меня тогда обвинали Богь знаеть въ какихъ ужасахъ, обвинили и, не выслушавъ оправданія, осудили окончательно и... похёрили. Воть мое посвящение:

«Не пользуясь ни мальйшимъ литературнымъ авторитетомъ, рекрутъ въ фалангъ писателей, я посвящаю тебъ мой литературный трудъ. Не ищи въ немъ обдуманности плана, ни художественности исполненія, потому что для написанія его я употребиль только четыре недъли. Это была импровизація сердца, это были вопли души, убитой полнымъ равнодушіемъ и жестокимъ злорадствомъ нѣкоторыхъ. Меня хотъли уничтожить, забросать грязью мое честное, незапятнанное имя. Не хотъли

даже выслушать моихъ оправданій. Я падаль духомъ и тёломъ и готовъ быль предаться губительному, безвыходному отчанню. Но Провидёніе, твоими устами, спасло меня: слёдуя твоему дружескому совёту, я оставиль Петербургь, удалился въ деревню и, проведя тамъ пёсколько мёснцевъ въ совершенномъ уединеніи, на ленё природы, тишины и спокойствія, вздохнуль свободно и — ожилъ. Тогда я взялся за перо и, въ четыре недёли, написаль то, что посвящаю тебё теперь.

«Прими же, мой другь, это посвящение оть твоего стараго товарища въ знавъ его глубокаго къ тебъ уважения, и въ память той дружбы, которая ни на волосъ не изиънилась между нами въ продолжении длиннаго, тридцатилътняго періода ея существованія, и которая утъщала, поддерживала и не разъ спасала меня въ тяжелыя и трудныя минуты моей жизни.

«Рожествино, 1861 года, 13 марта».

Не только романь быль тогда разругань наглымь и мёднолобымъ поносителемъ геніальнаго Пушкина, но и это невинное посвященіе не избътнуло его безтыжаго зубоскальства и лжи, что будто-бы я написаль мой романь по совъту какого-то Алексъя Алексъевича. Воть згунишко-то! По совъту друга я убхаль изъ Петербурга въ деревию, а не романъ писалъ. Да мало ли что онъ тогда нахально лгалъ на меня, въ чемъ н и удичаль его печатно, назвавь его плясуномо на сковородъ (собственное его, зубоскала, въ этомъ сознаніе). А въ другой распретолстой и съ большими претензіями ведорь... журналь, хотыль я сказать, осмбили даже и легкость, съ какою писаль и, осибили мени и за то, что я написаль романь въ четырехъ частяхъ въ четыре недёли, а не въ четыре года. Вотъ судьи-то, такъ ужъ настоящіе Шемяки Шемякичи. Вполит сознаю и заявляю: въ этомъ романт масса дишняго, что следовало бы пропустить или переделать. Но местами я клаль вы него всю мою душу. Етому же я только начиналь тогда писать, учился и пробоваль силы. Спросить чего либо мижнія, совъта было не у кого, живи въ деревив. Впоследстви и сталь бы писать гораздо обдуманиве, обработаниће, и писаль бы не субтективно, какъ до того, а обтективно. Но влая судьба, и еще болбе злые люди не захотбли того. Ну и ограничилась моя литературная діятельность одной сукой матеріей, словарями. Правда, что я совершиль этотъ громадный трудъ въ невъроятно короткій срокъ: въ семь лёть, чему не хотёли повёрить компетентные люди, ученые и академики. За то зачахли мои воображение и вдохновеніе, да и на здоровьи крапко отозвались эти усиленныя занятія

по пятнадцати часовъ въ сутки, не исключая и самыхъ большихъ празд-

До «Задушевной Исповёди» и не браль пера въ руки, а только играль на гитарё, да писаль массу писемъ, цёлый ворохъ. «Исповёдь» была моммъ литературнымъ дебютомъ, за который обругали и ругали меня въ продолжении трехъ лётъ. Послёдній большой трудъ, написанный въ 1861 году, былъ романъ «Поддёльщики», тоже забракованный всёми редакціями, въ которыя обращался я. Мало того: одинъ редакторъ не поцеремонился наменнуть мнё о странности моего предложенія напечатать, даже безъ всякаго гонорара, такой жалкой, допотопный трудъ (sic). Прочитайте его, читатель, въ первыхъ шести номерахъ «Иллюстрированваго Вёстника» 1880 года, и судите, точно ли онъ текъ плохъ и неудобочитаемъ. А относительно «Воспоминаній», я сейчасъ вспомниль одинъ случай, очень хорошо характеризующій тогдашнихъ «строгихъ цёнителей и судій».

Сверхъ обывновенной цензуры, 3-я книга принадлежала еще и военной. Отправляюсь я къ помощнику военнаго цензора, полковнику Кропотову, серьезнъйшему изъ серьезныхъ людей и очень умному человъку и, отдавая ему огромную рукопись, говорю:

- Вашей цензуръ подлежить лишь одна третья книга. Скоро ли могу я получить отъ васъ мою рукопись, полковникъ?
- А, право, не знаю; я заваленъ работою. Я никогда не читаю романовъ иначе, какъ по обязанности. Вотъ мои любимцы по части чтенія, прибавиль онъ, ноказывая рукою на полку, гдё стояли римскіе классики.

На другой день иду я на литературно-сотрудничій вечерь къ номощнику редактора «Инвалида», Вл. Ник. Леонтьеву, брату моего покойнаго сослуживца по гвардік, одноротца, друга и соперника по моей второй страстной любей къ Болтиной.

- Ну, что, полковникъ, начали вы просматривать мою рукопись? спросилъ я Кропотова, бывшаго тоже на вечеръ у Леонтьева.
  - Да что? у меня отъ вашего романа стращно болить голова.
- Какъ это? Неужели писаніе мое имъло на васъ дъйствіе дурманнаго зелья?
- А вотъ что: я люблю читать въ постели, на сонь грядущій. Принимаюсь и вчера за третью книгу вашей рукописи. Прочитываю страничку, другую, третью. Чортъ возьми! Да вёдь это что-то очень интересное, дай-ко загляну на начало. Началь и съ начала, да потомъ не могъ и оторваться, такъ это интересно. Ну, всю ночь и не спаль,

а прочиталь и къ утру окончиль вашу рукопись. Да вёдь въ ней—такой огромный интересъ, что ее слёдуеть купить на въсъ золота (sic).

Ну ужъ куда тамъ на въсъ золота! И даромъ отдавалъ, никто не захотълъ печатать мой трудъ въ своемъ органъ. А выразительныя улыбочки-то, а многознаменательныя ужимочки-то, а пожиманіе-то иле-чами!.. Чего стоять?

## «Вотъ наши строгіе цънители и судьи!»

Итакъ, редакторскою (добро бы еще Божією) милостію безмолствоваль я ровно двадцать лътъ. Правда, пописываль иногда небольшія фельетонныя статьи, поитщаемыя въ иткоторыхъ, не предубъжденныхъ враждебно противъ меня, газетахъ. Да въ 1874 году, возмущенный безумінии соціалистовъ, комунистовъ, интернаціоналовъ, да еще нахальствомъ вагнеристова, идолопоклонниковъ безвкусной, снотворной музыки будущности, я написать и напечаталь и сколько брошюрокь: Умо и Остроуміе, да три бичующія сатиры: Кровавый призракь, Пигмеи на Ходулях в Пифъ Пафъ. И какую лестную благодарность получиль я тогда отъ Цесаревны за эти брошюрки, пожертвованныя иною въ пользу «Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ». Въ этой Августъйшей благодарности было высказано особенное сочувствие къ нравственной цъли сатиръ. Разумъется, эти брошюры не продавались и лежатъ теперь, словно въ ногилъ, въ книжномъ магазинъ Цвылева въ Малой Садовой, несмотря на благую цъль и дешевизну изданія: 30 коп. за брошюру. И даже теперь сильно боюсь, найдется ли журналь, который захотьль бы помъстить у себя эти «Воспоминанія», такъ напугань я пренебрежительнымъ ко мив невниманіемъ, болбе: какимъ-то хроническинедружелюбнымъ противъ меня предубъжденіемъ прессы, явнымъ желаніемъ не признавать во мив ни мальйшаго литературнаго дарованія, ни мальйшей заслуги, словомь: игнорировать меня и какъ писателя, и какъ полезнаго дъятеля, и постоянно запирать передъ самымъ моимъ носомъ двери своихъ редакцій, возвращая миж безъ последствій все, чтобы я ин написаль, даже по вопросу, касающемуся общественной пользы или животрепещущей злобы дня; а на другой же день помещають на своихъ столбцахъ какую нибудь неважную, часто тупую статейку, но написанную излюбленнымъ писакой своего прихода. Не бывали и отрадныя для меня исключенія, наприм.: «С.-Петербургскія Въд.» помъщали у себя не разъ и прежде мои статьи, помъстили цъликомъ и въ прошломъ 1880 г. въ 131 номеръ, большую мою статью: Путешествіе по дебряма славянской апатичности, дряблости и псевдомеценатства. Въ ней разсказана исторія созданія и появленія моихъ словарей, исторія печальная по ледяному равнодушію, съ какимъ и публика, и пресса встрътили мои словари, и, съ тъмъ вмѣстъ, утѣшительная по великодушію и щедрости въ Бозѣ почившаго Царя-мученика, державнаго мецената, поддержавшаго меня и давшаго мнѣ возможность довершать начатое, на пользу обществу, дѣло созданія раціональной межедународной лексикографіи. Статья эта будетъ помѣщена въ приложеніи: Исторія созданія моихъ словарей. Въ заключеніе повторяю: дьи мои сочтены. И если я очень мало беллетристическаго оставлю послѣ себя (не по моей винѣ, а по милости, не критиковъ, а злонамѣренныхъ ругателей-зубоскаловъ), то пусть же хоть мои словари свидѣтельствуютъ, что я не совсѣмъ даромъ «жевалъ хлѣбъ», не коптилъ небо, а внесъ и мою посильную лепту на пользу общества. Пускай хоть за словари помянуть меня не лихомъ, а добрымъ словомъ.

Такъ какъ я вознамърился вылить изъ моего сердца все, что копилось и накопилось въ немъ годами, сладкое-ли, горькое-ли, --последняго, разумбется, болбе, нежели перваго; вознамбрился ничего не брать съ собою въ могилу; - объ этомъ не разъ заявляль я въ Моихъ воспоминаміях, - то поговорю объ одной, не совсёмъ красивой чертё моихъ соотечественниковъ, славяноскиеовъ. Не спорю: натура русская-натура весьма добродушная, гостепріимная и даже порою шировая, но только широкая не всегда и не во всемъ. Я уже говорилъ кой-что выше о щедрости славянской натуры относительно тщеславія, моды, субъективнаго комфорта и чревоугодія. Да, мы не жалбемь денегь на пищу для -- желудка; но на пищу для умя — скареды; въ особенности на крупныя лепты для общаго блага. Такихъ личностей, какъ Стеверты, Пибоди, миссъ Кутсъ, Монтіоны у насъ, нажется, не было, да едвали и будуть. Пародіи на маленькихъ, миніатюрныхъ Лукулювъ бывали и будутъ. Да еще, пожадуй, время отъ времени, какая нибудь гильдейская бородка раскошелится, но не больно широко; раскошелится ради-пріобрътенія золотой медали. Но возвращусь къ славяноскиеской скаредности на пищу для ума, т. е. на вниги.

Во Франціи, Англіи, даже въ Германіи хорошей новой беллетристической книги въ одинъ мёсяцъ расходится иногда нёсколько тысячъ экземпляровъ. А хорошей научной книги, какой еще не появлялось и какая необходима каждому мало-мальски порядочному человёку, разойдется въ годъ два, три изданія. Напр.: словарь Бешереля, довольно дорогой, въ короткое время достигъ 10-го изданія. У насъ же далеко не то и не такъ. Въ 14 лётъ распродано только два изданія момхъ пол-

ныхъ словарей. У насъ: пусть Тургеневъ, помноженный на Гончарова. будеть помножень еще на гр. Толстаго; пусть они напишуть и издадуть дивную книгу. Ну, какъ продадутъ ее болбе тысячи экземпляровъ въ годъ, такъ это-тріумфъ небывалый, чудовищный (въ Парижъ продавалось и продается иногда по нёскольку десятковъ тысячь экземпляровъ въ годъ нъкоторыхъ романовъ). А ночему же такъ? Потому что въ Парижъ каждый порядочный человъкь со средствами, увидавь у знакомаго новую, интересную для него книгу, пойдеть и купить ее. А у насъ? «Ахъ какъ хороша эта книга! Одолжите мню ее прочесть», скажетъ интеллигенть знакомому интеллигенту. Ну, и возьметь, а не купить, хоть средствъ у него на десять такихъ книгъ. А посят него десятка два и другихъ такихъ же любознательныхъ и сваредныхъ интеллигентовъ тоже возьмуть почитать на шаромыжку ту же самую книгу. И корошо, если черезъ полгода новая книга вернется къ своему владвлыцу въ видъ лании. А то, - и это всего чаще, - и вовсе зачитаютъ ее... Скареды. А на устрицы, на тонкіе объды съ тонкими винами у какого нибудь обдирательствующаго французика-ресторана не пожальють оставить въ одинъ разъ стоимость десяти хорошихъ книгъ. Сколько зачитали у меня книгь и разрознили французскихъ «revues!» Нёсть бо числа. Не разъ случалось мий быть саному свидителемъ, или слышать о сценахъ въ родъ слъдующей:

Гостиная комъильфо. Меблировка и освъщение комъильфо. Хозяинъ и хозяйка—комъильфо. Гости—комъильфо, все интеллигенты первый сортъ. Бесъдуетъ все о матерьяхъ важныхъ, объ улучшения... чего-то, необходимато для преуспъяния человъчества, хоть бы о томъ, какъ посвиръпъе обругать того-то и еще то-то. И вдругъ одинъ изъ интеллигентовъ возвъщаетъ:

- Гг.! знаете-ли, что вышла новая книга, великольпевния, такая-то?
- Ахъ, какое счастіе! Мит до зартву нужна именно такая книга. . А у кого она продается и что стоить?—спросять въ одинь голосъ трое изъ интеллигентовъ-комъильфо.
  - Продается тамъ-то, стоить 3 рубля.
- Непремънно и сегодня же куплю, снажуть всъ трое. Остальная интеллигентная компанія съ полнъйшимь равнодушіемь и гробовымь молчаніемь встръчають сообщеніе о выходъ великольпеой книги: неинтересно. Вдругь другой кто либо изъ присутствующихъ провозгласить:
  - А знаете ли, гг., новость?

<sup>—</sup> Бакую?

- Очень интересную: открылся новый ресторань, гдё великолённо кормять. Всё лица проясняются, сінють оть удовольствія: интересно.
- А гдъ же этотъ ресторанъ? спрашиваютъ въ одинъ голосъ всъ безъ исключенія.
- На углу такой-то и такой-то. Въ два рубля прекрасный объдъ; а въ три - чудо, объяденіе, пальчики обсосещь. У Бореля и за пять рублей не дадуть такого. — Впечатленіе на всю честную компанію громадное, равносильное впечатавнію отъ извістія о побіді подъ Геонь-Тепе. Наконецъ гостиная комъ-мыфо пустветъ. Трое изъ интеллигентовь комъ-ильфо выходять въ глубокомъ раздумым. Новая книга нужна имъ до заръзу. Каждый изъ нихъ повъряетъ свои наличные капиталы: двъ трехрублевки да иъсколько мелочи. И потому: три рубля за книгу, а три на объды у Мильбрета до полученія жалованья или гонорара отъ патрона. Итакъ каждый изъ трекъ поварачиваеть въ лёво за книгой. Останавливается, глубово задумывается, гораздо глубже, нежели Ньютонъ надъ открытіемъ закона тяготінія. Ну, и предметь-то поважніве : великольный объдь за три рубля, какого Борель не дасть и за пять. Думаеть, думаеть и поворачиваеть назадь къ новому ресторану. Опять остановится, позадумается, повернеть назадь, снова остановится. И такимъ образомъ послъ долгихъ размышленій, колебаній, давированій то нацъво, то направо, въ концъ концовъ восилинетъ:- Да ну. ее, успъю купить и послё!... То ли дёло обёдь въ три р., который лучше пятирублеваго у Бореля. — Итакъ, пойдетъ, прожретъ три рубля, а книги такъ-таки и не купитъ. И молодые, и пожилые, и старые славяноскиом - точно также скаредны на покупку книгъ, но не на обжорство. О гером гастрономім и сладко-обжорства!... Въ половые вамъ, а не въ герои. Въ продавцы блиновъ, да только Меньшиковыхъ изъ васъ никогда не выйлетъ.

Итакъ, наконецъ-то я весь передъ вами, любезныя читательницы и читатели, со всёми моими грёхами, недостатками, заблужденіями. Увлеченіями, безь мальйшей утайки. Судите и рёшайте со всею строгостію, но и съ безпристрастіємъ: чего я стою? Можно ли меня пемиловать, или слёдуеть назнить, какъ это сдёлали двадцать лётъ тому назадъ, за мою «Задушевную Исповёдь», въ концё которой обращался я въ суду общественнаго мяёнія съ слёдующими словами:

«Надъюсь, что между семидесятью семью милліонами моихъ сограждань, найдется довольно благородныхъ, безпристрастныхъ и независимыхъ сердецъ, на которыя не подъйствуетъ обанніе чужихъ милліоновъ, и которыя не побоятся произнести неподкупное и справедливое мижніе; не

побоятся осудить кичливость ложных доблестей, неправду, лицемфріе, и жестокосердіе, какъ бы искусно ихъ ни маскировали, какъ бы глубоко ни прятали подъ кучею банковых билетовъ, акцій, домовъ и картинныхъ галлерей».

Увы! обращение это было гласомъ вопіющаго въ пустынъ. «Задушевную Исповъдь» поняли, т. е. захотъли понять превратно, перетолковали вкривь и вкось, и чуть не побили меня за нее камнями, не
устыдились открыть въ ней будто-бы «корыстныя цъли» (это въ «Задушевной-то Исповъди», гдъ такъ ярко проглядываетъ полное мое безкорыстіе). Неужели придется мять и теперь испытать тоже самое? Неужели придется мить продолжать носить съ собою и учести въ могилу
безотрадную мысль, что въ русскомъ обществъ нътъ правды; что эта
правда умерщвлена, заклана на жертвенникахъ Мамоны.

Впрочемъ весьма трудно и решить-то, что преобладаетъ въ современномъ русскомъ обществъ: всемертвящее ли медузинское равнодушіе къ честнымъ, но не авторитетнымъ труженикамъ и къ ихъ полезной, но скромной, не блестящей дъятельности; но всему ли отвлеченно хорошему, незамаскированному, ненабъленному, ненарумяненному, ненакрахмаленному, неподдъльному, не пуфическому и нешарлатанскому; или преобладаеть въ немъ всеразжигающая, всеразъбдающая, всерастиввающая страсть, бъщенная скачка, не столько съ препятствіями, сколько съ безстыдствомъ и наглостью въ скоръйшему обладанію конкретными сладостями жизни и дасками своей безстыжей проститутки-Мамоны, открывающей свои объятія нечистымь, циническимь хищникамь, паразитамь, искателямь приключеній, пройдохамъ и воротиламъ большаго или маленькаго свъта; и раздающая одни только щелчки, да пощечины, да плевки безкорыстію и высокой честности. Конечно не за тридцать сребрениковь, — pas si bêtes, не стоить рукь марать, — а за какой нибудь милліончикь, а то пожалуй за какія нибудь сотевки тысченокь, --- и то ладно, годится, подавай сюда, -- продали бы и нынъ Христа, если бы Онъ, по своей неизръченной благости и ради вторичнаго спасенія человъчества, пожелаль снизойти на землю, въ прокаженно-культурную современную среду. И не одинь, какъ во времена царства іудейскаго, а цёлыя тысячи, десятки тысячь нашлось бы современныхь Тудь предателей въ нашей пресловутой, т. е. самохвальной цивилизаціи ради такого милліоннаго гешефта.

Такъ вотъ, за неимѣніемъ божественныхъ агнцевъ, и продаютъ теперь, и распинаютъ безусловно-честныхъ праведниковъ, и при этомъ, pour la bonne bouche, продаютъ и свою честь, и свою совъсть, и свое отечество, благо оно долготериъливо и многомилостиво. Шарлатанство, нахальство, наглость и, съ тъмъ вмъстъ, холопство, повсемъстная ложь, неумольное лганье, обманы, надувательство, вымогательство, безстыжіе мъдные лбы, погоня за теплыми мъстами, хотя бы и безъ почета, безъ почестей, или за почетомъ и почестями, но только съ теплыми мъстечками; хапанье, цапанье, поголовное хищиичество и ограбленіе безграмотныхъ и беззащитныхъ массъ; субъективное и объективное порабощеніе, запродажа себя ап plus offrant: вотъ девизы, эмблемы, излюбленные идеалы пресловутой культуры второй половины XIX-го стольтія....

И после всего этого мы осмеливаемся карабкаться на гнилые, но высокіе заборы, или на огромныя навозныя кучи и, съ этихъ достойныхъ насъ подножій, съ языческимъ самообожаніемъ, съ сабиымъ самообольщеніемъ, съ нахальнымъ самовосиваленіемъ дерзаемъ выврикивать торжественное, побъдное «кукарску» въ честь и прославление вышеръченной хромоногой культуры.... Прочь это омерзительное идолопоклонство! Срывайте съ себя блестящія праздинчныя ризы всё вы культурные шаманы, жрецы, сенды и поклонники Мамоны! Смолкните лжехвалебные гимны и кантаты позолоченнымъ болванчикамъ, божкамъ и богинькамъ. Снимите замки и заклены съ устъ безусловной правды, перестаньте распинать ее, не на крестъ, а на позорныхъ листкахъ продажныхъ панегиристовъ или наемныхъ ругателей; сбросьте траурную арестантскую одежду съ гражданской доблести, перестаньте рыть ей могилу, играть похоронный маршъ; плачьте, рыдайте, кайтесь и закайтесь: лучие поздно, чемь никогда. Это будеть жертва, достойная Бога встиннаго, Бога правды, чести, честности, неподкупнаго правосудія и строгой справедливости; любви въ ближнему, къ отечеству, ко всему человъчеству. Словомъ: «совлените съ себя ветхаго человъна и болъе въ нему не возвращайтесь». Это будетъ истиная, а не поддъльная, не облыжная гуманность; здоровая, а не худосочная, не изъёденная термитами цивилизація; словомъ: это будеть не полу, а полный прогресь; не трусливый, не крадущійся ощунью въ полумракь; а смілый, съ открытымъ челомь, спокойный, безъ колебаній, безъ судорожныхъ прыжковъ и бъщеныхъ скачковъ черезъ неуравненную предварительно почву, безъ сошествія съ рельсовъ и безъ постыднаго торможенія или попячиванья.

Вотъ тогда, и только тогда взойдеть и заблещеть солице Безусловной Правды, надъ головами обновленнаго и спасеннаго человъчества.

Вотъ тогда, и только тогда притупятся винжалы, заржавжють револьнеры, затонеть динамить и нитроглицеринь въ спасительныхъ волнахъ всепрощенія и всепримиренія. Смолинеть тогда и звукь цёней и не будеть раздаваться грохоть разстрёливаній, перегніють и перервутся веревки для вёшаній, заржаваєть и сломается лезвіе гильотины; умолинеть на вёки громъ скорострёльных ружей и нарёзных в пушекъ, а за нимъ и... трескъ барабановъ.

И всюду распространятся и воцарятся на землё не перемежающіяся, а постоянныя—свёть и тепло, знаніе и любовь; тишина, спокойствіе, согласіе и... ненарушимый, вёчный миръ.

Но нътъ! Еще не придумано дъйствительныхъ намордниковъ на злобу человъческую; смиреніе незнакомо людской гордынъ; развращенное и ожесточенное сердце потомковъ Авели и Каина не смягчится, не умиротворится никогда.

Пусть же снова возстануть и ополчатся на меня обломки зубоскаловь и писакъ тестидесятыхъ годовъ, если не всё они потонули въ водахъ Гацсаля или въ волнахъ Леты, въ пучинъ общественнаго забвенія и... презрънія.

Смъйтесь же, хохочите безумно, кощунствуйте, издъвайтесь и наругайтесь надо мною; швыряйте грязью въ мои съдины.... Я и самъ буду теперь тоже хохотать и смъяться надъ вами, потому что недолго придется вамъ такъ издъваться и наругаться: жертва скоро ускользнетъ изъ вашихъ шелудивыхъ рукъ.

Чу! Стукнуль о намень заступь, роющій для меня могилу. Скоро застучить и молоть, заколачивающій гвоздями крыну моего послёдняго, досчатаго, тёснаго и темнаго жилища. И опустять въ свёжую могилу, и засыплють сырой землей это досчатое, тёсное жилище, мое вёрное, надежное убёжище.... И я спасень, застраховань на вёки оть злобы людской; и не оскорбится болёе слухь мой ни чьей хулой, ни чьей бранью....

Вотъ мои последнія, предсмертныя, ab imo pectore, слова.

Acta est fabula.

И отъ субъективнаго перехожу въ повъствованію объективному.

О память моя!... Куда же ты дёлась? Что сталось съ тобою? Заёли тебя, мою голубушку 72 года моей измученной, страдальческой жизни. Сколько я ни припоминаль, сколько ни шариль въ этой измёняющей миё памяти, а далеко не все припомниль, все остается еще припомнить и говорить о многомъ интересномъ, не разсказанномъ. Напр.: говоря о важной, но дорогой моей теткъ, Шиповой, у меня изъ ума вонъ было поговорить о другой, далеко не заурядной теткъ. Это — княгиня Марья Павловна Волконская, жена племянника бывшаго министра двора, князя Петра Мих. Волконскаго. А тетка эта была ангель добрёйшаго сердца,

прекраснаго характера и основательнаго ума, а въ молодости необывновенная врасавица, и самый върный, пламенный другь моей покойной матери во вреня ихъ дъвичества. Онъ были неразлучны, вмъстъ влюблянись, вздыхали, мечтали, но не такъ какъ нынъ: о богатъйшихъ мужьяхъ или даже и не о мужьяхъ, а о сотрудникахъ по воровству милліоновъ изъ какого нибудъ казначейства, или просто по динамиту. Нътъ! онъ мечтали о матеріяхъ далеко не столь важныхъ, о предметахъ далеко не столь возвышенныхъ, а только: о лунныхъ ночахъ на берегу журчащихъ ручейковъ, о «Малекъ Аделяхъ» и о върной къ нимъ любви до гробовой доски и даже за предълами этой доски. Заводили себъ альбомы и исписывали въ нихъ страницы нъжнъйшими произведеніями тогдашней піитики, въ родъ слъдующаго:

Удариль чась, мёдь зазвучала
И будто стоны издала;
Слеза на грудь мою упала,
Душа заныла, замерла.
Свершилось все, разстаться должно,
Коль рокь претить намъ вмёстё быть;
Судьбё повиноваться можно,
Но льзя-ль не плакать, не грустить \*).

И такъ далье, нъсколько строфъ все въ томъ же чувствительномъ, минорномъ тонъ. Потомъ мать моя вышла за моего отца, а ея кузина за князя Волконскаго, красавца, и хотя умомъ не доходившаго ей и до щинолотки, но добраго, честнаго и съ состояніемъ молодаго человъка, да еще и сіятельнаго, со связями. Разстались двъ неразлучныя до того кузины, и потомъ одна изъ нихъ умерла отъ тоски по сынъ въ 1815 году, а другая убхала въ Петербургъ съ мужемъ, поступившимъ тотчасъ же на придворную службу. Затъмъ ни слуху ни духу не было о ней въ семъъ моего отца, и я даже не подозръваль, что у меня въ Петербургъ есть тетка, да еще сіятельная. Открытіе ее для меня было сдълано потомъ въ мат 1834 года, и не самимъ мною, а моими кръпостными костромскими оброчниками. Я хоттъ разсказать этотъ весьма интересный эпизодъ въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній», но Богь въсть, доживу ли я до тъхъ поръ, и потому дълаю это теперь же.

<sup>\*)</sup> Эти стихи, еще въ дътствъ, вычитадъ и затвердилъ и изъ альбома, оставшагося послъ моей матери, только что научившись читать. И съ какимъ же чувствомъ и, восьмильтній мальчикъ, декламироваль тогда эти строфы и чуть не планалъ.

Вскоръ послъ отказа моего — сдълаться преуспъвающимъ чиновникомъ, — помните, читатель? — и недъли за двъ до отъъзда моего изъ Петербурга на родину, однажды утромъ является ко мнъ одинъ изъ моихъ оброчниковъ и, въ роли моего Колумба, докладываетъ:

- Ваша тетенька Марья Павловна приказали вамъ кланяться и очень просять васъ пожаловать къ ней завтра утромъ на Захарьевскую улицу.
  - Какая тетенька? -- спросиль я съ изумленіемъ.
  - Да внягиня Марья Павловна Волконская, ваша тетенька.

«Тетенька Марья Павловна, да еще и княгиня! Господи! Да за что же на меня такая напасть, такое сіятельное нашествіе?—И откуда взялась такая тетушка»? Не сказаль, а подумаль я и ничего не отвъчаль моему Колумбу. На другое утро тоть же визить, но со словесныньдо полненіемь:

- Княгиня Марья Павловна и самъ князь Николай Петровичь (мой круглый тезка) оченно просять васъ пожаловать къ нимъ. Но я продолжаю faire la sourde oreille. На третье утро новый визить моего Колумба и съ новымъ дополненіемъ:
- И княгиня, ваща тетенька, и князь, и три княжны, ваши сестрицы, и оба молодыхъ князя, оченно, оченно просять васъ пожаловать въ нимъ. — Ничего не подблаемь. После третьяго и такого решительнаго пристуца, кръпость должна была сдаться. Напяливаю на себя фракъ, взбиваю огромитиній кокъ и, въ величайшемъ волненіи, отправляюсь на Захарьевскую. Акъ! отчего не убхалъ я отсюда недблею ранбе? думалось мив. Воть я и у двери, на которой сіяеть мідная досчечка, а на ней сіясть: Князь Николай Петровичь Волконскій. Съ запираніемъ сердца дергаю за ручку колокольчика. «Ну, накъ они важные? пропала моя головушна»! подумаль я въ эту торжественную для моей «букости» минуту. Но воть дверь настежь. Вхожу въ переднюю, изъ которой въ полурастворенную дверь въ залъ, усматриваю цёлую группу сіятельныхъ и сіяющихъ дамъ и мущинъ. Вхожу, пренедовко расвланиваюсь, преробко расшаркиваюсь, рекомендуюсь и... менже, нежели черезъ часъ, я быль въ семействъ какъ свой, какъ съизмала знакомый и дорогой родной; такъ ласково, такъ радушно, съ такою непритворною радостью встрътили меня и тетка, и князь, и молодые князья, и, въ особенности, княгиня и молодыя княжны, мои кузины.

Сорокъ щесть лътъ прошло съ тъхъ поръ. Сколько бурь, урагановъ пронеслось надъ моей головой и разрушило до тла нъсколько храмовъ моего счастія, или върнъе, проблесковъ счастія. Сокрушены всъ мои надежды, върованія, идеалы, ожиданія и исканія чего-то?.. чего-же?.. чего здъсь нътъ.... Быть можеть оно Тамъ, куда не замедлю отправиться.

Сокрушили бури и ураганы все... кромъ энергіи: она всецьло при мнъ, такан же, какою была и полвъка тому назадъ. Многіе мом знакомые утверждають, что будто бы я нисколько не состарблоя.... сердцемь и душою, разумъется, а пожалуй воображеніемь и умомь, но не плотію... Можеть быть. Не мев судить объ этомъ. Знаю навърное только одно: надъ всвии этими воспоминаніями, горькими или сладкими, царить въ моей душь, преобладаеть надо всьмы остальнымы одна неизбывная мысль, одно затаенное и самое горькое сознаніе, что мои необычайныя терптніе и настойчивость, при незнаніи усталости, что моя титаническая, несокрушимая энергія, будь она во время признана и поощрена, могла бы сдвинуть горы, а сдвинула только лексикографические холиики, да еще нъсколько музыкальныхъ кочекъ, т. е. вызвала въ нъкоторыхъ брюссельскихъ газетахъ самые лестные отзывы о моей игръ на гитаръ.... quelle misère!.. Словомъ: истрачена, пропада почти даромъ моя энергія. потому что, двадцать этть тому назадь (снолько могь бы я саблать хорошаго въ такой длинный періодъ времени!) русская періодическая пресса признала меня ниже всякой посредственности, бездарнымъ, неспособнымъ, негоднымъ ни на что, просто дурнымъ человъкомъ; и затъмъ въ этомъ духв и смыслъ продолжались ея отношенія ко инв... Но возвращаюсь за нъсколько строкъ назадъ,

Итакъ, сорокъ шесть лъть прошло со дня перваго моего свиданія съ семействомъ Волконскихъ, а какъ живо представляется мив эта сцена. воспоминаніе о которой, кажется, помолодило меня, сбросило на мигъ съ моихъ плечь эти сорокъ шесть лётъ и неудержимая слеза благодарности сверкнуда въ моихъ потухающихъ глазахъ и тихо скатилась но моимъ поблеклымъ и щетинистымъ щекамъ; слеза благодарности къ покойной теткъ и къ повойному князю и тоже къ повойнымъ, молодымъ тогда виязьямъ, и къ тремъ живущимъ еще княжнамъ; слеза глубокой благодарности за тъ минуты чистъйшаго счастія, которое согръдо, озарило мою сиротскую жизнь и въ минуту перваго знакомства, и потомъ, по возвращенім моемъ изъ деревни дяди и по вступленім вновь на службу, продолжало согръвать и озарять меня отъ начала 1836 по апръль 1837 г., когда я убладь въ отнускъ для вступленія въ первый мой бракъ съ Болтиной. Потомъ не прівзжаль я въ Петербургь до 1840 года, и тогда не засталь уже въ живыхъ моей безподобной, несравненной тетки. Миръ праху твоему, добръйшая, благороднъйшая и уметишая женщина!

Каніе счастивые дни, и сколько ихъ провель я тогда въ этомъ прелестномъ семействъ, въ продолжении четырнадцати мъсяцевъ! Бывало чуть навернется свободное время: ни службы, ни ученья, — я драло изъ

казармъ къ теткъ на Захарьевскую, днюю тамъ и ночую, провожу иногда два, три дня сряду и болбе, пока недадуть мий знать изъ казариъ, что предстоить служба или ученье. Старшая княжна, Надина, степенная, серьезная, относилась къ жизни разумно-сдержанно. Меныпая, двънадцатильтняя Мари, - проекть будущей ослепительной красавицы, проекть внолив осуществившійся въ сороковыхъ годахъ, но увы! безплодно. Впрочемъ, и веб три княжны остались девицами, хотя и съ хорошимъ состояніемъ. Но средняя, Эмили, семнадцатильтняя шатинка: что это было за прелестное, поэтическое создание! Распрехорошенькая, безъ классической прасоты, но выше всякой классической симпатичностью свесто очаровательнаго, русско-прекраснаго личика, стройностью своей граціозной фигуры, а главное: умна и остроумна какъ Ривароль или какъ Бомарше: слегка насмъщлива, но безъ малъйшей злости, всегда ровнан, веселан, живая, находчивая и смёдая, премило пёда и была утёхою, веселіемъ всвять, и своихъ и чужихъ, знакомыхъ. Сколько бывало забавныхъ разсказовъ, острыхъ сдовъ, передразниваній, сибху до слезъ, уморительныхъ, импровизированныхъ игръ; и надъ всёмъ этимъ царила постоянная, свътлая, невозмутимая радость, безъ мальйшей тыни или облачка. Начну и, бывало, представлять влюбленнаго рыцаря, жестинулирующаго у подошвы высокой башни и порывающагося освободить заключенную тамъ принцессу. Затъмъ, гитару въ руки и давай распъвать, на голосъ, извъстный тогда: «Охъ кутить, такъ кутить», куплеты на танцовальные вечера одного превосходительнаго дома, куплеты, сочиненные всёми нами en commandite. Вотъ образчикъ:

Эй, честные господа!
Собирайтеся сюда,
Вы послушайте разсвазы
Про чудесные провазы.
Что у Ма—ковыхъ балъ,
Словно чортъ съ печи упалъ,
Тамъ нагонъ курьезныхъ лицъ
Изъ деревень и столицъ.

Куплетовъ было много, потому что мы перебрали поочередно почти всёхъ многочисленныхъ посётителей превосходительныхъ вторниковъ, посётителей обоего пола, и молодыхъ и старыхъ, въ особенности нъкоторыхъ офицериковъ, чиновничковъ, съ орденами и безъ «оныхъ», и барыменъ; барынь трогали рёдко: да ну ихъ!.. Но офицерикамъ, но чиновничкамъ?.. бёда! доставалось на орёхи. Но что особенно увеличивало

для меня очарованіе этого дома, такъ это то, что я не встръчаль тамъ никакикихъ превосходительныхъ, кромъ одного, и то весьма ръдко. Это—Беклеминевъ, шталиейстеръ Двора, женатый на сестръ князя. Втому же это быль прекраситыній человъкъ.

О, двадцати четыреклётній возрасть! О молодость! Какъ скоро прошла ты, и куда ушла?.. И уже никогда не повторишься ты, не вернешься и не развеселишь печальныхъ думъ старика — безъ мальйшей надежды на лучшіе дни, на улыбку судьбы, на сочувствіе толпы, падающей ниць передъ авторитетами, но презрительно пожимающей плечами при взглядь на неавторитеты, хотя бы это были и весьма полезные дъятели; на ихъ скорби и страданія. О мода! о судьба! И неизмънитесь вы никогда къ лучшему, а развъ только къ худшему... Возвращаюсь къ теткъ.

Съ какой ангельской добротою, заботливостью и любовью, съ настоящею материнскою ивжностью ухаживала она за мною, старалась развлечь меня, развозя по вечерамъ и бадамъ, чтобы спасти меня отъ самоубійства или отъ сумасшествія, въ концъ 1836 и въ началь 1837 года. въ тв страшные дни и часы мрачнаго отчания, которые наступили для меня, по получение въ ноябръ 1836 года отъ моего будущаго тестя Болтина, перваго письма, въ которомъ онъ писалъ: «Дочь моя слишкомъ молода, и потому я не могу согласиться на бракъ ея съ вами». А въдь это была моя вторая страстная, безумная, безпредвльная любовь; любовь, награжденная поливишею взаимностью и затымь поливищимь счастіемь, носледовавшимъ после втораго письма Болтина, въ апреле 1837 года, въ которомъ онъ писалъ мий: «Убъдившись въ искренией, глубокой любви къ вамъ моей дочери, я даю свое согласіе на бракъ ея съ вами». Паже это письмо получиль и въ домъ тетки, гдъ гостиль и уже съ недълю, числясь больнымъ и ускользнувъ изъ казариъ. Но объ этомъ второмъ моемъ романъ будетъ подробнъе послъ, въ 9-й книгъ «Воспоминаній».

Въ самомъ дълъ, какой романъ!.. Что я?.. Не одинъ, а нъсколько, и интереснъйшихъ романовъ и нъсколько потрисающихъ драмъ вмъщаетъ въ себъ мон жизнь, это порою тихое, благополучное, подъ яснымъ небомъ, а наичаще бурное, со швалами и штормами плаваніе по житейскому морю, отъ берега несчастнаго рожденія и до берега въчнаго успокоенія. Я написалъ шесть романовъ, правда, субъективныхъ, но за то и обруганныхъ или забракованныхъ. А какой нибудь покойный Ал. Дюма съумъль бы выкроить изъ моей жизни, по меньшей мъръ, романовъ двънадцать, да еще, не въ счетъ абонемента, нъсколько драмъ. О многихъ изъ нихъ я поразскажу далъе много весьма интереснаго.

Извлечение изъ : «Мои Семидесятильтния Воспоминания ».

## Сонъ и пробужденіе \*).

Страшно дней не въдать радостныхъ, Быть чукимъ среди своихъ.

Pusneer.

Быль когда то одинь человёкь, который разгадаль меня и вполнё поняль и оцёниль. Это было давно, безъ года полвёка тому назадь. И человёка этого уже нёть въ живыхь, но онь живь въ моей памяти, въ моемъ сердцё. Это быль прелестный, добрёйшій, честнёйшій и умнёйшій человёкь, мой старый товарищь по Литовскому полку и превосходнёйшій изь превосходныхь начальниковь, — Владимірь Петровичь Желтухинь. Вёроятно много есть еще, если не товарищей по службё, то воспитанниковь бывшаго 1-го московскаго кадетскаго корпуса, и еще Пажескаго, которыхь онь быль директоромь; много воспитанниковь, которые засвидётельствують, что въ моихь похвалахь В. П. Желтухину нёть и тёни преувеличенія.

Выло лъто 1832 года. Литовскій гв. полкъ стояль въ Ораніенбауит и за то, что много пострадаль отъ польскаго возстанія 1830 г., быль на это льто освобождень отъ лагеря. Какь офицерь роты Его Высочества, я имыль квартиру во дворць Великаго Князя. Желтухинь тоже. Я и еще человьки пать офицеровь столовались у него. Имыль онь прекраснаго повара, а самь быль превосходнымь домовитымь хозяиномь. Вы продолженіи этого времени сь большимь любопытствомь и вниманіемь всматривался онь вы меня, изучаль меня. Подъ конець, послы одного объда, оставшись на единь со мною, за чашкою кофе и сь трубною въ рукахь, онь заговориль со мною такь, и то, чего я не ожидаль, чего я ни прежде, ни послы ни оть кого не слыхаль, что... не помню, удивило ли меня, обрадовало или опечалило, но чего, во всякомъ случав, я никогда не забуду.

<sup>\*)</sup> Вся эта 4-я книга написана лътомъ сего 1881 года.

— Николай Петровичъ, — сказаль этотъ практическій философъ, моралистъ и наблюдатель. - Два мъсяца я въ васъ всматривался, щупаль, анализироваль, такъ сказать, анатемироваль вась, словомъ изучаль вась всесторонив, съ любовью, со страстью фанатина медицины и хирургін. Съ вашимъ дядей Валерьяномъ Макарычемъ мы были испренніе друзья. Да и ито въ полку имъ не быль, ито не любиль этого чудака, этого горячку, но добряка и весельчака, какихъ мало, и съ которымъ скука была неизвъстна. Васъ зналъ я еще отрокомъ и всегда любиль васъ, какъ роднаго племянника, любимаго мною моего товарища и друга. Но вы были тогда подпранорщикомъ, я - капитаномъ, общаго между нами ничего и не было. Теперь же вы - подпоручикъ, я - полковникъ, одного съ вами батальона, и живу въ одномъ съ вами дворцъ. Но вы всегда были для меня загадочнымъ сфинксомъ, разгадать котораго мий страхъ какъ хотблось. Для этого завлекъ я васъ на мои обеды и... о, какъ я радъ этому!.. и н васъ разгадалъ, вполив поняль и оцвиндъ. Вотъ видите ли: и полковой командиръ, и всъ товарищи васъ очень дюбять и уважають за вашь прямой, открытый и честный характерь и поливите безкорыстие; но они далено васъ не понимаютъ \*). Я же тенерь знаю, что вы такое, на что способны и на что неспособны. Да врядъ ли и сами то вы это знаете, такъ много въ васъ застънчивости, какой то запуганности и постоянного недовърія къ самому себъ и еще чего-то, какъ бы выразиться, чего-то институтского. Но главное ваше несчастие, о которомъ остается вамъ глубоко сожалъть, это — что вы не получили влассического, университетского, ни даже гимназическаго образованія. Получите вы его, о, тогда навърное имя ваше могло бы пріобръсть громкую извъстность, въроятно и славу. Но и такъ какъ

<sup>\*)</sup> Странная вещь: полковые мои товарищи далеко меня не понимали. Понимали они внолнё мое сердце, правда. И любили же они меня. Рёдкая дружеская вечеринка съ пуншемъ или жженкою обходилась безъ меня. Сверхъ прощального обёда, даннаго мнё при отставке цёлымъ полкомъ, на всякій другой подобный обёдъ, если я случался тогда въ Петербурге, приглашали меня и чествовали наравнё съ выбывшимъ товарищемъ. Итакъ, знали коротко мое сердце, но не умственныя способности. Между тёмъ всё въ полку и постоянно величали меня поэтомъ. А за что? Стиховъ я не писалъ, кромё одного посланія, о которомъ будетъ рёчь въ 9-й книге. Это не то, что другой мой товарищъ, Языковъ, который потёщалъ нногда товарищей весьма недурными стихами. Ну, а меня-то за что? А за то: у меня была бездна поэзім въ чувствахъ, мысляхъ, разговорахъ, т. е. поэзім въ прозъ. И на людей, и на вещи, и на жизнь я смотрёлъ черезъ призму какой-то удивительно поэтической фантазіи.

вы есть, съ вашимь теривніемь и настойчивостью вы можете иного сдівдать, а можете и ничего не сдъдать: все это будеть зависъть отъ обстоятельствъ, отъ случая, отъ минутнаго наитія, да отъ работы, какъ говорять французы, par soubressaut, но не отъ правильной работы по програмив, по плану заранве составленному. Вы можете быть и очень счастливы, какъ никто, и очень несчастливы, какъ никто, а скорбе и то и другое. Объ этомъ позаботятся ваши чрезмарныя впечатлительность и чувствительность: вёдь вы ужаснёй пій не тронь-меня, настоящій порохъ. Но во всякомъ случав, чтобы съ вами ни случилось, вы никогда, ни на единый мить не перестанете быть рыцаремь высокой честности и чести. Вы будете безпрестанно к горько разочаровываться к въ людяхъ, и въ вещахъ, но не озлобитесь, не ожесточитесь и не перестанете быть добръйшимь, сострадательнойшимь человыкомъ, и часто въ явный себъ ущербъ и вредъ. Вы неспособны не только на дурное, злое, на мало-мальски сомнительное дело, но ни на мальйшее вилянье, на уклонение на волосокь оть прямаю пути. Знаете ли вто вы? Вы... но этого я никому не скажу, кромъ васъ, и то посекрету: не поймуть... толпа... ножалуй еще и на смъхъ поднимуть и меня и вась. Вы... геній добра, правды и честности, но, сь тымь вийсты, вы — человных неразгаданный и неразгадываемый.

Провидение отполось: вы или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно явились между людьми, и, увы: васт никто и никогда не пойметь и не оцпнить. Порою вы будете перетолкованы самымь обидныйшимъ образомъ для человъческихъ ума, проницательности и справедливости. Итакъ, вы бы должны были сдплаться знаменитыми человъкомъ, а будете человъкомъ малоизвъстнымъ. И эта разница между тэмъ, чэмъ вы будете и чэмъ бы должны и могли были быть, будеть источникомъ великихъ оскорбленій для вашего самолюбія и большихъ для васъ страданій. Въ особенности впослёдствін, при дальнёйшемъ вашемъ движении по дорогъ жизни, при столкновенияхъ съ разными людьми и людишками, когда нёкоторые изъ нихъ, бахвальныхъ, заносчивыхъ и задорныхъ пигмеевъ ума, таданта и особенно доброты и высокой честности; когда эти пигмеи будуть передь вами ершиться, приподниматься на цыпочки и надуваться какь изгушки, задирать кверку свои тусклыя и тупыя жабым морды и, съ пренебрежениемъ чисто лягушечьимъ, примутся нахально квакать на васъ, гиганта добра и высокой чести и честности... Впрочемъ, вы не унывайте, не падайте духомъ: вы все-таки можете когда нибудь пріобрасть извастность, и весьма почетную. Это гарантирують вамь ваши любознательность, теривніе, на-

стойчивость, сила волч, память и несокрушимая энергія, п... и... вашь умъ, который рано ли, поздно ли, а все-таки проснется. Еще: вы человъть безстрашный, одинь изъ техь, про которыхъ говорятъ -- ему жизнь копъйка... Ну, и для васт она тоже копъйка (Увы! я послъ доказаль это моимъ поединкомъ съ Семеновымъ на ружьяхъ и безъ секундантовъ). А между тъмъ, кто васъ мало знаетъ, никакъ не приметъ васъ за такого, а скоръе вы покажетесь ему такимъ смиренникомъ, даже робкимъ, что васъ всякій можеть обидёть. И наобороть: порою вы можете показаться... неудобоваримымъ, даже свиръпымъ, тогда какъ вы — воилощенная доброта. Одно у васъ, какъ на ладони, это - ваше сердце, безконечно доброе, что видять всв вась знающіе, и безконечно великое, чего нисто не подозръваетъ. Вообще, въ васъ замъчается какая-то двойственность, сидять въ вась два человека, два я: одно внёмнее, которое всь видать, знають и всь знающіе уважають; другое — внутреннее, сокровенное, котораго никто не видитъ, о которомъ никто не знастъ, а сами вы менъе, чъмъ кто либо; словомъ я авное, вполнъ достойное уваженія, и я тайное, достойное — сугубо. Еще: вы — превеселый малый, а иногда-страшно кандрите, лица на васъ не бываетъ, но не надолго: это какіе-то неправильные пароксизмы, словно тучки на небъ: вдругъ набъгутъ откуда-то, и также скоро разбъгутся, и вы опять распревеселый товарищь. Но что никому неизвъстно, во особенности вамо самима, такъ это — вашь свётлый, глубокій, острый, жгучій умь. Но этоть умя у васт подт спудомя, сидить онь, бъднятка, спрятавшись гдъ-то, въ темномъ, тъсномъ, хододномъ чуданчикъ человъческаго духа: сидить съежившись и дрожа отъ колода и отъ какого-то страха. Я сказаль выше, что много страданій должно выпасть на вашу долю. Да, очень тяжель и трудень будеть вашь жизненный путь: такъ всегда было, есть и будеть для неразгаданных людей. Знаете ли кто еще можеть разгадать вась, какь разгадаль я? Это — женщина, но только чрезвычайно умная и чрезвычайно добрая, словомъ: необывновенная; а гдъ жъ вы найдете такую? Но если бы такая нашлась и узнала бы васъ, какъ знаю я, она должна страстно, безумно полюбить васъ; другаго исхода, при близкомъ съ вами знакомствъ, для женщицы необыкновенной ивть и быть не можеть, потому что и вы сами — человъкъ далеко выходящій изъ ряда обывновенныхъ смертныхъ, тъмъ болье, что, въ довершение всего, вы -- натура необыкновенно пылкая, страстная, огненная и сильная, всецбло сохранившая юношескую крыпость; а такія едва ли найдутся среди теперешней молодежи, вялой, истасканной, изношенной и до времени одряхавыей. Вёдь вы чуть ли

не институтская цаломудренность. Для умной и пылкой женщины такой мужчина, какъ вы, неоцвиенный кладъ... И знаете ли что? Такан женщина уже нашлась. Угадайте... Но секретъ... Впрочемъ, вамъ не нужно объ этомъ напоминать: вы - образецъ скромности, никогда не выдадите чужой не только тайны, но и полутайны. Итакъ, знайте: эта женщина-ближайшая ваша сосёдка, изъ двери въ дверь. Это - Парасковья Сергъевна Тинькова, жена вашего ротнаго командира. Но я должекъ оговориться: она вполнъ разгадала, поняла и оцънила васъ по достоинству, склонилась въ своей гордой для пошляковъ душъ передъ вашимъ нравственнымъ превосходствомъ, удивляется вамъ, глубоко уважаетъ васъ. И если она не полюбила васъ страстно, безумно, то это потому только, что у нее есть мужъ и дъти, которыхъ она обожаетъ. Не разъ разговаривали мы съ нею объ васъ. И она, и я уже давно начали понимать васъ и полюбили всёмъ сердцемъ. Да и невозможно не полюбить васъ за безконечную доброту вашего сердца, этого сокровища любви, преданности, самоотверженія. Вёдь я знаю, какіе вы. Вы.... готовы отдать голодному кусовъ хабба, а сами будете голодать; снимите съ себя рубашку, чтобы прикрыть наготу бъдняка и страдальца и остаться самому голымь; вы готовы отдать все, попроси только вась объ этомъ хорошенько. Въдь посмотрите-ко: вы безпрестанно, то дежурите, то въ карауль идете за другихъ, за товарищей, за которыхъ вы готовы дать себя повъсить, даже высъчь. Все это прекрасно, но на все есть мъра; а въ дълъ добра у васъ — никакой. И, попомните мои слова: много горя, потерь, страданій принесеть вамь впосльдствіи безшабашная, если можно такъ выразиться, ваша доброта, которую страгино будуть эксплоатировать (0, какой пророкь быль этоть Владиміръ Петровичъ). Вы вёдь хорошо знаете Парасковью Сергевну и въроятно слыхали кое-что о ея бурномъ, романическомъ прошломъ? Это — одна изъ умивищихъ и благородивищихъ женщинъ объихъ нашихъ столицъ и, въ свое время, была первою красавицею въ Москвъ, гдъ даже были написаны объ ней стихи, подъ заглавіемъ Тверской бульваръ.

«Воть Параша Трубецкая Сломя голову бёжить». За ней дёдушка, хромая, Задыхаяся спёшить. Вётерь ли въ нее повёсть, Онь оть вётра защитить; Солнышко ль ее пригрёсть, И оть солнца охранить.

Итакъ далёе, довольно длинные и очень гладкіе стихи въ юмористическомь тонё. И что-жъ? Эту молодую княжну, красавицу и умницу, выдали насильно за какого-то дряблаго старикашка губернатора, тогда какъ она страстно любила молодаго Тинькова, тоже красавца и умника, да еще и двоюроднаго брата уже знаменитаго тогда Грибойдова \*). Разумбется, черезъ какой нибудь годъ, а кажется и черезъ нёсколько мбсяцевъ послё этого закланія жертвы, Тиньковъ, офицеръ Московскаго гв. полка, сперва вышель въ отставку, затёмъ украль у мужа свою возлюбленную и, бёжавъ съ нею отъ его погони, прібхаль въ Варшаву и укрылся подъ крылышкомъ Цесаревича, который любилъ и всегда былъ горой за такіе смёлые пассажи, какъ похищеніе молодой жены у стараго, пелюбимаго мужа, и приняль Тинькова въ Литовскій полкъ. Вёдь онь только недавно, по смерти мужа, могъ освятить церковью свой союзъ съ Пар. Сергёевной.

Итакъ, добръйшій Николай Петровичь! Разгадывая васъ, что меня особенно поражало и что хотълось мнъ разъяснить во что бы то ни стало, это—феноменъ вашей замкнутости, вашей запуганности; страхъ какъ хотълось узнать причины этого феномена. И, судя по тому, на что я насмотрълся и чему научился изъ опыта, изъ жизни, изъ моихъ наблюденій, я предполагаю какую нибудъ семейную причину, какой нибудъ печальный фактъ изъ вашего дотства, быть можеть нелюбовь къ вамъ кого либо изъ вашихъ близкихъ родныхъ: дяди, тетки, отца или матери.

Едва услышаль я послёднія слова Желтухина, какъ вдругь помертвёль, меня обдало могильнымы холодомь, вы глазахы заискрилось; потомь бросило меня вы жары и ознобы, вы груди сперлось и что-то жгучее подступало кы горлу. Я страшно поблёднёль, міновенно опустиль

<sup>\*)</sup> Когда дёло коснулось Тинькова и Грибоёдова, не могу удержаться, чтобы не разсказать одинь печально-забавный случай ляь жизни этихь кузеновь. Грибоёдовь подариль Тинькову рукопись «Горе отъ ума», писанную своею рукою. Разумбется, эта рукопись хранилась какъ святыня. Вообразите же ужасъ Тинькова, когда, пріёхавь откуда-то въ началії зимы въ свою калужскую деревню, онъ увидёль, что рукопись его дв. брата пошла на оклейку оконь. Это было дёло экономной не по разуму экономки: статное ли дёло тратить на оклейку чистую бумагу; вёдь она стоить денегъ. Ну, а рукописи-то ничего не стоять, на это онё и существують. Тиньковъ досталь потомъ другую рукопись, но только написанную уже не рукою Грябоёдова: вся святость, весь ореоль рукописи погибъ безвозвратно. Съ этой послёдней, впрочемъ весьма вёрной, списаль и я мой манускрипть.

голову на руки, закрылъ себъ лицо и разразился страшными, раздирающими душу рыданіями и воплями:

Владиміръ Петровичь! Владиміръ Петровичь! Что вы сдёлали? Какія бользненныя, глубокія раны разбередили вы въ моей душь, и такъ безжалостно!... Какой тайны прикоснулись вы, и такъ неосторожно! Тайны, которую пряталь я ото всёхъ, отъ друзей; таилъ отъ родныхъ дётей, отъ самого себя, котёль взять и похоронить ее съ собой въ могилу. Даже и Тамъ, у подножія Всевышняго не выдаль бы ее, скрыль бы ее и отъ самого Творца вселенной, лишь бы не оскорбить моей честной, умной, доброй матери, которая.... которая не-нави-дё-ла меня, и даже не за-хо-тё-ла ме-ня бла-го-сло-вить на своемъ смертномъ ложъ, меня пя-ти-лът-ня-го и ни въ чемъ неповиннаго мла-ден-ца!... О, Боже правый! Когда же выплачу я это горе?... Когда же примирюсь съ нимъ?... Никогда.

И я продолжаль рыдать неумолкно, и слезы потокомъ лились изъ моихъ глазъ; лились, но не задивали моего горя, не заглушали моихъ страданій, жгучей боли въ груди. Желтухинъ испугался, поспёшно по-дошель но мив, взяль меня за объ руки и глубоко растроганнымъ голосомъ любящаго, нъжнаго отца, голосомъ сильно взволнованнымъ заговорилъ:

— Простите, простите меня великодушно! Я не могъ ни предвидъть, ни предчувствовать всю безотрадность вашего дътства. Еще разъ простите меня за тъ страданія, которыя невольно заставиль я васъ испытывать въ настоящія минуты.

Настало глубовое и продолжительное молчаніе. Надо было собраться съ дукомъ и мыслями. Наконецъ Желтухинъ снова заговориль:

- Если я невольно, непредвиденно открыль печальную и страшную для вась тайну, а для меня священную; если такъ жестоко разбередиль душевныя раны почтительнаго сына, то воть вамь мое честное слово, моя клятва: ни единая душа ни слова не узнаеть изъ вашей тайны она умреть со мною.
  - Върю, и благодарю.

Сорокъ девять лёть, безъ-мала полустолётіе, пролетьло надъ моей головою послё этого потрясающаго и достопамятнаго для меня разговора; а припоминая и записывая его, меня, какъ и въ то время, душать слезы, и глухія рыданія вырываются по временамь изъ разбитой, измученной груди. И что же? Черезъ сорокъ девять лётъ я самъ выдаю эту тайну, и не одному благороднёйшему и гуманнёйшему человёку, а цёлому свёту, холодному, безчувственному, скептическому свёту, гораздо

болъе склонному шикать, нежели пожальть, или одобрять и поощрять, въ особенности - не авторитета.... Прости же меня за эту профанацію священная, дорогая тёнь матери! Слишкомъ мучительны были мои страданія, и обиды, нанесенныя мив некоторыми моими согражданами, осмеявними, оплевавшими, оклеветавшими меня, поставивши меня ниже самыхъ ничтожныхъ, бездарныхъ выскочекъ и прихвостневъ пера и слова, наравив съ нехорошими, дурными людыми. Двадцать лють слишкомъ жестоко страдало и было унижено во мей все: и гражданинь, и семьянинь, и писатель, и артисть-мелонань; унижено даже самое человъческое достоинство. И подъ конецъ у меня уже не хватило силъ терпъть долье и, въ особенности, сойти въ могилу неоправданнымъ, неочищеннымъ.... Жду этого оправданія: проявится ди оно тімь или неымъ образомъ? Какимъ нибудь чудомъ? Въдь это — тяжба въ послъдней инстанців.... Если же нъть, если никто и ничто не шелохнется, то пусть могила и забвение примутъ меня поскорве въ свои холодныя, но успокомтельныя объятія.

Когда и Желтухинъ, и я успокоились, первый заговорилъ:

— Поспещу заключить сегоднящий разговорь, который навсегда останется въ моей намяти. Знаете ли на кого вы походите и весьма походите и характеромь, и складкою ума, и привычками, и чувствами и, быть можеть, будете походить и многими событіями вашей будущей жизни. Вы походите на.... Ж. Ж. Руссо; да, на него. Воть что я приготовиль для вась, прочтите, вдумайтесь въ прочитанное и сравните. Это—Испостьдъ Руссо. Читайте, не спеша; а когда прочтете да пораздумаете, то приходите побесёдовать со мною.—Затёмъ Желтухинъ ласково протянуль мнё руку, съ чувствомъ пожаль мою, и мы разстались.

Читаль и и перечитываль эту дивную книгу, и зачитывался. Приводили меня въ восторгъ, доставляли мий высокое наслаждение многія страницы своимъ пламеннымъ краснорйчіснъ и обилісмъ глубокихъ, остроумныхъ мыслей и самыхъ возвышенныхъ чувствъ. А что за откровенность, какая честность въ признаніяхъ, безъ малійшей тіми афектаціи или желанія порисоваться. Я пережиль и перечувствоваль вийсті съ Руссо всю его жизнь. Желтухинъ быль правъ. Вездну чего-то роднаго, своего находиль и въ признаніяхъ женевскаго философа. Рось онъ безъ родительскаго надзора, я—тоже. Онъ украль потомъ какую то ленточку, я—вороваль сахаръ у бабушки. Его смолоду считали недалекимъ, ни къ чему неспособнымъ, менн — тоже. Послідующія событія моей жизни представляли еще болье сходства моей судьбы съ судьбою Руссо.

Имя его стало извъстно только тогда, когда было ему уже подъ сорокъльть, и всявдствіе написанія имъ диссертаціи на заданный Дижонской Академіей тезись: «Развращенію, или очищенію нравовь способствовали успъхи наукъ и искусствъ?» Мое имя стало извъстно черезъ «Задушевную Исповёдь», когда мий было подъ пятьдесять лёть, а потомъ черезъ мой первый словарь, когда мев было уже далеко за пятьдесять. Руссо написаль «Моя Исповедь» гораздо ранее «Эмиля», за котораго вытерпъль жестокое гоненіе, я-тоже за мою «Задушевную Исповъдь». Также какъ и Руссо не теривлъ я подарковъ, страшно боялся быть кому либо въ тягость и изъ за этой минтельности, часто убъгаль на долго изъ домовъ, гдъ многое меня интересовало. Какъ и Руссо, переписывавшій ноты ради куска хліба, лишь бы никому не одолжаться, такъ и и готовъ былъ сидъть на пищъ Св. Антонія, лишь бы не просить ни у кого денегъ взаймы. Но только ужъ никакъ не разыграль бы я такой глупой роли, какую разыграль почтенный секретарь французскаго посольства въ Венеціи, въ канихъ-то пышныхъ апартаменталь, съ какою-то таинственной и дивной красавицей, которая бросалась въ его объятія. А онъ, чудакъ изъ чудаковъ, вибсто того, чтобы поймать на лету падающее ему съ неба блаженство и упиваться имъ до опьяненія, принялся отыскивать и указывать даскавшейся къ нему молодой красавицъ какой-то недостатовъ на ен роскошномъ бюстъ. А за такую чудовищную выходку, вийсто блаженства, таинственная красавица съ негодованіемъ оттолкнула его отъ себя, сказавъ: «Laschia la donna è studia la matematica». (Оставь дівицу и изучай математику). Хотя вы и глубокій мыслитель, многоуважаемый Яковъ Яковлевичь, но, прошу извинить меня за откровенность, вы все-таки въ «эвтомъ» разъ поступили какъ колцакъ, да еще нъмецкій, а не французскій или итальянскій. Вёдь и «коню даровому въ зубы не смотрять», многоуважаемый Яковъ Яковлевичъ! А это была восьинадцатилътняя итальянка дивной красоты, беззавътно вамъ отдававшаяся... Колпакъ вы, Яковъ Яковлевичь, какъ есть колпакъ. Жаль, что долговизый Иванъ или Яковъ, не помню, котораго обморочили вы, выдавъ себя за графскаго сынка; жаль, что онъ не поучиль васъ маленько практическому уму-разуму на дворъ того дома въ Туркић, гдћ вамъ вздумалось устроить, въ собачьей кануръ, натуральную выставку извъстной части тъла передъ публикой изъ молоденьникъ и хорошеньнихъ прачевъ, въ чаяніи излюбленнаго вами пошленанья ручкой хорошенькой женщины, но не усатымъ Иваномъ. Ну, и въ этомъ и не походилъ на Як. Яковлевича: никогда не добивался шленанья меня по... извъстной, хотя бы ручкою распрекрасавицы. Отненные поцёлуи, это другая статья: сколько угодно. Наконецъ, самая поразительная черта сходства нашихъ судебъ: послё короткаго знакомства съ образованнъйшими женщинами, Руссо сощелся съ Терезой, я—съ Ольгой. Но только первая была глупа, скупа и сварлива; вторая—чрезвычайно умна (но только умомъ природнымъ), щедра, честна и безкорыстна, и была очень красива.... Но довольно.

Если я разсназаль мой разговорь съ Желтухинымъ, съ его пророческими словами, такъ это для помъщенія въ одну рамку полной картины моего карактера и моей судьбы. Заключу: кромъ Желтухина и, если ему върить, —а не върить ему невозножно, —Тиньковой, потомъ моей первой жены, да Софи Гемаръ; кромъ трехъ женщинъ и одного мужчины, никто меня не разгадываль вполеб, никто не понималь върно и не оцениваль справедливо. Для всехь моихъ родныхъ, даже самыхъ близкихъ, не исключая и собственных гродных доттей; для всёхъ моихъ друзей и знакомыхъ, для всёхъ, рёшительно для всёхъ я былъ сфинксомъ или полусфинксомъ, книгою непрочитанною, а часто и неразръзанною. Быть можеть по напечатаніи этихъ «Воспоминаній», я, коть для половины читателей, перестану быть сфинксомъ, неразръзанной книгой, и, что для меня гораздо важнье, перестану быть бездарнымъ писакой, да еще и дурнымъ человъкомъ. Для половины прочитавшихъ «Воспоминанія» сказаль я. И это уже очень много, потому что всегда бываеть такь: если книга, по идей и по языку, коть нёсколько выше какихъ нибудь обиходныхъ разсказовъ о томъ, какъ кто-то обозваль кого-то, и какъ такую-то обсчитали на два двугривенныхъ тамъ-то, то поймуть ее, какъ слъдуеть, далеко не всъ ее прочитавшіе. Не спорю: обсчитаніе на два двугривенныхъ - вопросъ важный, міровой; но и швыряніе-то камнями и грязью въ человъка честнаго и неглупаго (да и то съ позводенія гг. редакторовъ, а безъ этого не сміть); швыряніе въ продолжении трехъ лътъ, и потомъ похъривание его въ продолжении двадцати лътъ, это тоже - вопросъ не совсъмъ заурядный, дъло не совевмъ плевое. Какъ вы изволите объ этомъ думать, гг. редакторы и публицисты?

Но что это?... Кажется и словно проснулся?... Въ самомъ дёлё проснулся. Но кто же разбудиль меня? Разбудили меня замогильные, но задушевные, сочувственные мий звуки голоса умнаго человёка, практическаго философа и моралиста, человёка чести, честности, правды и добра, отдавшаго болёе шестидесяти лётъ изъ своей безупречной жизни на служение грудью отчизнё въ рядахъ ея защитниковъ, и потомъ на служение головою на поприщё образования будущихъ ея защитниковъ. Итакъ и сцаль въ продолженіи семидесяти двухь лёть. Какой долгій и тревожный сонь! Какія разнообразныя сновидьнія! то веселыя, то мрачныя; то улыбающіяся, то грозныя, съ поднятымь на меня револьверомь!... И наконець проснулся... Но зачёмь?.. Для чего?... Чтобы взглянуть, какъ
прекрасны небеса надъ головою! Какъ весело мерцають на нихъ звъзды!
Какъ задумчиво смотрить серебряная луна! Какъ ослёпительно блещеть
золотое солнышко! Чтобы увидьть всю эту прелесть мірозданія, увидъть на единый мигь и сейчась же заснуть сномъ въчнымъ... Лучше бы
вовсе не просыпаться, не бередить зажившія, но не безслёдно, раны и
не приходить въ ужасъ и отчанніе отъ сравненія настоящаго съ прошедшимъ.... А это что?... А! это слезы, которыми наполняются мои
меркнущіе глаза.... А въ груди-то опять что-то забилось, затрепетало,
зажглось, душить и подступаеть къ горлу.... А!... Это прозрачныя, но
жгучія чернила, которыми пишу я эти строки.... Да, да! «Я быль
между вами и вы не познали меня».... Богь съ вами!

Извлеченіе изъ: «Мок Семидеситильтнія Воспоминанія ».

Типографія Тринке и Фюсно, Максимиліановскій пер., 15.

## изъ хроники любовей.

## † Едена и † Едизавета Карловна.

Наступиль ноябрь 1845 года. Я въ Истербургъ, стою въ огромномъ домъ Шольца на Обуховскомъ проспектъ. Мой шуринъ Болтинъ занималь въ 3-мъ этажъ того дома большую квартиру, выходившую окнами на улицу. Я живу въ томъ же этажъ въ двухъ вомнатахъ, выходищихъ на дворъ. Дочь моя воспитывается у дяди Болтина съ его прелестными дочерьми-двойняжнами (старшая изъ нихъ вышла потомъ за Салтынова, Щедрина тожъ). Живу я въ Петербургъ, по капризу моего псевдодруга, безъ всякаго дъла, просто шалберничаю: играю на гитаръ, на скринкъ, на которой беру уроки у Бема; ъзжу въ концерты, въ итальнискую оперу и въ другіе театры. Объдаю большею частію у Болтина. Если не скука, то хандра заъдаетъ меня т. е. мое сердце, которое томится и жаждетъ.... жаждетъ чего-то, новыхъ ощущеній, изліяній, если не страстной любви, то хоть ея подобія, но только съ горячими поцълунии, непремънно съ горячими. Горячіе поцълуи, это было «sine qua пол» кодекса моего сердца.

Вскоръ по водвореніи моемъ въ домѣ Шольца, встръчаю я разъ на лъстницъ прехорошенькую миніатюрную дівочку. Мы переглянулись и.... улыбнулись, но не сердито, а добродушно. На другой день опять встрача, съ улыбками болье добродушными. При третьей встрача мы уже раскланялись, заговорили и познакомились. Новая моя знакомка называлась Еленою, имъла 17 лътъ и была камеристкою у полковницы Едизаветы Карловны Н-дь, которая жила по одной со мною лестинцъ и на одной площадев, прямо противъ моей квартиры. Такимъ образомъ познакомился и подружился я съ хорошенькою Еленою, которую особенно плънила моя гитара и мое пъніе. Проходить болье мъсяца, въ продолженім котораго я отчасти примирился съ своею судьбою. А между тъмъ нъсколько разъ встръчался и на лъстницъ съ какою-то дамою, высокаго и стройнаго роста, но подъ густою вуалью, и нисколько не интересовался этими встръчами. Но вотъ однажды встръчаю ее безъ вуаля.... Боже!... Красавица, какъ есть писаная красавица и, съ тъмъ вивсть, belle femme съ роскомнъйшини формани.... Чортъ возьми!... Непозводительно хороша, голова вружилась, закружилась.... Сильно запажло угаромъ любви.

- Не знаемь ли, кто эта высокая дама, съ прекрасными голубыми глазами, которую я сейчасъ встрътиль на лъстищъ? спрашиваю у Елены, которая оказалась преумною и, съ тъмъ виъстъ, пренаивною, превеселою, предоброю и чрезвычайно безкорыстною дъвочкою.
- Да это и есть самая Лизавета Карловна, моя госножа, весело отвъчала милая крошка.
  - -- Да что: живеть она съ мужемъ, или одна?
- Нътъ, врозь съ мужемъ. А живетъ она съ дочной, да съ Александромъ П. Гл-вымъ.
  - Какъ это съ Гл-вымъ.
- То-есть живеть-то она одна, съ дочкой, а господинь Гл—въ только даетъ ей деньги на квартиру и на все прочее. Онъ служить у гр. Клейниммеля и почти всякій день, отправлясь на службу, заходить къ моей барынъ, пьетъ съ ней кофе. Потомъ, идя со службы домой, опять заходитъ къ ней и объдаетъ съ нею виъстъ. Виъстъ ъздятъ они и въ театръ, и на гулянье, всего чаще на тройкамъ, за городъ, на какіе-то тамъ «пини да нини».
- Такъ вотъ что такое твоя барыня! Значитъ.... А бываетъ у нее ще кто нибудь?
- Изъ мужчинъ никого. Александръ П. очень ревнивъ. А изъ дамъ бываютъ многія, и всего чаще кузина барыни Надежда Николаевна М—ва, да ен мать мадамъ Д—съ. Барыня-то мон въдь такая скромная, тихая, добрая, нельзя не похвалить и не полюбить ее. Но за то матушка-то у нее, охъ какая бъдовая барыня! И еще какая молодан, красивая! Никто не скажеть, увидавъ ее и мою барыню виъстъ, что это мать и дочь, а подумаетъ, что двъ сестры. Ну да ужъ и бой-барыня. Какъ часте слышу я, что она говорить моей барынъ: «Это ни на что не похоже, Лиза! Это фросто мове-жанръ—имъть одного любовника. У меня ръдко бываетъ менъе трехъ, а большею частію четыре или пять въ одно и то же время. Одинъ любовникъ!... Фи!... Какъ это пошло, пахнетъ мъщанствомъ.

Воть такъ мамаша! Прелесть, чудо нравственности и высокой женской добродътели! Живи и умри она теперь, такъ всъ нынъшнія самки-прогрессистки-нигилистки вкупъ съ самцами-нигилистами сейчась же открыли бы подписку на сооруженіе великольпнаго памятника для увъковъченія такой высокой женской добродътели. Но только Монтіоновскую премію за добродътель мадамъ Д — съ врядь ли бы присудила француз-

ская академія. Сказано — отсталые. Давно уже извёстно и вёдомо всёмъ нигилистамъ и нигилисткамъ, рёмительно всёмъ, кромё умныхъ и честныхъ людей, что и французы, и англичане, и всё западные народы на цёлыя два стольтія отстали въ прогрессё отъ «всерассейских» нигилистовъ и нигилистокъ, этихъ подпольныхъ пророковъ и проповёдниковъ всеразрушенія, всеоскотиньнія и всеодичанія, всеразвращенія, всерастлівнія, всеубиванія, всеоскотиньнія и всеодичанія, до ползанія на четверенькахъ. Въ этомъ посліднемъ состоятъ высшіе идеалы нигилизма. Візроятно благодарное и ползающее потомство выдастъ имъ, нигилистамъ, грамоту на спеціальное дворянство съ гербомъ, разділеннымъ на 4 поля. Въ 1-мъ—кинжаль, во 2-мъ—револьверъ, въ 3-мъ—разрывная бомба, въ 4-мъ— вистлица... Теперь оговорюсь: Самка и самець выраженія не мои: я слишкомъ вёжливъ, чтобы, говоря даже о нигилистахъ, позволить себё такія выраженія. Но они сами себя окрестили такою характерною кличкой, въ порывё своихъ звёрино-прогрессивныхъ стремленій.

Да не вздунайте вы вломиться въ обиду, мильйшіе мон самцы и самки, за вличку, вами же самими изобрътенную, и только повторенную мною. Да еще, быть можеть, не по вкусу придется вамъ спеціальнодворянскій гербъ, который поднесеть вамъ благодарное потомство? Ужъ не претендуете ли вы на лавровый вънокъ за свое нагилистическое мужество? Лавровый вёновъ вамъ, кинжальщикамъ, револьверщикамъ, динамитчикамъ!.. Висълица и въчныя анавемы и позоръ вамъ, цареубійцы и, съ тъмъ виъстъ, убійцы разумной свободы, тормозильщики здороваго прогреса!.. Дай только волю вамъ, облыжники и фарисеи либерализма и гуманности, — показали бы вы себя. Во сто крать превзошли бы вы въ злодъйствахъ парижскихъ комунаровъ 1871 года. Тъ разстръляли только нъсколько заложниковъ, да одного архіепископа, да двухъ генераловъ. Да еще разрушили Вандомскую колонну и домъ Тьера, отстроенный потомъ на ихъ же деньги. Да сожгли нёсколько зданій. Вы же? Вы бы разстреляли, перевешали, перерезали, перетопили, замучили вебхъ митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, даже простыхъ священниковъ; всёхъ генераловъ и штабъ и оберъ-офицеровъ, словомъ: всвив служащихъ, отъ министровъ, сенаторовъ и до последняго регистратора; всёхъ землевладёльцевъ, домовладёльцевъ и всякихъ собственниковъ. Вы уничтожили бы всъ искусства, кромъ искусства подводить мины и подкопы, смертоносныя, какъ на желъзныхъ дорогахъ, или воровскіе, какъ подъ херсонскимъ казначействомъ; сожили или разрушили бы вы общественныя зданія, кром'й домовь теричмости; уничтожили бы всякую собственность, кромъ той, которую удалось бы вамъ награбить

и наворовать во время произведеннаго вами террора, т. е. преждевременнаго свътопредставленія. Вы сконфисновали бы въ свою пользу, но прежде загрязнивъ, растабвъ и опозоривъ все, что укращало, услаждало облегчало и утъщало жизнь людей. Словомъ: вы не оставили бы камня на камий зданія современной цивилизаціи, не оставили бы въ живыхъ ни единаго существа, которое было бы хотя ивсколько умиве, добрве и честиве васъ, и не захотбло бы ползти за вами на четверинькахъ къ корытамъ жравья, или къ логовищамъ общимъ для вашихъ самцовъ и самокъ, каковыя логовища въроятно будутъ носить иышное названіе «Pêle-mêle». Вотъ ваша «desiderata», вънецъ зданія, которое желается вамъ воздвигнуть на развалинахъ цивилизаціи, созданной тысячельтнею работою геніевь и друзей человічества, и оплаченною потоками крови и неисчислимыми страданіями того же человъчества... Теперь сорваны маски сь вась, лжецы и фарисеи. И только однинь произглымъ Маниловымъ. да подобнымъ вамъ, но надпольвымъ, но заштукатуреннымъ негодаямъ можете вы еще импонировать и назаться спасителями Россіи. Пословица говорить: «Утайщикъ тотъ же воръ». Эту пословицу по всей справелдивости можно перифразировать такъ: «Кого не возмущаютъ злодъйства мощенниковъ, воровъ, кудожниковъ поддёловъ и фальши, поджигателей и убійць; кто можеть равнодушно смотрать на все это, тоть самь точно такой же негодяй и злодёй, но только не гласный, а тайный мошенникъ и здодей въ душе, блудливый какъ кошка, трусливый какъ заяць, и у котораго хватить храбрости лишь на показывание кукиша въ карманъ. Что же сказать о тёхъ, которые восторгаются, умилиются отъ нигилистическихъ гнусностей и злодъяній?.. А таковые есть и не мадо...

Знаете ли что, мои милые подпольники и заштукатуренные надпольники? Некрасивъ былъ Фердинандъ II, неаполитанскій короло-бомбо. Не очень привлекателенъ былъ и Людовикъ Наполеонъ. И врядъ ли кто, даже самый ярый консерваторъ, пожелалъ бы повторенія ихъ царствованій. Но, положа руку на сердце, съ глубокимъ убъжденіемъ и какъ правдиво-говорящій передъ скорою смертію, я заявляю, что царствованіе ста такихъ Фердинандовъ и Наполеоновъ, было бы далеко, далеко не такъ отвратительно страшно, какъ правленіе вашихъ подпольныхъ человъко и цареубійцъ. Да, правленіе ста Фердинандовъ и Наполеоновъ было бы несравненно лучше и гуманнъе, нежели ваше, незаконнорожденные и прокаженные выкидыши худосочной, въчно завистливой и въчно злобствующей среды, позоръ и несчастіе человъчества, упрекъ Небу, неистребившему васъ сейчасъ же по нарожденіи, потому что безъ этого, всъ альмаденскія ртутныя копи не въ силахъ уничтожить такую злую, дурную

болёзнь человёчества, какъ вы, чумные и прокаженные нигилисты и нигилисти... Да! Вы — не иное что, какъ постыдная и заразительная болёзнь, отъ которой еще не найдено достаточно сильныхъ меркуріальныхъ и дезинфекціонныхъ средствъ. Ну и размножаются, словно клопы, нравственные и умственные уроды и калёки, то безъ носа, то безъ другой какой либо части тёла, а наичаще безъ капли здраваго смысла. Да еще и хвастаютъ, щеголяютъ своимъ нравственнымъ безобразіемъ и умственнымъ убожествомъ и юродствомъ.

Знайте же, юродивые нигилисты и нигилистки: не револьверы, не динамить ведуть въ прогрессу, къ созиданію. Эти средства, излюбленныя вами, невъжественными и неумълыми строителями, ведуть нь анархіи, къ провожадному конвенту, къ терору, къ гильотинъ и къ потопляющимъ баркамъ съ клапанами. А въ поздивития эпохи привели: къ парижскимъ барикадамъ, на которыхъ убили архіепископа и восемь генераловъ. А еще поздиве: къ разрушению и сожжению памятниковъ и зданій Парижа, да къ разстрівлянію отажей. Затімь: къ вандемьерамь, къ брюмерамъ, въ Бонапартамъ, смотръвшимъ на солдатъ, какъ на мясо для пушенъ. Поздиве: по 2-му декабря и снова нъ Бонапартамъ, съ нузенами-убійцами (Піеръ), да съ придворными генералами-лакеями, въ родъ Фальи и Лебефа, умъвшихъ только сказать: «Les chassepots ont fait merveilles» (шаспо надълали чудесь)», да «Nous sommes archi-prêts» (мы готовы и переготовы), тогда какъ оказалось, что ничто не готово, все разворовано. Наконецъ еще поздиве: къ разстрълянію 20,000 французовъ французами же, и къ ссылкъ столькихъ же тысячъ въ Каледонію, да къ ретрограднымъ посягательствамъ Макъ-Магона, Брольи et consorts. Въ концъ концовъ: предшественники юродивыхъ нигилистовъ, санкюлоты, якобинцы и коммунары (которые хоть и отвратительны, но всетики необъятно умибе и честибе нашихъ юродивыхъ недоносковъ-вывидыщей) приводили не къ прогрессу, не къ созиданію, а къ поливишему регрессу и къ разрушенію. Не динамить, а политическій такть и умънье, не только правительства. но и всего общества, какъ, напримъръ, въ Англіи; теривніе и настойчивость, а съ темъ вивств, угадываніе своевременности, созрълости вопроса, и не скачки, а мудрая постепенность мёрь; но, главное, уваженіе къ законамь и къ чужому мейнію — воть что ведеть къ прогрессу и къ сооруженію красиваго, прочнаго, долговъчнаго зданія. Таковъ непреложный и неизмённый законъ и ходъ исторіи. А исторія, и въ особенности философія исторіи, не лжеть, не подражаетъ вамъ. И не вамъ, худосочные и юродивые нигилисты и нигилистки, измёнить законы и ходъ всемірной исторіи человічества. Вамъ

неизвъстна непреложная истина, что всякая экзажерація ведеть къ реакціи, а реакція— къ озлобленію, взрывамъ и возмездіямъ, не легальнымъ, но порою кровавымъ. Затъмъ: укрощеніе и снова реакція съ возмездіями легальными и тоже кровавыми. Итакъ далье, до безконечности.

Теперь спрошу: неужели неизвъстна вамъ, самцамъ и самкамъ, стереотипная, избитая истина, что революція подобно Сатурну, пожираетъ своихъ собственныхъ дётей. Вёдь какъ бы вы ни были прогрессивны. безумны, все таки найдутся другіе, еще безумнъе васъ. Напримъръ: сегодня вы потребуете, чтобы у всёхъ землевладёльцевъ и домовладёльцевъ отням всю землю и всъ дома; а завтра другіе, прогрессивнъе васъ, потребуютъ еще, чтобы отобрать и верхнюю одежду и обувь: могуть ходить въ одномъ бъльт и безъ сапотовъ. Ну, вы и не годитесь, вы-ретрограды, долой васъ, казнить васъ. Вспомните жирондистовъ, рьяныхъ борцовъ за свободу, которые, изъ переднихъ рядовъ реводюціи, вдругь очутились въ заднихъ, и сложили свои головы подъ топоромъ гильотины. А Барнавъ, пылкій и краснорічивый поборникъ революціи, который, по поводу убіснія Фулона и Бертье, сивль сказать: пролитая кровь такъ чиста»? А потомъ, после арестованія въ Варенне бъглаго королевскаго семейства, сказалъ Марів Антуанеттв, вследствіе ен вспышки: « Ваше Вел. Вы-королева французовъ, а я представляю здёсь собраніе, которое управляеть и вами, и королемъ вашимъ супругомъ. Я душевно желаю, чтобы мив было позволено болве не повторять вамъ этого». Такъ вотъ и этому пылкому и рьяному бойцу за свободу отрубили голову, какъ отсталому, накъ измённику. И будьте уверены, мои милые подпольные самцы и самочки, что при первомъ же взрывъ вы очутитесь въ заднихъ рядахъ, и васъ, какъ негодную, ненужную переръжуть и перевъщають до единаго. переръжутъ Дa, перевъщивають вась ваши преемники по безумію, худосочію, которые, владёя членами болёе здоровыми, перегонять вась, искальченныхь постыдною бользнію русскаго подпольнаго нигилизма... Это върно... Выйдеть ли, наконецъ, изъ своего дътства громадный ребенокъ-балбесъ, называемый человъчествомъ? Научится ли онъ когда практическому уму-разуму? Выйдеть ли изъ заколдованнаго вруга экзажерацім и реакціи, гдъ онъ кружится какъ бълка въ колесъ? Это-вопросъ будущаго. Чья же ловкая и благодътельная рука приподниметь таинственную завъсу этого будущаго, за которою скрываются пути и средства къ разрѣшенію жизненнаго вопроса: выйти изъ заколдованнаго круга и разъ навсегда устранить экзажерацію и реавцію, эти роковые тормазы всякаго преуспаннія? Не спорю, прогресь

существуетъ, человъчество подвигается впередъ. Но не будь экзажерацій и реакцій, оно бы шло несравненно скоръе и ушло впередъ, много далье, чъмъ теперь. Какже не проклинать Каракозовыхъ и Соловьевыхъ, со всею предъидущею и послъдующею шайкою гидрофобовъ-убійцъ и цареубійцъ. Какже не признавать полной законности и неизбъжности веревки и виспълицы, которыя еще не упразднены даже въ либеральнъйшихъ Соединенныхъ Штатахъ, ни въ Англіи, и только замънены въ другихъ государствахъ гильотиною, или топоромъ, или «позорнымъ ошейникомъ» (garotto vile)?

Гдё же ваши громы и перуны, о Богь христіань и боги древней Элмады? Гдё же Ювеналь съ поднятымь бичень на васъ, юродивые нигилисты, враги истинной свободы, тормозящіе прогресъ трупами своихъ
сограждань и даже царей; на васъ и на вашихъ оправдателей и мирвольниковъ, трусливо притаившихся въ разныхъ темныхъ углахъ общирной Россіи, которыхъ и 1-е марта не возмущаетъ, а напротивъ. Повторю:
воры и разбойники много честнъе и благодушнъе васъ: у нихъ никогда
не поднялась бы рука на Того, кто изъ милліоновъ безправныхъ рабовъ
сдълалъ свободныхъ и полноправныхъ гражданъ, и не бобылей, а собственниковъ, и — хвала и честь ему — опередилъ Англію, отивнивъ
плети и шпипрутены.

Егдо: нёть болёе злыхь и опасныхь враговь свободы и прогреса, какь тё, которые, очертя голову и сь пёною у рта, встати и невстати, горланять о свободё и прогресё, ничего не принимая въ расчеть и думая пробить стёну лбомъ, взять нахрапомъ то, что дается лишь временемъ, выжиданіемъ своевременности и зрёлости вопросовъ и съ соблюденіемъ постепенности, какъ, напримёръ, въ Англіи, гдё совершилось столько коренныхъ законоизмёненій, улучшеній и преобразованій, безъ всякихъ взрывовъ и потрясеній, кромё единственнаго — Кромвелевскаго.

Чтожъ остается дёлать? «Нещадно, неослабно карать подпольное и наднольное зло», и затёмъ... смириться и покориться волё Провидёнія, которое не нашимъ, а своимъ циркулемъ размёриваетъ шаги человёчества, ведетъ ли оно впередъ, или останавливаетъ, для отдыха, или, время отъ времени, и попячиваетъ, чтобы направить его на настоящій путь, съ которато совращаетъ его порою злой его геній, т. е. слёпыя, безумныя страсти, кавъ злыхъ, такъ и не злыхъ, по близорукихъ людей....

Не гримасничайте, гг. промозгаме Маниловы! Въдь всякое злодъяние должно возмущать честнаго человъка. А каково же переживать мученическую смерть добраго Царя-освободителя? Ктому же не по вашимъ спинамъ прогуливается мой сатирический бичъ. Слишкомъ сильны удары

моего бича, замътять инъ Маниловы. А развъ менъе сильны и бользненны удары девятихвостой кошки въ Англіи? А въдь тъ преступники, на снины которыхъ сынлются такіе удары, далеко не такъ преступны, какъ наши подпольные негодяи-цареубійцы и ихъ сочувственники. И нъсколько лътъ тому назадъ, за одну безвредную выходку попугать королеву Викторію незаряженнымъ пистолетомъ, пребольно отодрали въ Лондонъ ирландскаго мальчишку Оконора. Ну что, если бы попасть вамъ, милые наши реформаторы черезъ разрывныя бомбы, въ Англію, да попробовать тамъ свое удальство, а съ тъмъ вмъстъ попробовать и англійскихъ кошечекъ? Въдь это было бы весьма «пользительно» и для васъ, мои милые, и для Россіи. Навърное вы бы тогда поумнъли и поприсмиръли крошечку... И то ладно, и за это слъдовало бы поблагодарить англійскую кошечку.

Сознаюсь: я бичую жестоко, т. е. говорю очень рёзко. Но если для моего оправданія недостаточно горя и траура, которымъ поражена и облеклась вся Россія, то я приведу въ свое оправданіе еще то, что не могу безъ того, чтобы не терзалось и не обливалось кровью мое сердце, подумать о мученической кончинё Александра II, который три раза быль моимъ благодётеленъ, а два раза, спасая меня отъ безвыходнаго положенія и отъ отчаннія, спасаль мнё жизнь, о чемъ занвляль я уже печатно въ статьй Путешествіе по дебрямо (статья эта помёщена въ Исторіи созданія моихъ словарей, прилагаемой при Воспоминаніяхо). И я не перестану благословлять память покойнаго Царя, моего благодётеля, и проклинать его гнусныхъ убійцъ.

Возвращусь въ Еленъ — продолжать прерванный съ нею разговоръ.

- A нельзя ли инъ познакомиться съ твоею госпожею? спросиль я Елену.
- Отчего жъ, коли вы не боитесь пословицы: «Не было печали, да черти накачали».
- И ты ничего не имъешь противъ моего желанія познакомиться съ твоею госпожею - красавицей? Не разсердишься на меня?
- За что же сердиться? отвъчала добродушно засмънвшись милая крошка Елена. — Какое же особое право имъю я на васъ? Нравлюсь я вамъ и вы миъ вравитесь. А иътъ, такъ и я иътъ. « Насильно милъ не будешь ».
- Успокойся, милая Леночка! Я вёдь только изъ любопытства хочу познакомиться съ твоей барыней. Мий хочется узнать: умна она или нёть? Ну еще ужасно какъ хочется мий испытать, какъ это, и какую тамъ « печаль накачають на меня господа черти? » До сихъ поръ

я еще не быль знакомъ съ такою печалью. Надо же наконецъ познакомиться ради курьеза. А ты всегда будеть моимъ другомъ, моимъ добрымъ искреннимъ и преданнымъ другомъ, также какъ и я—твоимъ. Ей Богу! — Милая крошка засмъялась какъ дити и безъ малъйшаго сердца весело сказала:

- Хорошо, хорошо, не божитесь, и такъ вань върю. Я ничуть не ревнива. Знаконьтесъ хоть сей часъ. Но только дай Богь, чтобы не пришлось мит послъ пожалъть объ васъ. Въдь этотъ Гл—въ куда какъ ревнивъ и такой сердитой, просто лютый звърь... Противный!... А барыня-то мон душка.
- Ну вотъ потому-то, что она душка, инъ и хочется познакомиться съ нею.

Разговоръ этотъ происходилъ дня за два до новато года. Купилъ н четыре фунта конфектъ у Бале, лучшаго тогда кандитера въ Истербургъ, уложилъ ихъ въ хорошенькую нартонку и написалъ на затъйливомъ листкъ атласной бумаги пошльйшую записку, а именно : « Прекрасной сосъдкъ отъ очарованнаго ею сосъда, ен почтительнаго поклонника, который, ноздравляя ее съ новымъ годомъ, желаетъ, чтобы каждый день, каждый часъ, каждый моментъ ен жизни былъ бы также сладокъ, какъ эти конфекты, которыя онъ осмъливается поднести ей, умелян—принять ихъ и простить ему великодушно его смълость ».

Положиль я это письмо въ нартонку и поручиль Еленъ передать это своей госпожъ. Минутъ черезъ десять она возвращается ко мив: картонку съ конфектами отосдали назадъ, но письмо прочитали и оставили у себя; и прочитали, какъ увъряла меня Леночка, безъ малъйшаго гибва и даже безъ неудовольствія, а напротивъ. Проходить день. Я встръчаю на лъстницъ преврасную сосъдку и не подъ вуалью. Торжественно поклонившись, я попросиль у нее прощенія за мою продерзость, т. е. за непринятую картонку съ конфектами. Сосъдка нисколько не сердилась на меня, а напротивъ премило и прелюбезно заговорила со мною, не помню о чемъ, но только о болже интересномъ, чжиъ « о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе ». Напротивъ: мы бестдовали о вещахъ, которыя допускались не развышленіемъ, а скоръе увлеченіемъ. При следующей встрече мы уже раскланялись, какъ хорошіе старые знакомые, протипули и кажется пожали другь другу руку; по крайней мъръ за себя ручаюсь, что пожаль и прекръпко. встръча была уже совсвиъ радостная, а разговоръ гораздо ласковъе, интимиње. Подъ конецъ очаровательная сосъдка объявила, что она страстная любительница музыки вообще, а гитары и цёнія въ особенности, и при этомъ изъявила сильнейшее желаніе послушать и мосто пенія и, въ особенности, мосй игры на гитаре, о воторой она наслышальсь такъ много хорошаго, удивительнаго. Разумется съ величайшею готовностію поспешаль я исполнить эту просьбу, и предложиль ей музыкальное утро у себя въ комиате. Предложеніе было принято съ большимъ удовольствіемъ. Музыкальное утро съ музыкальными упражненіями удалось вполне, и чрезвычайно понравилось и слушательнице, и еще более самому исполнителю, убедившемуся, что его музыкальные таланты оценены по достоинству. Музыкальные сеансы и упражненія повторялись и учащались. Происходили они обыкновенно между часомъ и тремя по полудни, когда г. Гл—въ находился на службе. Въ одинъ изъ нихъ случилось следующее: Я запель, между прочимъ, положенный мною на музыку романсь о голубыхъ глазахъ. Вотъ 1-й куплеть:

Тебѣ понятно вдохновенье,
Твой взоръ о небѣ говорить,
Прочь гонить мрачное сомнѣнье,
И рай воветь, и рай сулить.
Не удивляйся, что въ лазури
Твоихъ голубенькихъ очей
Топлю я взоръ свой: послѣ бури
Я вижу небо майскихъ дней».

Но едва я кончиль этогъ куплетъ, какъ полковница встрепенулась и въ сильномъ волнении спросила меня:

- Какимъ образомъ этотъ романсъ попалъ къ тебъ и кто положилъ его на музыку?
  - Музыку написаль я, а слова Меринскій.
  - Ипполить Меринскій! Разв'й ты знаешь его?
- Это мой ближайщій сосёдь по тульскому имёнію, мой пріятель и отець крестный моего сына.
- Такъ ты знакомъ съ Ипполитомъ! Ну, что онъ? здоровъ ли? Какъ поживаетъ, что дълаетъ?
- Здоровъ, хозяйничаетъ и.... женился на богатой тульской барышнъ.
- Такъ вотъ какъ! Ипполить женатъ!... отъ души желаю ему счастьн... bon enfant, да только ужь черезчурь сердечкинъ: не можетъ спокойно смотръть ни на одну смазливую юбку; такъ и наровить побывать, т. е. поблаженствовать подъ ен башмакомъ... А добръйшій и честнъйшій малый... Начитань и очень не глупъ.

Пока моя прекрасная гостья говорила, я вспомниль про первое мое знакомство съ Меринскимъ въ 1841 году, когда онъ прівзжаль въ отпускъ, будучи лейбъ-уланскимъ штабсъ-ротмистромъ и совоспитанникомъ и другомъ Лермонтова. Потомъ черезъ годъ вышель въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи, въ пяти верстахъ отъ меня. Мы сейчасъ же подружились и видались очень часто. И не разъ слыщаль я тогда отъ него о какой-то петербургской полковницъ, голубоглазой Лизъ, необыкновенной красавицъ, которая была его зазнобою, и съ которою онъ разстался вслёдствіе какой-то раздирательной семейной драмы. И тогда же онъ привезъ мнъ тетрадь своихъ стихотвореній, изъ которыхъ указаль на одно, о голубыхъ глазахъ, и просиль меня положить на музыку, что я тотчасъ же и сдёлалъ. Потомъ этотъ романсъ, со многими другими момми музыкальными гръхами, былъ напечатанъ тогда Гольцемъ, содержателемъ извъстнаго въ то время музыкальнаго магазина въ Большой Морской.

Воть какія совпаденія и столкновенія порождають иногда сердечные энизоды и похожденія. Что до моего эпизода съ очаровательной сосёдкой, онъ продолжался цълый мъсяць довольно мирно и въ высшей степени упонтельно. Она восторгалась моей музыкой, я восхищался ея обаятельной прасотой, и... быль невыразимо счастивъ. Не желаль ничего лучшаго. Но вдругь набъжала туча, и прогремъло надъ нашими головами. Вотъ что и какъ случилось. По обыкновению м-сьё Александръ зашелъ утромъ нъ мадамъ Елизабетъ. Она еще нъжилась въ постели, вмъстъ съ своею любимицею Бишкою. М-сьё Александръ присель на кровать, а шалунья Бишка вытащила изъ подъ подушки платокъ. Ну это и прошло бы незамъченнымъ, если бы Елизавета Карловна не сконфузилась, не схватила бы въ испугъ вытащеннаго платка и не засунула бы его торониво опять подъ подушку. Этоть испугъ не могъ не быть замъченнымъ ревнивымъ донельзя офиціальнымъ обожателемъ. Выстро выдернуль онь платокъ изъ подъ подушки, развернуль его и, раземотръвъ мътку Н. М., свиръпо взглянулъ на красавицу и еще свиръчъе спросиль: — Чей это платонь? — Но близость опасности страшивишей бури миновенно вдохновила прелестную гръщницу: она вполнъ овладъла собою и преспокойно сказала:

— Ахъ, Александръ! Какъ ты напугалъ меня! Въдь ты знаешь, что вчера провела у меня цълый день моя кузина и мой задушевный другъ Надя М—ва. Она забыла у меня свой платокъ, положивъ его подъ подушку, когда легла отдохнуть послъ утомительныхъ утреннихъ визитовъ и разъъздовъ.

Находивость Еввиной правнучки спасла все дёло, т. е. наши музыкальныя упражненія. Ревнивець успокоился: грозныя морщины стали сбёгать съ его угрюмаго чела; а упонтельные поцёлуи роскошной красавицы окончательно разгладили казенный лобь клейникельскаго чиновника. Небо надъ нашими головами прояснилось послё минутной «бури въ стаканё воды». Но «бёда не приходить одна», говорять и русская, и французская пословицы. Недёли черезь двё разразилась сильнёйшая гроза, и тоже утромъ. М-сьё Александрь у своей любушки. И вдругь ея черноглазая 5-ти-лётняя смуглянка-дочь и enfant terrible возьми да и спроси:

- Мамаша! Кто это выходиль отъ насъ вчера утромъ? Она спала въ дътской, возлъ прихожей, вставала поздно, но на бъду проснулась тогда ранъе обыкновеннаго.
  - Какъ вто? Дядя Саша.
- Нѣтъ, не онъ. У дади Саши нѣтъ усовъ, а тотъ былъ съ усами и ростомъ выше.

Картина и буря уже не въ стаканъ, а въ большущемъ и глубокомъ омутъ. И долго бушевала эта чиновничья буря. Того же вечера Елена описала миъ то бушеване. А на другое утро предъявили миъ отъ сосъдки-красавицы слъдующій ультиматумъ: «Или м-сьё Николи, или м-сьё Александръ? Другаго выхода не было. Дочь мадамъ Д—съ не раздъляла ен теоріи о многочисленныхъ повлонникахъ, а сверхъ того и м-сьё Александръ быль лютьйшимъ и опаснъйщимъ звъремъ для предмета совмъстныхъ поклонниковъ. На случай принятія мною ультиматума препровождался мнъ длинный реестръ, т. е. бюджетъ полковницы: «На квартиру и столь столько-то, на туалетъ столько-то, на выъзды въ оперу и во всъ прочіе театры столько-то»; и еще, и еще на массу разныхъ предметовъ, крупныхъ и мелкихъ. А въ итогъ бюджета стояла весьма почтенная цифра. Пробъжалъ и длинный реестръ съ громаднымъ итогомъ, тяжело вздохнуль и.... махнуль рукою, и сказаль: «Пусть торжествуетъ м-сьё Александръ, я же спускаю свой флагъ и... регируюсь».

Съ того дни я уже болъе не видалси съ очаровательной сосъдкой. А если случалось иногда встръчатьси съ нею на лъстницъ, то она бывала подъ непроницаемой вуалью и мы уже не раскланивались, а расходились, словно никогда не были знакомы другъ съ другомъ.

Чудно-очаровательна, обаятельна, восхитительна, упоительна была Елизавета Карловна; но велики и высоки были обязанности, лежавшія на миб: замёнить мать двумь сиротамь, которых выль я отцомь. И это тёмь болье, что ни настоящее, ни будущее мое нисколько еще не

было обезнечено: надежды, и только одий надежды, исполнение которыхъ зависьто не отъ личныхъ моихъ качествъ, не отъ большей или меньмей пользы, которую приносиль я дёламь моею честною и энергическою діятельностію; а отъ минутной прихоти, отъ произвола, отъ канриза разжиръвнаго и самообожавшаго афериста и проходинца. Съ другой стороны, я всегда чтиль всякій долгь, а тымь болье долгь отца семейства, и ставиль этоть долгь превыше всёхь наслажденій, упосній и короткихъ знакомствъ съ самыми обантельными прасавицами. И п разорваль, растерзаль свое сердце, облившееся кровью. И не легка была для меня эта жертва. Мрачная, разъбдающая тоска обуяла меня, винлась, вибнилась въ меня какъ коршунъ, словно что-то порвалось въ моей груди, отозвалось нестериимо-мучительною болью и потомъ заныло, и все ныло и грызло, грызло и ныло день и ночь. Впроченъ, невещественнаго дня для меня не было, а постоянно кругомъ непроглядная ночь. Все мив опостылкло: музыка, чтеніе, спектакли, даже посвіщенія мом къ друзьямъ, или друзей ко меж. Но какимъ ангеломъ доброты, незлобія, нъжности и преданности оказалась милая кротка Елена, дълавшая все возможное и невозможное, чтобы, если не утъщить, то хоть уменьинть, облегчить мои сердечныя страданія! Но все-таки больс ивсяца я не могь вынести пытки отъ мысли, что въ двухъ шагахъ отъ меня, изъ двери въ дверь живетъ создательница утраченнаго иною земнаго рая, после такого коротнаго моего въ немъ пребыванія, и съ такимъ скорымъ изъ него изгнаніемъ. Напросился и настояль я тогда на скоръйшее прекращеніе мосго петербургскаго ничего-не-діланыя, и убхаль изучать пьяныя дёла, а потомъ и орудовать ими.

Во время жительства моего въ домѣ Шольца случилось у меня столкновеніе съ моими сосъдями, но съ другой стороны моей нвартиры. Тамъ обитали: выгнанный изъ службы пьяный и буйный коллежскій ассесоръ В — въ, его хорошеньная дочь и экономка-нѣмка. Я былъ невольнымъ слушателемъ бурныхъ ночныхъ сценъ, просто семейнаго разгрома. А наконецъ произошель, изъ за моей музыки, рядъ самыхъ комико-драматическихъ сценъ между иною и буйнымъ сосъдомъ, но сценъ не лицомъ къ лицу, а черезъ общую запертую дверь, такъ что и никогда не видалъ физіономіи пьянаго творца ночныхъ семейныхъ скандаловъ. Все это будетъ разсказано въ 9-й или 10-й книгъ.

### † Опять Апнета Гесслингъ и + юная тетя Софи Шинилова.

Прошло два года послъ смерти Саши. Я прозябаль въ Гжатскъ и ерудоваль пьянымъ царствомъ. А съ темъ вийсте ужасно скучаль и хандриль. Одиновая жизнь тяготила меня, была мев невыносима. Все вокругь меня казалось «мерзостью запуствнія», отъ которой я съ омерэвніемь отворачивался. Я старался смотреть вдаль, въ будущее, оть котораго ожидаль коренной переивны въ своемь печальномъ существованіи; ожидаль возвращенія свъта, тепла и опрятности, т. е. нравственныхъ, законныхъ наслажденій. Мое пылкое сердце томилось жаждою любви, душа искала женской привязанности. Я мечталь о новомъ другъ, съ которымъ могъ бы никогда не разлучаться, дёлить горе и радость. Пламенное воображение рисовало новый и прекрасный храмъ семейныхъ жизни и счастія. Искаль я божества для этого храма. А между тімь оглядывался порою назадъ: сколько прелестныхъ и часто дорогихъ головокъ, съ голубыми или черными глазами, ласково смотрёли на меня изъ моего прошедшаго, казалось, манили меня къ себъ и еще пуще разжигали мое всображение и сердце. И вдругъ, изъ всвиъ этикъ головокъ, утраченныхъ для меня навъки, съ которыми уже невозможно было снова встрътиться на дорогъ жизни; вдругъ одна изъ нихъ, дътски-восхитительная, ярче всёхь отдёлилась, выступила изь рамы прошлаго, предстала передъ моимъ воображениемъ, и совершенно живая смотреда на меня, улыбалась мев и словно протягивала мев руку и звала къ себв. Это была головка большаго ораніенбаумскаго ребенка, очаровательная головка Аннеты Гесслингъ. «Нашелъ, нашелъ», восилинулъ и въ порывъ вдохновенья и восторга. «Воть мое божество, воть обитательница, повелительница моего храма; вотъ кому буду я молиться и пъть хваленія и гимны любви»... Я зналь, что она была еще не замужемь, еще дъвичествовала. Ей было тогда 27 льть, десятью годами менье, нежели мев. Самый подходящій возрасть кь моимь літамь. Сказано, сділяно. Вь началі марта 1847 г. тду въ Питеръ. Первый визить въ другу, Ал. Ал. Одинцову, за совътомъ. Старый товарищъ вполнъ одобрилъ мое намъреніе и сообщиль мив разныя сведёнія объ Аннета, съ семействомъ которой поддерживаль старое знакомство. Дълаю визить ея отцу, Николаю Фидипповичу, доктору, извъстному своею высокою честностію, гуманностію, благодущіемъ и ригоризмомъ правиль. Онь жиль въ Шестилавочной (нынъ Надеждинская), въ своемъ деревянномъ домъ. Меня принимаютъ чрезвычайно любезно, радушно, какъ отецъ, такъ и мать съ дочерьми (ихъ было нъскольно отъ двухъ женъ. Старшая, Александра, была уже давно

замужемъ, за Корниловичемъ, бывшимъ капитаномъ Литовскаго полка). Аннета нисколько не перемънилась: точно также была молода и свъжа, какъ и 11 лътъ тому назадъ. Только еще выросла, возмужала, сформировалась и развилась въ роскошнъйщія формы, при высокомъ, стройномъ и гибкомъ станъ. Словомъ, вышла одна изъ самыхъ обаятельныхъ и симпатично-очаровательныхъ врасавицъ, на воторую можно было глядъть, но досыта никогда не наглядёться и любуясь которою, можно было забыть весь міръ. И все это обаятельное существо было озарено какимъ-то внутреннимъ свътомъ, выражениемъ прекраснъйщей души, добръйшаго сердца и ангельскаго характера. Я быль ослеплень, увлечень, отуманень угаромъ старинной любви, пробудившейся после тринадцатилетняго, глубокаго сна. Но, увы!.. Слишкомъ ли круто повернуль и дёло любви, шель напроломъ, тогда какъ следовало бы действовать осторожно, приступомъ, а вести правильную осаду? И, быть можетъ, судьба моя была бы тогда иная. Послъ двукъ визитовъ въ домъ Гесслинговъ, я написаль письмо въ отцу, гдъ сдълаль формальное предложение его дочери, и поручиль моему другу передать его по адресу. Проходять два дня мучительной неизвъстности. На третій получаю ствъть, весьма симпатическій и сочувствующій мив, но тымь не менье убившій мои надежды. Старинъ изъявляль мив поливищее свое сожальное о томъ, что онъ не могь назвать меня своимъ сыномъ, потому что онъ предоставиль дочерямъ полную свободу выбора себъ спутника въ жизни. И въ настоящую минуту можетъ только скорбъть всею душою, что воля его дочери противоръчить его искреннимъ желаніямъ. Аннета вышла потомъ за Камышанскаго, капитана Волынскаго полка. Она умерла въ 1860 г., оставя сына и дочь, похожую на мать: хорошенькую, но далеко, далеко не какъ мать. Да, такимъ всесторонне-прекраснымъ женщинамъ, какою была Аннета Гесслингъ, судьба не позволяетъ загащиваться въ здёшней «Юдоли плача > .

Проглотилъ и прекрасно позолоченную пилюлю и, съ разбитымъ сердцемъ, глотая душившія меня слезы, мрачный, убитый возвратился я въ Гжатскъ, гдё питейная контора показалась мий еще мрачийе и колодийе могилы, отвратительние грязнаго острога съ наторжинками, котя и нашлось, вызвалось предестное существо облегчить тяжесть давившей меня тоски и, по мёрё возможности, врачевать раны моего сердца.... Но объ этомъ, быть можетъ, скажу нёсколько словъ ниже. Промаялся и около трехъ мёсяцевъ, и сталъ понемногу приходить въ себя, покорившись безповоротно-совершившемуся факту, и сказавъ вёчное прости моимъ завётнымъ мечтамъ, моимъ на мигъ воскресшимъ и навёки

умершимъ надеждамъ. Насталъ май. Съ теплымъ весеннимъ воздухомъ стало дышаться легче, отъ сердца поотлегло. Окружавшіе меня мракъ и холодъ стали уменьшаться, чему много содъйствоваль чудный блескъ прекрасныхъ темно-голубыхъ глазъ. Отвернувшись отъ прошедшаго, я сталъ смотръть въ будущее, въ этого загадочнаго сфинсса бурныхъ, измученныхъ существованій. Что скрывается за этой тапиственной завъсою будущаго, которую страхъ какъ хотълось приподнять, взглянуть хоть однимъ глазомъ на то, что скрывается за нею?

Въ концъ мая опять поъхаль я въ Петербургъ, откуда взяль мою дочь и отвезъ въ Нижегородскую губернію къ ея дѣду и бабушкѣ, куда потомъ прислаль я хорошую гувернантку. Прівхаль я къ тестю съ лихорадкою, прогостиль у него недѣли три, отъ лихорадки выздоровѣлъ, да заболѣлъ было лихорадкою или горячкою сердца, но, по моей некомпетентности въ дѣлѣ медицины, не рѣшу, которою изъ этихъ двухъ болѣзней. Вотъ что и какъ произошло.

Будучи женихомъ Саши, я, въ ожиданіи свадьбы, все лъто 1837 года прожиль въ деревит ея отца, въ Сергачскомъ утздт. Въ числъ многочисленныхъ родныхъ Саши находился дядя ея отца, а ея дъдъ. Ал. Петр. Шипиловъ. Домъ его быль одинъ изъ самыхъ почетныхъ и всёми уважаемыхъ въ Симбирской губерніи. У этого д'ёда Саши было прекрасное имъніе въ Курмышскоми убедь, лежавшее въ живописной мъстности. съ двумя большими садами. Черезъ одинъ изъ нихъ, общирный, въ родъ парка, протекала ръчка, между крутыми берегами, съ мостами лодками, паромомъ. Тамъ были бесъдки, холмы, горы съ гротами, тънистыя амеи, рощи съ извилистыми дорожками съ лужайками, клумбами цвътовъ. Это быль одинъ изъ очаровательнъйшихъ садовъ, какіе случалось мив видеть въ продолжении моей жизни. Но главное очарование этого предестнаго угодка, этого, можно сказать, земного рая, были его обитатели, -- семейство Шппиловыхъ и, въ особенности, глава дома, самъ хознинь. Это быль высокаго роста, бёлый какь лунь, но чрезвычайно моложавый и прасивый старинь, человёнь идеально честный, добрый. умный, образованный, постоянно привътливый и ласковый со всъми. Любознательный и просвёщенный, онь сь любовію слёдиль за успёхами наувъ и художествъ, выписываль газеты и множество журналовъ, быль страстнымъ повлонемкомъ изящныхъ искусствъ: стъны его комнатъ были увъщавы цънными картинами и ръдкими гравюрами; и каждое изъ искусствъ имъло по нъскольку своихъ замъчательныхъ представителей, образцовъ. А предестное семейство его было вполев достойно своего главы. Отъ двухъ женъ у него было, сколько помню, два сына и нъ-

сколько дочерей. Всв были очень умны, прекрасно воспитаны, или еще воспитывались. Одна изъ нихъ, Софи, была особенно замъчательна. Нъсколько восхитительныхъ дней провель я, вивств съ Сашею, домъ ея дъда, во время моего съ нимъ познакомленія. Софи была тогла еще 8-ми лътней дъвочкой. Но эта юная наша тетя уже обращала на себя вниманіе всёхъ посётителей дома отца своею страстію нь фортеприно и вообще своими музыкальными способностями, а еще болье пора. жала своимъ, не по лътамъ, умомъ, который такъ и свътился въ ея большихъ, черныхъ, выразительныхъ глазахъ; поражала умными, кими отвътами. Десять лътъ прошло съ тъхъ поръ. Я болъе ни разу не посъщаль дома Шипиловыхъ. И вотъ, послъ длиннаго періода и вдовцемъ вду я къ двду покойной Саши, и встрвчаю тв же радущіе и гостепрічиство и того же, все еще красиваго и бодраго старика. Кажется ничего не измънилось въ домъ, ничего, кромъ одного: Софи, изъ 8-ми лътняго ребенка, такъ много объщавшаго, преобразилась въ прелестную, стройную 18-ти автнюю двину, сдержавшую съ лихвою все, что объщало - ея дътство. Это было очаровательнъйшее созданіе, умное, образованное, вполив развитое, полное талантовъ, превосходная піанистка, начитанная, остроумнъйшая и занимательнъйшая собесъденца. Это, какъ видно, была enfant gâté судьбы и природы, которыя сговорились поцарски одарить свою любимицу. И не поскупились: одарили всёмъ, рёшительно всёмъ съ необычайной щедростью.... И послъ этого, возможно ли было устоять мив? Возможно ли было не вырости пышному цевтку любви на почев моего сердца, такъ хорошо подготовленной и разработанной? И выросъ сь изумительною быстротою, и расцейль этоть пышный цейтокь, сейчась же и завяль, и засохь. На него подуль холодный, ледяной вътеръ равнодушія и неотзывчивости.... Я поситшиль возвратиться въ Гжатскъ, гдъ снова ожидали меня пракъ и колодъ могилы. Итакъ, въ какихъ нибудь три мъсяца я пережиль два жестокихъ пораженія, двъ убитын надежды, два разбитыхъ върованія.... Послъ этого самъ собою рождается вопросъ: что же лучше? Въчно ли холодное сердце, незнакомое съ сильными чувствами; въчно ровное, нормальное, никогда не заставляющее васъ страдать и плакать отъ несчастной любви; но за то ни разу не давшее вамъ испробовать верховное блаженство: плакать на груди обожаемой женщины отъ восторга и упоснія планенной и взаимной любви, обливать слезами этой любви и благодарности руки и ноги боготворимаго существа, уносящаго васъ въ надзвёздныя выси нечеловёческаго, неземнаго счастія. Или лучше сердце, въ которомъ все дълается наобороть; сердце, заставляющее васъ иногда горько плакать

бовной невзгоды; но за то порою упосящее васъ на седьмое небо невыразимаго блаженства раздължемой любви; блаженства, которое доступно однъмъ только избраннымъ натурамъ, а не разночинцамъ ума и сердца; блаженства, котораго овъ не отдадутъ за всъ земныя почести и которое позволяетъ имъ предвиушать блаженство небожителей?

Теперь замбчу еще: между различными категоріями людей есть двъ слёдующія: одни, которые угадывають, постигають и опредёляють характеръ и требованія даннаго момента однимъ умомъ, или умомъ, а потомъ провъряють сердцемь и, вследствие этой провърки, многое изъ своихъ возэрвній и решеній изменнють, или вовсе отменяють. Другіе, которые угадывають и опредвляють однумь сердцемь, и только иногда провъряють умомъ. Первые ръдко ошибаются, ръдко терцять неудачи и разочарованія, и потому ръдко страдають. Вторые часто впадають въ ошибки, териятъ неудачи и безирестанно разочаровываются и страдають. Увы! Я принадлежаль ко второй категоріи: и часто, и много разочаровывался и страдаль. Говорять: «язывь мой — врагь мой». А я должень сказать: «сердце мое - врагь мой». Охъ, ужъ это миъ сердце! Натворило оно мий не мало бъдъ и горя.... Но за тоже и доставляло мей не разъ минуты, часы, дни и мёсяцы высоваго, неземнаго счастія. А есть еще, и цълый легіонъ такихъ индивидуумовъ, въ особенности изъ міра діловаго да изъ молодаго поколінія, которые поръшили, что сердце - вещь совершенно лишияя и что его слъдуетъ выбросить за бортъ, какъ вовсе ненужный и даже вредный баластъ. Ну и выбросили, и живуть себъ; процвътають и блаженствують безъ сердца, сь однимь умомъ.... и хорошо, еслибы еще съ умомъ; а то наичаще съ.... отрицаніемъ да съ безуміемъ. Упомяну еще объ одной Софи К — ной. Но это быль уже не любовный эпизодь, а сватовство. Миз навизывали дочь одеого откупщика и золотопромышленника, и хотъли женить меня на ней по следующимъ соображеніямъ: 1-е, за ней давали 12,000 р. годоваго дохода; 2-е, она имъла 18 лъть, большіе, прекрасные черные глаза и была очень недурна собою; 3-е, и это главное, хотъли, чтобы я взяль въ свои энергическія руки и поправиль разшатанныя дёла ея отца, прекраснёйшаго, но вовсе не дёловаго человёка, предпочитавшаго всявинь дёламъ свой изящный комфорть, свой безиятежный кейфъ съ жизнію то въ Парижъ, то въ Петербургъ, съ посъщеніями итальянской оперы и Михайловскаго театра; свою карету парижской работы съ ордовскими рысаками, и наконецъ своихъ многочисденныхъ прінтелей и знакомыхъ, которые любили его за его высокую честность, за прекрасный, веселый характерь, добрёйшее сердце и за

уминье разсказывать анекдоты, запась которыхь быль у него неистощимъ. Подъ предлогомъ путешествія для обозрѣнія Южной Россіи, меня привезли въ одинъ изъ главныхъ ея городовъ, прямо въ пышную резиденцію милліонера, отца предназначаемой мив невісты. И воть начинается рядь удивительныхь объдовь, ужиновь, закусовь съ дорогими винами и прочими питіями, съ тонкими гастрономическими вкусностими. Катали меня по городу и за городомъ въ великолбиныхъ экипажахъ, на многотысячныхъ лошадяхъ, управляемыхъ кучеромъ-артистомъ, получавшинъ чуть ли не генеральское жалованье. И все это ни къ чему не повело. Возвратился я въ Петербургъ точно такимъ же, какимъ и выъхаль изъ него, т. е. вольной итицей, а не женихомъ. Но проектъ сватовства не умерь, а ожиль съ новою силою. За мною укаживали, меня холили, безпреставно возили въ Итальянскую Оперу, а оттуда къ Дюссо, на тонкій, изящный ужинь въ кругломь кабинеть. Усадять меня кежду предполагаемымъ тестемъ и сватомъ, который то и дъло нашентываеть мев на ухо: «Скажи  $\partial a$ , и я пойду сватать, отказа не будеть, ручаюсь за это, и 12 тысячь р. вь годь на первый разь, а послъ будешь получать вдвое, а быть можеть и втрое. Ну, говори  $\partial a! >$ Но увы! Ожидаемое и сильно желаемое да не срывалось съ моего языка, потому что во 1-хъ: я не имъль ни малъйшаго понятія ни объ умъ Софи К -- ной, ни о сердцъ, ни о характеръ, ни даже о звукъ ся годоса, потому что я видёль ее только одинь разъ, и то мелькомъ, время объда у ея бабки и не могъ ни слова сказать ей, сидя не возлъ нее, а на противоположномъ концъ стола. Во 2-хъ: вступая съ ней въ бравъ, я не могь бы знать, нравлюсь я ей, или противень, потому что въ русскомъ торговомъ міръ, даже между милліонерами, не принято, не въ правидахъ спрашивать у своихъ дётей, нравятся имъ, или нётъ, высватанные для нихъ женихъ или невъста. «Вотъ тебъ женихъ», или «воть тебъ невъста», изръчеть гильдейскій родитель, и ни дочь, ни сынъ не смъють пикнуть, что предлагаемое имъ не по сердцу. Да «по сердцу родителя, ну и шабашъ». А то не хочешь ли попробовать родительскаго кулака, а то и просто палки или плети. И это бывало; и объ этомъ слыхали мы. Наконецъ въ 3-хъ, и это главное-- у меня была уже въ умъ и въ сердцъ другая Софи, въ Москвъ, тоже съ прекрасными черными глазами, съ очаровательнымъ личикомъ ослъпительной бълизны, съ необыкновеннымъ румянцемъ во всю щеку и съ чисто античнымъ бюстомъ. Правда, за нею не только двънадцата тысячъ годоваго дохода, но и всего-то приданаго капитала было менъе половины дохода Софи гильдейской. За то я быль знакомь съ московскою Софи уже болье двухыльть, и вполны узналь и оцыниль ея свытлый умы, преврасный характеры и ангельское сердце.

Итакъ, меня возмущала, ужасала одна мысль о томъ, что я могъ жениться на дъвушкъ, которой я противенъ, но которая, затамвъ въ душъ свое отвращеніе ко миъ, принуждена будетъ протянуть миъ свою руку и сказать «да», когда тысячу «нътъ» сорвалось бы съ ея языка, если бы не страхъ, что бабушка разложитъ ее да и постегаетъ маленько но больненько... Не смъйтесь, защитники гильдейскихъ обычаевъ. Это водилось въ сороковыхъ годахъ. Я слышалъ объ этомъ, и не разъ, отъ самыхъ правдивыхъ людей, и говорю не «А priori, но А posteriori!» Про теперешніе гильдейскіе обычаи не знаю. Знаю только, что продать дурную вещь за корошую, содрать вдвое, а если можно, то и втрое; порою обиърить, обвъсить и обсчитать водилось еще не такъ давно, да пожалуй и теперь еще водится, не у всъхъ, а лишь у нъкоторыхъ гостинодворцевъ, апраксинцовъ и, въ особенности, въ мрачныхъ ущельяхъ московскаго гостиннаго двора.

Послѣ мѣсяца безплодныхъ поѣздокъ въ итальянскую оперу и угощеній у Дюссо, я въ одно прекрасное утро собрался въ путь, простился со сватомъ и исевдо-другомъ и уѣхалъ въ Москву. Псевдо-другъ очень и очень поморщился отъ неудовольствія за неудавшійся планъ женить меня на гильдейской барышнѣ, съ 12,000 годоваго дохода и ради спасенія гильдейскихъ интересовъ. Да, очень сильно поморщился мой псевдо-другъ и не простилъ мнѣ этого: онъ никогда и никому не прощалъ ни малѣйшаго оскорбленія его мелочнаго, разночиннаго самолюбія и чудовищнаго тщеславія. Ну и насолилъ (чтобы не сказать напакостилъ) инѣ потомъ этотъ псевдо-другъ, и еще болѣе псевдо-порядочный человѣкъ, какъ это будеть видно въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній». Впрочемъ, все это сватанье и все это пакощенье подробно описаны въ «Задушевной Исновѣди» и въ романѣ «Поддѣльщики».

#### + Софи Богаевская.

Вся грустная исторія этой любви подробно ярко описана въ «Задушевной Исповъди» и въ «Поддъльщинакъ». Поэтому и не описываю ее въ этой хроникъ. Можеть быть послъ поговорю о ней.

# + Лидія Александровна Звольская.

Героиня «Банка Тщеславія» подъ псевдонимомъ. Не глава, а цёлая вфорая часть романа и пятая книга «Воспоминаній» посвящены исторіи этой безумной моей любви подъ заглавіємь: «Зловёщая номета».

\* \* \*

Это, говоря по правдѣ, была даже не любовишка, а просто не болѣе какъ проба гомеопатическаго средства: «клинъ клиномъ выбивать», т. е. попытка выбить изъ меня «Зловѣщую Комету», «Лидію Александровну Звольскую» тожъ. Дѣло было въ провинціи. Но послѣ первой же пробы, клинъ сломался: оказался гнилымъ, негоднымъ ни на что, кромѣ какъ увеличивать доходы косметическихъ магазиновъ, ради ремонтированія сво-ихъ поблекшихъ ланитъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ, увеличивать, собирать, пересчитывать и укладывать въ копилку и свои собственные доходы съ имѣнія.

## \* У-ръ - арвъ.

Вторая попытка гомеопатической системы. Роль илина приняла на себя вы Петербургъ жена одного путейца, врозь съ мужемъ, пикантнъй-шая дама, въ особенности издали, или вечеромъ. Двъ встръчи съ нею въ одномъ домъ. Два оживленныхъ разговора. Два моихъ письма, разумъется на французскомъ діалектъ и предлиннъйшія, съ достодолжнымъ павосомъ. Первое сдълало брешь; послъ втораго ворота кръпости растворились настежь и гарнизонъ положилъ оружіе и сдался «à discrétion» (на волю побъдителя). Два рандеву и... полнъйшее разочарованіе. Клинъ оказался хотя и не гнилымъ, но шероховатымъ отъ долгаго употребленія. И затъмъ... «скоръй въ оханку кушакъ да шапку».

## 🕂 Софи (Ангеловна) Гемаръ.

Видно имени Софія назначено было преобладать въ судьбахъ моей жизни. Это—дивно прекрасная женщина. Это—воплощеніе ангела, посланное на краткій срокь на землю для того, чтобы, давь понятіе о женскомъ совершенстві, изумить, ослінить своею лучезарною красотою тіхь, кто иміль счастіе приблизиться къ ней и хотя мелькомъ взілянуть на нее; и затімь, блеснувь ярче полуденнаго солнца, закатиться на віки, т. е. возвратиться въ свою небесную отчизну. Дивная эпопея высокой любви между этимъ женскимъ идеаломъ и мною, эпопея не сочиненная, но истинная, взятая прямо изъ жизни и въ которой малібішая подробность исторически вірна; эта эпопея составить сюжеть 6-й книги, озаглавленной Потерянный Рай.

#### эпилогъ.

🕂 Даша и три спльфиды: 🔀 Катя, 🕂 Маша и 🔀 Элеонора.

Итакъ, разсказывая про любови № 12 bis и № 18, я вспомниль еще о четырехъ, не лишенныхъ интереса и заслуживающихъ быть разсказанными. Первая изъ четырехъ была Даша, почти моя ровесница (двумя годами старће меня), распрехорошенькая камеристка моей тетушки, средняго, но чрезвычайно стройнаго роста, сложена прекрасно, съ черными какъ смодь водосами и такими же черными, большими, умными, выразительными и плутовскими глазами; довкая, веселая, бойкая умница, хохотунья и страшивйшая насмёшница, но не злая. Объ ней упомянуль я вскользь въ 7-й книгъ «Воспоминаній», при разсказъ о томъ, какъ, встрътись съ нею въ прихожей, чуть было не подошель и къ ней къ ручкъ, принявъ ее за тетушку, которую, послъ своей свадьбы, дядя привезъ изъ Москвы въ Варшаву. Эта новая тетушка сильно разочаровала меня тогда, такъ что, сравнивая съ прелестною Дашею ее, воксе не предестную, а совершенно напротивъ, я невольно подумалъ: «Отчего не Даша моя тетушка? Хотя и простая горничная, но въдь она несравненно лучше своей госпожи, урожденной княжны? » Такъ думаль 13-тидътній отрокъ. Точно также думаль онъ и позднье, будучи взрослымъ. Да пожалуй и теперь не перемъниль своего мнанія о Даша и о тетушкъ съ разновалиберными глазами и грузинскимъ носомъ, хотя и той, и другой итть уже на свъть. Воть что значить твердость убъжденій въ такихъ серьезныхъ дёлахъ, какъ хорошенькія Даши, да невзрачныя тетушки, да... да не лавровые вънки, а висълицы для цареубіць. Эта самая Даша, въ продолжевім многихъльть, играла мною какъ игрушкою, дразнила меня, давала мей жестокіе щелчки въ носъ, кипятила мою юношескую кровь и много разъ доводила до отчаннія, до слезъ, до изступденія, пока наконецъ.... Впрочемъ, чтожъ? Въдь я исповъдуюсь и это уже моя последняя, предсмертная исповедь, такъ нечего вилять, следуеть покаяться и признаться во всемь: я быль влюблень въ хорошенькую и умненькую Дашу, которую передь тёмъ желаль имъть своею тетушкою. Да, я кръпко, сильно любиль ее, и много разъ горько плакаль оть ея щелчковъ, т. е. оть насмёшекъ, порою очень колкихъ. Лермонтовъ сказалъ, что будто бы «въчно любить невозможно». Не знаю, правда ли это, но знаю навърно, по опыту, что «невозможно въчно плакать», потому и я плакаль отъ Даши не въчно. А когда потомъ, много лъть спустя, послъ освобожденія моего изъ пльня, прівхаль я въ домовой отпускь, Даша продолжала быть камеристкой моей тетушки, ни на волось не измънилась, нисколько не постарьла и была такая же хорошенькая, живая, веселая и насмъшливая, какъ и въ Варшавъ; но только ни единаго щелчка не дала тогда въ мой носъ, никогда не насмъхалась, а давала щелчки и надмъхалась надъ всёми искателями ся руки и сердца, постоянно имъ отказывала и предпочла замужеству свое дъвичество... Случаются же иногда такія оказіи, такія, хотя и весьма рёдкія, предпочтенія. Не даромъ сказано: «На свётъ дивныя бываютъ приключенья» (читай «предпочтенія»).

Теперь следують три сущія сильфиды, съ тонкимъ, гибкимъ станомъ, съ лебедиными шеями, роскошными бюстами, бълокурыя и съ прекрасными глазами, буквально темно-голубыми, какъ небо Италіи. И были онъ словно три родныя сестры-близнецы, котя никогда не видъли одна другую, даже не знали о существованіи другь друга, были совершенно гразличныхъ «племенъ, нарвчій, состояній», и являлись мив, какъ видінія, не въ одно время, а въ разныя, слідующія одна за другой эпохи моей жизни. Первая изъ нихъ-Катя; сильфидообразная, притягательно-хорошенькая, но горделиво-капризная Катя, на которую такъ умильно смотрёли и засматривались нёкоторые петербургскіе селадоны, знакомые моего шурина; но только засматривались, вздыхали да облизывались. Сама же Катя им на кого не засматривалась, ни на кого, кроиб... меня, съ которымъ бывала лишь изрёдко и нёсколько капризна, но нисколько не горделива, а отзывчива; тогда какъ съ другими постоянно была и горда, и пренебрежительно-пеотзывчива. Потомъ убхала изъ Петербурга въ деревню къ отцу и вышла замужъ за... моего кучера... sic transit gloria mundi (такъ исчезаетъ слава свъта).

Вторая сильфида—Маша въ Гжатскъ, дочь конторскаго сторожа; симпатично-прелестная Маша, эепрная, бълокурая, тоже съ огненнымъ оттънкомъ волосъ, какъ у Кардеваль, съ томными темно-голубыми глазами. И
былъ я другомъ этой Маши, а Маша была вся составлена изъ нъги,
изъ упоенія, изъ страсти, и, съ тъмъ вмъстъ, была она олицетворенісмъ кротости и доброты. И какъ искусно, легко и неотразимо умъла
она вызывать потоки страстныхъ, опьяняющихъ поцълуевъ; а сама вся
трепещущая подъ этими бурными, огненными потоками, жадно изъ нихъ
пила, упивалась льющимися на нее поцълуями и обвивала своего друга
словно плющемъ, своими непритворными, упоительными, разжигающими
засками. И приняла на себя эта упоительная Маша высокую, гуманную

миссію дечить меня отъ мрачной хандры по возвращеніи моемъ изъ неудачной сердечной кампаніи въ Петербургъ, вызвалась быть момиъ ангеломъ-утъщителемъ. Укаживала она за мною съ полнъйшимъ самоотверженіемъ, съ нъжною заботливостью самой любящей, преданной сестры. Продолжала ухаживать также и по во возвращении изъ другой неудачной кампаніи въ Симбирской губерній; продолжала до самой второй моей женитьбы. И какъ дасново, любовно и вопросительно смотрела она мив въ глаза своими кроткими темноголубыми глазами, и старалась угадать, предупредить мои желанія? Какія простыя, наивныя, но теплыя, нёжныя слова находила она въ своемъ прекрасномъ, не испорченномъ и сострадательномъ сердив, чтобы разгладить морщины на моемъ мрачномъ челв, вызвать улыбку на мои уста, а изъ этихъ устъ вызвать потокъ страстныхъ поцёлуевь и упиться ими до голововруженія. Да! въ жизни избранныхъ страдальцовъ бывають моменты, окупающие пережитое горе, съ лихвою награждающие за мужественно перенесенныя утраты и страдания. А потомъ какъ восторгалась она отъ моей горячей къ ней дружбы, какъ наивно гордилась ею! И какъ нъжно, горячо благодарила меня за мою чисто отеческую заботливость о ен будущемъ! Гдъ-то ты течерь, добрая, милая, упонтельная Маша? Гдв ты и что съ тобою? Если ты жива, то въроятно уже давно завяли, засохли дивно прекрасныя розы и лили на тионкъ горячикъ щекакъ. Но не завяло, не умерло мое о тебъ воспоминаніе: оно живеть. Можеть быть у тебя есть дочь, такая же какъ и ты, прасавица и ангель сердцемъ! Да пребудеть же надъ нею и надъ тобою благословение Божие. А я... я могу линь почтить твою память нёскольними слезами испренней, глубокой благодарности, и послать вамъ обжимъ мое заочное, старческое, дружеское благословение.

Наконедъ третья, настоящая сильфида: восхитительная и таинственная Элеонора, въ Эртелевомъ Переулав, на углу котораго жилъ и въ нижнемъ этажв дома Шляндера въ 1857 году. Однажды, въ мой отличный эллиптическій бинокль, усматриваю эту красавицу, глазвющую изъ окна на улицу. Она занимала рядъ комнать въ нижнемъ жильв дома, наискосокъ моей квартиры. Тотчасъ же беру шляну и прохожу раза два мимо прелестной незнакомки. Въ следующіе дни повторяю по нъссильку разь этотъ маневръ и кончаю тёмъ, что знакомлюсь съ этою сильфидою номеръ третій. Но кто она, откуда, для чего жила въ Петербургв, это осталось для меня тайною, которую и не пытался и разгадывать. Для меня довольно было знать, что эта прелестная нёмочка носила звучное имя Элеоноры и была рёдкой обаятельной красоты молодая женщина. Да и въ томъ, была ли это нёмка, или другой націо-

нальности, я не быль увёрень, потому что она прекрасно говорила порусски, понёмецки и пофранцузски; была превосходно образована, съ
изящными, мягкими манерами, хорошо знакома съ произведеніями лучшихъ нашихъ поэтовъ, зачитывалась ими и вообще внимательно и съ
любовію слёдила за ходомъ современныхъ беллетристики и событій. Любила она страстно музыку и восторгалась моею гитарою и декламацією
стиховъ. Въ особенности понравилось слёдующее стихотвореніе, которое,
по ея просьбё, не разъ продекламироваль я ей, и потомъ вписаль въ ен
альбомъ. Такъ какъ мнё не случалось встрёчать въ антологическихъ
сборникахъ это стихотвореніе, восхитившее тамиственную красавицу,
то я и позволяю себё вписать его въ эту главу.

Съдлайся вновь конь крыпкій мой, Затьемь снова жизнь степную; Мит опостыль ауль родной, Я въ немъ безъ пользы истоскую.

Слыву навздникомъ лихимъ, Меня зовутъ Огнемъ-Омаромъ. Да! шашки лезвіемъ крутымъ Не разсъкаль я воздухъ даромъ.

Земли не задъвать свинцомь, На вътеръ пороху не тратиль, Не мчался робкимъ бъглецомъ: Лишь смертью съ недругами ладиль.

И вотъ задумаль бросить я Приволье жизни одинокой, Моихъ набздничествъ края И все забыть для черноокой.:

Но саким гордая краса
Не поняла любви свободной
И, пламенный какъ небеса,
Я презрънъ дъвою холодной.

Пуснай изнъженный уздень Ея любовь подкупить златомь; Миъ дъвы жаль: настанеть день, Сгруснется ей во сиъ богатомъ. Наскуча роскошью парчей, Душа прямой любви запросить. Слухъ дивныхъ дёлъ дойдеть до ней, И дёва взоръ съ уныньемъ бросить

На хладный панцырь узденя, На шашку сжатую ножнами; И поздно, жребій свой кляня, Зальется горькими слезами.

О дъва, вспомнень обо мнъ, Но я умчусь въ странахъ даленихъ На богатырскомъ летунъ, Въ волненъи думъ моихъ глубокихъ.

Отвага закипить въ крови, Меня богъ брани не покинеть, — И жаръ обиженной любви Подъ хладнымъ панцыремъ остынетъ.

Извъстно было мнъ о таинственной красавицъ только слъдующее: въ извъстные дни и часы никто не могъ войти не только въ ен залъ, но даже въ переднюю, никто, кромъ одного, тоже какого-то таинственняго лица. И н строго соблюдаль этотъ зарокъ, и даже мимо ен оконъ не проходилъ тогда. Въ 1858 году и перемънилъ квартиру, незнакомка тоже, и мы болъе уже не встръчались.

Необъяснимо, загадочно сердце чедовъческое вообще, а женское въ особенности. Полюбитъ страстно, беззавътно кто либо и какую нибудь женщину, и не то что красавицу, а такъ себъ, и будь онъ не старикъ и не уродъ, а въ поръ и недуренъ собою, и не дурной, а хорошій человъкъ; принеси онъ ей въ жертву все, свое богатство, почести, славу, если такая имъется; предлагай ей сдълаться ея покорнымъ рабомъ, лишь бы пользоваться ея благосклонностью. Но если онъ чъмъ нибудь ей не понравился, часто изъ каприза, изъ за прихоти, — она оттолкнетъ и его, и все, что онъ положитъ къ ен ногамъ. Но иногда вдругь кто нибудь ей понравится, ни съ кожи, ни съ рожи; плънитъ ее не умомъ, не талантами, не подвигами, а пустяками, хорошо повязаннымъ галстукомъ; и она полюбитъ его и, очертя голову, бросится въ его объятія. С'est terrible, mais с'est vrai. Такова ужъ нелогическая натура еввиныхъ правнучекъ.

Чёмъ же я, 47-ии лётній вдовець, могь плёнить молодую, умную, образованную красавицу, плёнить и увлечь?.. Игрою на гитарё и декламацією. Правда, игра моя далеко выходила изъ ряда обыкновенныхъ, а декламироваль я съ глубокимъ чувствомь, какъ русскіе, такъ и французскіе стихи, въ особенности иёкоторые монологи, какъ напримёръ, изъ Горацієвъ Корнеля:

> «Rome, l'unique objet de mon ressentiment! Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant».

Или изъ Ореста Детуша:

«Effroyable ascendant d'un pouvoir ennemi! J'ai donc assassiné ma mère et mon ami!»

Но вёдь это—все вещи обиходныя, заурядныя. Да и самыя-то отноменія между Элеонорою и мною были болёе или менёе эфемерны и не имёли характера глубокаго, сильнаго чувства. Впрочемь, въ этомъ эпиводё много помогло мнё глубокое знаніе науки любви, полный курсь которой прошель я въ Варшавё между двумя красавицами, №М 5 и 6; помните, читатель! Это глубокое знаніе помогало мнё во многихъ другихъ, выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, любовныхъ энизодахъ, съ красавицами, тоже не заурядными, какъ, наприм, «Іогася, Лидія Александровна, Елизавета Карловна».

Между тёмъ любовь моя въ Аннете Гесслингь была страсть истинная, глубоная, безпредёльная. И мне было не 47, а 23 года, когда я быль увлечень бурнымъ потокомъ молодой страсти въ какія-то отдаленныя и неведомыя страны новыхъ боговъ, новыхъ вёрованій, богослуженій, боготвореній. И мне можно было применить къ себе вполее и по всей справедливости стихи В. Гюго, помещенные въ «Библ. для Чт.», въ переводе Деларю:

> Когда бъ я Богонъ былъ, селеньями святыми Клянусь! я отдаль бы прохладу райскихъ струй, И сонмы ангеловъ съ ихъ пъснями живыми, Гармонію міровъ и власть мою надъ неми За твой единый попълуй \*).

<sup>\*)</sup> Въ 1847 году, подъ вліянісмъ любви къ моей невѣстѣ, я написалъ, въ подобномъ родѣ, нѣсколько строфъ, и нисколько не гиперболичнѣе строфъ В. Гюго, но только прозою, и послалъ тогда изъ Москвы въ Петербургъ къ моему исевдо-другу. И что-жъ? Овъ наругался надъ моею поэтическою прозою,

Да! и и отдаль бы тогда весь земной шарь, всю солнечную систему, всю вселенную за взглядь, за поцьлуй Аннеты. Обнять, поцьловать, получить взаимный поцьлуй любви, зарыдать отъ восторга и.... пасть подь развалины вселенной... А потомь, когда эта всепоборающая страсть проснулась посль 13-ти-льтняго сна и была, такь сказать, освящена болье, нежели десятильтнею давностію, то мнь было все таки не болье 37-ми льть, а не 47, какъ въ домь Шляндера. И что жъ? Лавровый вынокь 47-ми-льтнему селадону за эфемерное чувство, и вынокь терновый 23 льтнему юношь и затыть 37-ми льтему, полному силь человых за его глубокую, пламенную, испытанную любовь.

При семъ удобномъ случат приведу късколько афоризмовъ, върно опредълнющихъ подругу нашей жизни.

«Всегда найдется сказать о женщинахъ что нибудь новое, пока хоть одна останется на земномъ шаръ» (De Boufflers).

«Женщина!.. Только одинъ Богъ можетъ знать ее» (S. Dubay).

«Не такъ трудно побъдить добродътель женщины, какъ ея отвращеніе (Beauchêne)».

«Женщина можеть скоръе полюбить человъка, которато она ненавидить, нежели того, которато она видить, не обращая на него вниманія (Chabanon)».

«Женщины всего менье жальють о тыхь страданіяхь, которыя претерпьвають для нихь (Id.)».

«Женщины походять на государей: часто путемъ докучливости получають отъ нихъ то, что не получили бы путемъ благосклонности ( $L\acute{e}$ -vis)».

«Женщины не прочь, чтобы ихъ нъжно дюбили, но онъ хотять, чтобы ихъ забавляли; и кто дълаеть одно безъ другаго, тотъ ничего не дълаетъ» (Fontenelle).

«Женщины предпочитають даже то, чтобы ихъ забавляли не любя, тому, чтобы ихъ любили не забавляя» (Id.).

вивниль мей ее въ преступление и за это порваль дружеския со мною связи, сказавъ въ конца своего обвинительного по пунктаму письма: «хороню на всегда слово ты». Каково кабацкое понимание поэтическаго восторга (см. Задушевную Исповадь, гл. VI). Счастье В. Гюго, что онъ никогда не быль въ Петербурга. Не сдобровать бы ему. Вароятно, что за вышеприведенную строфутогда бы всенепреманно:

«Красивыя женщины часто походять на большіе города, которыми легко овладёть, но которые трудно сохранить» (Boiste).

«Въ любви женщины заходять далъе мущинъ, но въ дружбъ мущины берутъ надъ ними верхъ» (La Bruyère).

«Женщины дають дружбѣ лишь то, что онѣ занимають у любви» (Chamfort).

«Женщины всегда постояннъе въ ненависти, чъмъ въ любви (Gol-doni).

«Нельзя быть другомъ женщины, когда можно быть ея любовникомъ (Mainard).

«Женщины дёлають изъ своихъ любовниковъ лешь холодныхъ друзей, или враговъ» (\*\*\*).

«Когда хочешь писать о женщинь, надо обмакнуть перо въ радугу и стряхнуть пыль съ крыльевъ бабочки» (Diderot).

«Женщина, это — кушанье, достойное боговъ, если только чортъ не приправить его» (Caldéron).

«Не ставьте женщину между ен долгомъ и нарядомъ» (Pythagore).

«Кто умъетъ укротить женщину, тотъ не будетъ бояться непріятельскихъ выстръловъ» (Flacher).

«Женщины бывають кокстками, когда онв хороши собою, и брюзгами, когда онв благонравны» (Boiste).

«Не ждите хорошаго прієма отъ женщины, недовольной своимъ туалетомъ» (Id.).

«Хорошенькія женщины умирають дважды» (Id.).

«Нътъ существа несноснъе бывшей хорошенькой женщины» (Id.).

«Сила женщинъ состоить въ ихъ безсили» (Id.).

«У многихъ женщинъ честность есть не иное что, какъ леность, или недостатокъ темперамента» (\*\*\*).

«Женщины могуть превозмочь свои страсти скорке, чких свое кокетство» (La Rochefoucauld).

«Женщины слишкомъ хитры для того, чтобы быть откровенными» (\*\*\*).

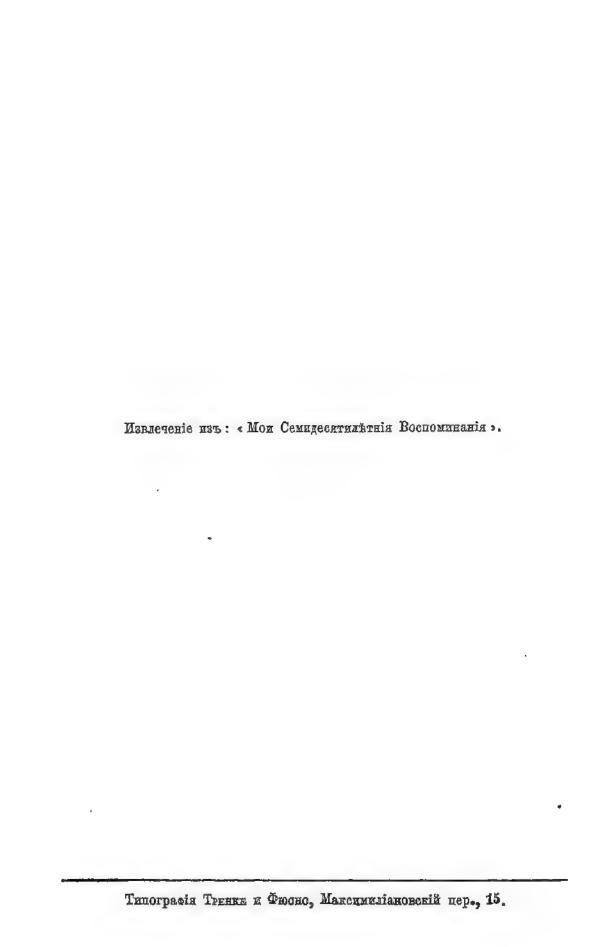
О память, моя память! Какая же стала ты упрямая и скупая! Бывало, по первому призыву, ты воскрещаешь и возвращаешь все, что было положено въ тебя на храненіе. А теперь? Какъ старый скрига, только послё величайшихъ усилій и просьбъ, рёщаешься ты выдавать изъ своего хранилища, да и то скупо, по мелочамъ, не торопясь, факть за фактомъ. И вотъ сейчасъ вспомниль я еще объ одномъ эпизодё 1834 и 1835 годовъ, эпизодё вполнё достойномъ быть внесеннымъ въ эту «Хро-

нику». Живу я у дяди, близъ Солигалича. А въ Солигаличь живетъ Ирина, жена одного мъщанина, жившаго постоянно въ Петербургъ на заработкайъ и кажется гуляки, бросившаго свою жену на произволь судьбы и добрыхъ людей. Это была молодая женщина, высокая, стройная, дивно сложенная, съ густою, длинною темнорусою косою, съ выразительными, или какъ говорятъ, маслеными карими глазами съ поволокою. чрезвычайно красивая и чрезвычайно возбудительная; при людяхъ апатичная, заствичивая, робкая какъ дввочка, съ опущенными долу очами: а самъ-другъ-смёлая, страстная, съ глазами инпрово раскрывшимися. вызывающими, загорающимися огнемъ долго сдерживаемой страсти и объщающими цёлый мірь упосній и восторговь тому счастливцу, который съумъль бы растопить, не природную, а напускную ледяную кору, облекавшую сердце солигаличской красавицы. Но эта ивщанская краса была холодна, какъ ледъ, неумолимо сурова и недоступна для всъхъ солигалических вздыхателей и обожателей: въ чуйкахъ, сюртукахъ и даже во франахъ (мъстной постройки) и въ перчаткахъ (фильдекосовыхъ, разумвется); обожателей плейбейскихь, гильдейскихь и дворянскихь, напрашивавшихся въ утъщители повинутой, заброшенной врасавицы, и объщавшихъ услаждать ея одиночество. И повторила эта заброшенная Ирина въ Солигаличъ игру Даши въ Варшавъ, игру въ щелчки. Но тамъ щелчки давались въ носъ одному только юношъ, а здъсь-всъмъ соискателямь, всёмь, кромё одного... съумёвшаго растопить дедяную кору и разбудить синщее сердце красавицы. И то лишь послъ долгой и упорной борьбы. За то же и побъда была полная, блистательная. И трофеи содигаличенаго тріумфатора были несравненно обаятельное, заставляли биться его сердце отъ несравненно большихъ гордости и счастія, нежели трофеи тріумфаторовь римскихъ.

Итакъ, къ 27-ии исдалянь слёдуетъ прибавить еще одну. Спрашиваю: найдется ли нежду служителями Марса и Беллоны коть одинъ такой герой, который быль бы украшень 28-ю медалями? А между служителями Бупидона нашелся: это—вашь покорнёйтій слуга. Чёмь же я не герой? Двадцать восемь кампаній!!!... Хоть куда герой! Вёдь и самъ Александръ Македонскій, этотъ яко бы «великій человёкъ» по мнёнію одного изъ лицъ «Мертвыхъ душъ»; и Юлій Бесарь— великій ли это человёкъ, не могу вамъ доложить, «поэлику» въ «Мертвыхъ душахъ» объ немъ ничего не сказано, — итакъ, ни одинъ изъ этихъ «проевъ» сёдой древности (препочтенная дама) не дёлалъ, сколько мнё это извёстно (съ Квинтъ Курціемъ и Гиббономъ не справлялся, —некогда) по двадцати восьми кампаній. А вашъ покорнёйтій слуга сдёлалъ. Неу-

жели не поставять мив монумента, сирвчь памятника? Это будеть очень не любезно, какъ со стороны потомковъ, такъ и современниковъ. этому я хочу, я требую себъ намятника еще при жизни. Чъмъ же я хуже Виктора Гюго! А въдь ему собираются же поставить памятникъ. Завтра же подаю прошение съ требованиемъ себъ монумента, и чёмъ скорве темъ лучие. Даю на это сроку полгода. «Больно мало», причить г. Миквичить съ братіей. Эдакъ и одну смёту не успветь сочинить. А въдь «смъта-всему дълу голова». Ну годъ и ни дня болье. А не то-жалоба. Да кому? Прошеніе о монументь коть одному изъ тульскихъ мировыхъ. Но разумъется не нъ тому, что обозвалъ шеня скандалистомъ. Ну а жалобу-то кому? Это похитръе; необходимо подумать... Ахъ, кабы процебталь еще и нынъ на Васильевскомъ Острову тоть мировой, что разбираль когда-то сперва собаку съ двумя прохожими, а на самомъ концъ засъданія-меня съ кронштатскимъ мъщаниномъ Филоновымъ (помните, читатель, въ Меа Сигра?). Ахъ, что это быль за мировой! Прелесть! Ераса природы и юриспруденціи! Собаку събль по части разбираній, въ особенности собакь съ прохожими.

Но кончаю эту хронику, эту такъ сказать портретную газдерею съ 28-ю женскими головками, и заключу утвержденіемь, что большая часть этихъ головокъ достойна кисти Грёза или карандаша Греведона. Но повторю: всъ эти сердечныя кампаніи начинались и кончались весьма мирно, безъ всякихъ бурныхъ сценъ, безъ жалобъ, безъ упрековъ и безъ раскаянія. А о какихъ нибудь проклятіяхъ, о вопляхъ, убиваніяхъ или просто побиваніяхъ не было и помину. Одно только было исключеніе «Лидія Звольская» (см. «Зловъщая Комета»). Но иногда не обходилось безъ слезъ, и порою обоюдныхъ и горькихъ. Но въдь слезы-вода, потекуть и высохнуть, не оставя посль себя следовь, кроме сладкихь или горькихъ воспоминаній и сожальній о непрочности земнаго счастія. Прибавлю: не смотря на мои 25 сердечныхъ кампаній, салонныхъ донъжуановскихъ успёховъ я не имёль и не искаль, вромё одного (опять зри «Зловъщую Комету»). Но если не въ салонахъ, то въ сферахъ болъе скромныхъ миж не разъ посчастивилось. А въ этомъ скромномъ міръ несравненно болье неподдъльнаго, натуральнаго, молодаго и свъжаго, искренняго и правдиваго, чёмъ въ бельэтажахъ, гдъ наполовину, если не болье, все-поддълка, фальшь, косметики и вата, а затъмъ-разсчеть, притворство, лицемъріе и ложь, а порою и постыднъйшая разнузданность современныхъ Мессалинъ, или — преданіе себя au plus offrant.



#### ТРИ МАЯКА.

# Къ зловъщей кометъ и къ Потерянному раю.

Да! Три маяка, три женщины возникали на распутіяхъ моей жизни: Александра, Софія и Ольга. Одна — когда я быль еще въ цвётв лёть; другая — когда я перевалился далеко за полдень; третья — когда начался уже мой закать. Была еще одна, тоже Софія, — моя вторая жена. это быль уже не маякъ, а скорже погребальный факель, потому что, послё двухъ предестныхъ, блаженныхъ медовыхъ мёсяцевъ казавшагося счастливаго брака, она заболъла и уже болъе не выздоравливала. Въ продолженім шести лёть танла, какъ свёча, на можкь глазакъ. Въ продолженім шести діть я доджень быль быть зрителемь продолжительной агоніи, должень быль смотрёть, какь медленно погасала молодая жизнь, пока не погасла и не улеглась на въчный покой подъ огромнымъ чернымъ распятіемъ въ Москвъ, среди ограды Алексъевскаго монастыря. Объ этой страдалицъ говорится подробно въ Задушевной Исповъди. Тамъ же говорится мнооого (и еще въ Поддильщиках», «Излюстр. Въст. > 1881 года, ММ 2, 3, 4, 5 и 6) и объ индивидуумъ, который разъ разъигрываль (въ 1847-1854 гг.) почетную, гуманную роль злаго рока и, сь твих вивств, цалача моего, а равно и страдалицы моей жены. Была и еще одна, но уже не маякъ и не факель, а Зловищая комета. Это-Лидія Александровна Звольская (псевдонимъ), которая сперва вознесла было меня высоко, унесла далеко, въ страну огненныхъ восторговъ и наслажденій, недоступныхъ рядовымъ человічества, но, въ то же время, и въ страну бурь и урагановъ; опоила меня до экстаза, до головокруженія, неизвъданнымъ, неизръченнымъ блаженствомъ; и все это для того только, чтобы не давъ остынуть огню поцалуевъ на моихъ устахъ; высохнуть въ моихъ очахъ слезамъ страстной любви и благодарности за минуты счастія, -- сейчась же вызвать потоки разъбдающихъ слезъ неизбывнаго горя и, пряме съ неба, низринуть въ пропасть безвыходнаго отчаннія!.. О, женщины, дщери гръха и тщеславія; неисправимыя бунтовщицы противь святых обязанностей жены и дочери; вёчно покорныя рабыни послёдней моды и щеголянья блестящими уборами, которые наичаще красять однё лишь сомнительныя, поддёльныя прелести, а портять, уродують настоящую молодость и красоту! Поумнёете ли вы когда нибудь? Спадеть ли когда либо съ вашихъ прекрасныхъ (только не у всёхъ) очей густая повязка, сотнанная изъ минутныхъ прихотей и наущеній блуждающаго, хаотическаго воображенія, или изъ возбужденій и алканій ненасытнаго лимфатическаго темперамента, по милости которыхъ зачастую выбираете вы то, что діаметрально-противоположно истинному ващему счастію, въ болёе или менёе близкомъ будущемъ. А въ настоящемъ такъ легкомысленно, такъ близоруко порываете прочныя узы преданнаго вамъ сердца, которое такъ безжалостно, такъ зазорно промёниваете на иминую обстановку перваго попавшагося вамъ на встрёчу бездушнаго, лишь бы позолоченнаго болвана.

И всю эту эпонею изжитыхь мною радостей и невзгодь, восторговь и страданій пряталь я подь вымысломь, подь иллюзіями и псевдонимами; а Лебединую посно глубоко хорониль вы моемь сердцё, и ревниво оберегаль оть чужихь и нескромныхь взоровь... А теперь? Скоро насыплется толстый слой земли надь моимь прахомь и отдёлить экившого оть экивущихъ.... Такь и быть, подёлюсь всёмь этимь изжитымь съ моими читателями передь моимь отъёздомь Туда, передь моимь послёднимь прости. Оставлю за собою, за верхнею стёною моего тёснаго будущаго жилища часть изъ гнета мрачныхь моихь воспоминаній, и частицу изъ сокровища воспоминаній свётлыхь. Но къ дёлу, къ тремъ маякамь моей жизни, къ тремъ женщинамъ.

Во всёхъ трехъ были черты поразительнаго сходства, это — живой, острый и быстрый умъ и необыкновенныя безкорыстіе и честность, и затёмъ черты поразительнаго несходства, какое находится между поэзіей и прозой и еще — между характерами: идеально-прекраснымъ, совершеннымъ, и приближающимся къ совершенству, а наконецъ — далекимъ отъ совершенства.

Начну со второй, съ Софи Генаръ. Это былъ настоящій, безъ всякой посторонней примъси, ангелъ красоты, ангелъ ума, ангелъ доброты, ангелъ непорочности, ангелъ карактеромъ. Въдъ и называлась-то она, въ переложеніи на русскій обычай, — Софъя Ангеловна (sic), да! Крестное имя ся отца было Ангелъ. Само собою разумъется, что у Ангела и родиться долженъ былъ ангелъ. Вспоминаю малъйшія о ней подробности; выхватываю и перечитываю ся письма изъ огромной переписки съ нею за три года. Самое маленькое письмо, прекраснаго, правильнаго мелкаго

почерка, имветь 4 страницы. А большая ихъ часть въ 6, 8 и 12 стр. Въ первый годъ разлуки переписывались мы акуратно разъ въ недълю. Однажды, по случаю побздки моей на заводь, я опоздаль. Боже, какое тревожное письмо пришло отъ нее, съ мольбами, чтобы не повторялась болье такая неакуратность. Hé bien? Эти письма и то, что я слышаль, чего я заслушивался изъ вдохновенныхъ, влюбленныхъ, страстныхъ устъ этой небожительницы, мимолетной гостьи земли (а частицу этихъ вдохновеній послушають и мои читатели Лебединой писни о потерянномо рап, основанной не на финцін, а на подлинномъ моемъ дневникъ двадцатипатильтней давности); все что я читаль въ ея чудныхъ глазахъ, угадывалъ изъ ея движеній, помимо ея пламенныхъ рачей: все это ясно, неопровержимо доказывало, что это была совершенивищан изъ совершеннъйшихъ женщинъ. Тщательно копался я въ воспоминаніяхъ, искаль, шариль и все перешариль въ нихъ: не нашель ни малъйшаго недостатка ни въ физической, ни въ умственной, ни въ нравственной ея красотъ : соверщенство, какъ есть совершенство. Какже помирить это съ извъстнымъ афоризиомъ, сдълавшимся аксіомою : «нътъ и быть не можеть совершенства на земль», оно — такъ. Какже быть? Въдь съ аксіомами не шутять: это-барыни презлющія, преехидныя; тотчась разозлятся и, если не откусять вамь нось, то поподчують васъ страшнъйшею пощечиной, а, не равенъ часъ, расцарапаютъ въ кровь всю физіономію. Ну, Богъ съ вами! успокойтесь, не злитесь на меня, мадамъ аксіоны; сдаюсь, покоряюсь вашему вердикту: Софи Гемаръ не была совершенство, и у ней нашелся недостатовъ, отыскалось но: она, какъ выражаются французы - laissait beaucoup à désirer sous le rapport de la santé. Да! здоровье ся прихрамывало. Но, въронтно, это входило въ планъ, въ расчетъ при созданіи Творцемъ этой физической, умственной и правственной красоты: чтобы любимица его не загостилась на земля, въ юдоли плача, а поскорке возвращалась бы Туда, на родину, въ Творцу и Вседержителю: Онъ скучаль, тосковаль безъ нее и по ней. Да! При созданіи Вселенной, по Шоппенгауеру, вкралась масса недостатковъ, масса громадныхъ міровыхъ НО; при созданін же Софи, помоєму, вкралось только одно, малехонькое но. Ergo: Софи Гемаръ была совершениве самой Вселенной, и это въ силу Шоппенгауеровской, и въ силу моей, Макаровской, системъ... Это върно... Не върите, Оомы невърные? Ладно. А когда прочтете Лебединую писиз о потерянномо рап, тогда, быть можеть, и повърите.

Теперь о другомъ маякъ моей жизни, объ Александринъ Болтиной. Умомъ, сердцемъ и характеромъ вся въ Софи. Симпатическою красотою—

очаровательна, но далеко, далеко не идеалъ красоты, какъ Софи, съ которой только одному талантливому живописцу въ Лондонъ удалось снять портреть, вполев схожій съ своимь оригиналомь. Затёмь всё остальные нортреты и фотографіи, какъ работы ея брата, первокласнаго портретиста и фотографа, такъ и многихъ другихъ талантливыхъ художниковъ; всъ фотографіи и портреты ся, помъщаемые на разныхъ нартинныхъ выставкахъ, далеко, далеко были ниже оригинала. Это было признано тогда въ Брюсселъ всъми, знавшими Софи Гемаръ, и склонявшимися передъ этой неземной, такъ сказать, геніальной красотой. Но чёмъ совершенно разнились между собою эти двъ женщины, такъ это складкою ума. Софи-воплощенная поэзія, которая при просвёчивалась въ умё, въ воображеніи, въ мысляхъ, во взоръ, въ улыбкъ, чувствахъ, въ въ голосъ, въ малъйшемъ ея движеній; отъ макушки до кончика носка. это была высокая поэзія, соединеніе поэзій Байрона, Пушкина и Мицкевича. И, въ этомъ я твердо увъренъ, c'est un des articles de ma foi: женщины, подобной Софи, ибть и не будеть, обойди и перешарь хоть весь земной шаръ. Не спорю! найдете, какъ не найти въ миліардъ земножителей, и не одну, а сотни, тысячи красавиць, укъ какихъ, забористыхъ, первый сортъ; да только не найдете ни одной, у которой было бы лишь одно но, малехонькое, какъ у моей дивной Софи. Поразсмотрите-но хорошенько, построже любую изъ нихъ, коть самую отборную изъ пераъ созданія, изъ подругъ, а чаще изъ игрушекъ, изъ куколокъ нашей жизни; поразглядите-ко попристальное, такъ откроете не одно, а съ поздюжины, а часто и цёлыхъ двё дюжины и хорошо если бы еще малехонькихъ но, а то часто пребольшущихъ НО. Слыхали мы про ебноторыхъ, а иногда и сами видбли этихъ разныхъ ангеловъ благодатных съ одной стороны, а съ другой... какъ бишь?.. Спросите у покойнаго Александра Сергича, автора Онигина, это-по его части.

Итанъ Софи, сверхъ красоты и ума, была высовая поэзія, воплощенная въ женщинъ. Безпрестанно улетала она отъ земли куда-то, въ выси; улетала и уносила меня съ собою въ недосягаемыя пространства, въ безконечность. Александрина была проза, но звучная, гармоническая, проза Шатобріана, Пушкина и Тургенева. Гордо, благородно, величественною постунью ходила она по землъ. Не любила она мечтать и восторіаться. Всегда ровная, благоразумная, осторожная и сдержанная, не только на седьмое, но и на первое небо никогда не заносилась она. — Зачъмъ летать куда бы то ни было, когда наши крылья такія хрупкія, непрочныя: какъ разъ свалищься съ облаковъ и разобьешься въ пухъ и прахъ?—говаривалъ мой первый ангелъ хранитель. Еще: хотя была она

и сущій ангель доброты, кротости и, въ особенности, преданности, но, хотя и ръдко, а проявлялись у нее вспышки, знаки нетерпънія, тогда какъ у Софи, въ продолжении четырехъ мъсяцевъ самаго близнаго съ нею общенія, я ни разу не зам'єтиль, не уловиль у не только ни одной всиышки, но даже ни единаго знака нетерпёнія; это было воплощение ангельскихъ протости и незлобія, при блестящемъ, живомъ умъ. Напротивъ, она постоянно сдерживила мою пылкую, вспыльчивую, почти нервную натуру, употребляла всю силу своего обаянія и вліянія на меня, чтобы исправлять, улучшать и мое внутреннее и внёшнее я; заокруглять мои манеры и движенія. При мальйшемъ рызкомъ, желчномъ моемъ словъ, или слишкомъ сильномъ сарказмъ и отзывъ о комъ нибудь, даже заслужившимъ это, Софи взглянетъ на меня такимъ внушительно-ласковымъ взглядомъ, покачаетъ своею прелестною головкою, быстро наложить на мой роть свою маленькую, бълорозовую ручку, а пальчикомъ другой погрозить на меня, но такъ мило, такъ любовно и промодвить своимъ меточинескимъ голосомъ:

— Tout doux, tout doux, cher ami (потише, потише, дружовъ), умърь свой пыль, побереги его для поцълуевъ, которыми поишь ты меня, и которыми упиваюсь и тавъ беззавътно.

Все это строго-исторически върно. Клянусь въ томъ будущимъ моимъ свиданіемъ съ Софи Тамъ!

— A bas, ma plume! tu ne peux pas aller plus loin, — такъ говорилъ я въ моей *Poème d'amour*, такъ скажу и теперь. Но нътъ! Еще нъсколько словъ.

Въронтно найдутся философы и моралисты, по весьма удобной системъ на чужой счетъ, которые скажуть мнъ: «счастливецъ! стыдись роптать на свою судьбу; напротивъ: благодари ее за то, что она позволила тебъ полною чашею испить счастіе быть страстно, беззавътно любимымъ прекраснъйшею, совершеннъйшею изъ женщинъ. Влагодари и благословляй ее за тъ четыре мъсяда неописуемаго, нечеловъческаго блаженства, блаженства безплотныхъ духовъ на Небъ. Стыдисъ, стыдисъ роптать и убиваться воспоминаніями объ утраченномъ счастьи, объ отлетъвшемъ ангелъ, и постарайся сдълаться достойнымъ соединиться съ нимъ Тамъ, у подножія трона Вседержителя, чтобы вивстъ съ безплотными духами пъть хваленія премудрости, всемогуществу и благости Предвъчнаго».—А я отвъчу вамъ, философамъ и моралистамъ: — Можно ли назвать счастливымъ того усталаго путника, изнемогающаго въ знойной и безводной пустынъ, томимаго смертельною жаждою; назвать счастливымъ за то, что поднесутъ къ его воспаленнымъ, запекшимся губамъ

нубокъ освёжительнаго нектара; дадутъ ему отпить глотокъ и, вырвавъ у него изъ рукъ этотъ кубокъ, выльютъ на распаленную землю божественное питье, позволквъ ему не утолить, а только пуще разжечь пожирающую его жажду? Можно ли назвать его счастливымъ?

Что до третьяго манка, до Ольги, то объ этомъ — въ последней книгъ. Снажу теперь линь одно: очень, очень умна, природнаго ума—налата. Очень добра, до экзажераціи честна и безкорыстна, собою очень красива—была; но... laisse beaucoup à désirer sous le rapport de l'éducation et de l'instruction. Потомъ, вследствіе тяжелыхъ, постоянно гнетущихъ, порою страшныхъ обстоятельствъ, она перестала быть маякомъ. А въ настоящую минуту я уже и не знаю, кто она?... Отъ міра, или не отъ міра сегоо?.. Вотъ уже 22 мёсяца, какъ занемогла она раздраженіемъ нервовъ... Болёзнь мучительная, страшная, неподдающанся леченію на тульскихъ, ни московскихъ, ни петербургскихъ врачей... Но довольно... Ни полслова болёв... Мнё и такъ не въ моготу. Крёплюсь, мужаюсь, но боюсь, чтобы не упасть...



Извлечение изъ: «Мом Семидесятильтния Воспоминания ».

# ИСТОРІЯ СОЗДАНІЯ СЛОВАРЕЙ

Н. МАҚАРОВА.

Приложение къ "Моимъ семидесятильтнимъ воспоминаніямъ "...



#### необходимое объяснение.

Когда я началь приготовлять къ печати эти Воспоминанія, т. е. дълать многочисленныя прибавленія, цълыя главы и книги къ тому, что было написано мною 20 лётъ тому назадъ, я сейчась же обратился къ издателю одного Московскаго журнала съ предложениемъ моего труда, пославъ при этомъ и конспекть всего сочиненія, изъ котораго можно было судить о достоинствъ матеріяла моихъ записокъ. Прибавилъ еще въ письмъ, что о какомъ либо гонораръ нътъ и помину: пусть самъ издатель разсудить, чего стоить мой трудь, я на все согласенъ. Даже, если найдутъ, что онъ ничего не стоитъ. кромъ чести напечатанія, я и на то согласень. Проходить двъ недъли, ни строчки отвъта, хоть бы изъ въжливости. Питу такое же письмо къ издателю одного изъ Петербургскихъ журналовъ, — такой же результать. Не унываю и, по моему правилу - пробовать счастье до трехъ разъ, пишу въ Петербургъ къ издателю одного научнаго журнала. Черезъ нъсколько дней получаю отъ него прелюбезное письмо, съ изъявленіемъ полной готовности помъстить мой трудъ въ своемъ органъ. Это быль эксь-военный человёкь, и потому привыкь быть всегда и со всеми вежливымь и, ни въ какомъ случае, не отвечать на въжливость невъжливостью. Въ своемъ письмъ, между прочимъ, съ военною откровенностью высказаль онъ мнё слёдующее: «Долгомъ считаю предупредить, что страницы, не имъющія ни историческаго, ни бытоописательнаго значенія, я выпущу». Туть я поняль, что «Мои Воспоминанія» нисколько не подходять къ его научному органу, и потому ръшился издавать на свой счеть, о чемь сейчась же извёстиль любезновъжливаго издателя и поблагодарилъ его за любезный отвъть и за откровенность. Еще въ письм' издателя находилось сл'ьдующее заявленіе: «Понадобится сказать въ предисловіи отъ

третьяго лица о личности автора и о его лексикографической дъятельности».

Вполнѣ вѣрное и справедливое заявленіе: до сихъ поръ знають, что я составиль и издаль недурные словари, а какъ они издавались и чего мнѣ это стоило, это неизвѣстно. Для пополненія этого пробѣла я перепечатываю брошюру: Исповодо, но уже не предсмертная, изданную въ 1867 году, и еще статью: Путешествіе по дебрямъ славянской апатичности, дряблости и псевдомеценатства, помѣщенную въ 131 номерѣ С.-Петербург. Вѣд. за 1880 годь. Въ этихъ двухъ статьяхъ изложено рельефно и вѣрно исторія созданія раціональной лексикографіи, въ чемъ убѣдятся мои читатели, прочитавъ эту брошюру.

Помѣщаю еще здѣсь двѣ мои кореспонденціи въ голосѣ, благодаря которымъ удалось мнѣ избавить въ 1863 году 1-й мировой участокъ тульскаго уѣзда отъ окончательнаго ограбленія его хищнымъ письмоводителемъ мироваго посредника.

## исповъдь

## но уже не предсмертная.

COBPEMENHAR

#### ГРУСТНАЯ ПОВЪСТЬ \*).

Недавно вышель въ свъть «Полный Русско-Французскій Словарь» Н. П. Макарова. Появленіе этого учебнаго труда встръчено было весьма лестными отзывами въ петербургской журналистикъ. Самое же имя издателя пробуждаетъ нъкоторыя воспоминанія о давно-прошедшихъ событіяхъ, не имъющихъ впрочемъ ничего общаго съ настоящею учебнолитературною дъятельностью автора Словаря.

Лътъ 11 тому назадъ была напечатана въ «Сиб. Въдом.» одна музывальная программа, изъ которой явствовало, что нъкто Н. Макаровъ,
страстный любитель музыки восбще, а гитары въ особенности, желая
поднять свой любимый, но упавшій инструментъ и вдохнуть въ него
новую жизнь и силу, вознашёрился устроить музыкальный конкурсъ и
назначиль изъ своего кошелька слёдующія преміи: двъ (въ 800 и 500
франковъ)—для композиторовъ за лучнія сочиненія для гитары, и двъ
такія же для гитарныхъ мастеровъ за наилучше-сдёланныя гитары. Потомъ, нёсколько мёсяцевъ спустя, въ той же газетъ появилось статьи
Дамке о пребываніи г. Макарова заграницею, именно въ Брюссель, о
данномъ имъ тамъ концертъ, о его конкурсъ и вообще о его музывальныхъ успёхахъ заграницею. Затъмъ, по возвращеніи г. Макарова въ
С.-Петербургъ, имя его, какъ любителя-виртуоза, встрёчалось на афишахъ нёкоторыхъ благотворительныхъ концертовъ. Далье, въ конць 1859
тода помёщено было въ покойномъ «Современникъ» довольно большое

<sup>\*)</sup> Печатана отдъльной бронкорой въ 1867 г.

беллетристическое произведение, подписанное именемъ г. Макарова, надължиее тогда много шума и навлениее на автора множество самыхъ здыхъ нападокъ и насмъщекъ. Наконецъ, на рубежъ 1861 и 1862 годовъ появилось въ печати еще нъсколько романовъ (Банкъ Тщеславія, Побъда надъ Самодурами и Двъ Сестрички) все того же г. карова, изъ которыхъ второй вызваль, тоже въ одномъ покойномъ журналь, самыя злыя и грубыя нападки или, вкриве, ругательства, въ родъ слъдующихъ: «Авторъ заслуживаетъ медицинское пособіе. — Авторъ напаль на нась съ пъною у рта»... и множество подобныхъ любезностей и обращиковъ въжливости. Потомъ смолкъ и этотъ гулъ, и за повтореніемъ имени г. Макарова последовало глубокое пятилетнее молчаніе: нигав не говорилось объ немъ ни слова, ни полслова, ни четверть слова: точно онъ въ воду канулъ. И вдругъ это имя является снова и заставляеть говорить о себъ. Изъ всего того, что до сихъ поръ было немъ писано другими и что онъ самъ написаль, явствуеть, что неутоминый діятель на саныхъ разнообразныхъ и разнородныхъ прищахъ, а именно: военномъ, откупномъ, музыкально-артистическомъ, заводскомъ, коимерческомъ (онъ быль впродолжения нёсколькихъ лётъ СПб. кунцомъ), беллетристическомъ, журнально-кореспондентномъ (онъ быль ивкоторое время кореспондентомь «Голоса») и наконець учебно-литературномъ.

Зная хорошо автора недавно изданнаго Словаря, я считаю своимъ долгомъ сообщить объ немъ сдедующія любонытныя и исторически верныя подробности. По переселении своемъ изъ деревни, съ 1855 и по 1860 годъ г. Макаровъ жилъ въ С.-Петербургћ по своимъ заводскимъ и коммерческимъ дёламъ и для воспитанія своихъ дётей. Жиль онъ не очень открыто, свромно, но съ комфортомъ: имблъ корошую квартиру, свой экипажъ, ложу въ Итальянской оперъ и одинъ вечеръ въ недълю, на который собирались его многочисленные и хорошіе знакомые. Но съ 1859 года жизнь его совершенно измънилась: ни вечеровъ, ни своего экипажа. ни ложи въ Итальянской оперъ. Самъ онъ сталъ ръдко показываться въ обществъ, а наконецъ и совсъмъ пересталь бывать даже у своихъ поротнихъ знакомыхъ. А если вто и встречаль его случайно, видимо тяготился этими встръчами, быль молчаливь, озабочень и печадень до угрюмости: видно было, что его сибдала какая-то тайная скорбь. Наконецъ въ концъ 1860 г. онъ вдругъ исчезъ изъ С.-Петербурга: нккто не зналъ куда, зачёмъ, надолго ли убхалъ онъ, потому что онъ ни съ къмъ не простился и потомъ ни въ кому не писалъ ни слова. Такъ прошло щесть лътъ. Наконецъ весною 1866 года, вто-то изъ его

знакомыхъ неожиданно встрётиль его въ С.-Петербургё на улицё; начались объятія, лобызанія, распросы. Вёсть эта скоро разнеслась между его знакомыми и нёсколько дней послё этой встрёчи нёкоторые изъ нихъ собрадись у него въ номерё гостинницы. Но Воже! какую страшную перемёну нашли въ немь: постарёль, похудёль, съ болёзненнымъ, изнуреннымъ и убитынъ лицомъ, на которомъ лежала печать глубокихъ, невыразимыхъ душевныхъ страданій и безнадежнаго, безвыходнаго горя и отчаянія. Онъ былъ слишкомъ взволнованъ, чтобы послёдовательно и ясно отвёчать на наши вопросы, горе душило его и онъ сказалъ слёдующее:

— Для чего я оставиль Петербургь, гдѣ я быль, что дѣлаль, отчего не писаль никому, разсказать вамь все это у меня не достанеть ни силы, ни твердости. Но все это я изложу на бумагѣ, дамъ перецисать съ этого иѣсколько экземиляровъ и разошлю къ вямъ; а вы дадите прочитать это другимъ моимъ знакомымъ.

И онъ сдержалъ свое объщание: многие изъ его приятелей получили отъ него историю послъднихъ лътъ его страшно испытуемой жизни, и при этомъ онъ приложилъ главу изъ неизданнаго своего романа «Под-дъльщики», которая очень върно и ярко изображала одинъ эпизодъ изъ его недавно прошедшей жизни. Духъ захватывало, сердце надрывалось отъ болъзненнаго чувства сострадания у каждаго, читавшаго эту грустную повъсть, пропитанную кровавыми слезами невыразимыхъ душевныхъ мукъ и безутъшнаго горя. Нъкоторые изъ его приятелей предложили ему нацечатать эту, какъ онъ озаглавилъ, «Предсмертную Исповъдъ».

— Да сохранить меня Богь оть этого! Меня терзали, мучили, казнили. Осмёнли даже мою никому не вредящую страсть къ музыке, глумились надъ моимъ безкорыстнымъ служеніемъ искусству, сравнивая меня съ Ваньвою (въ № 272 «Стверной Пчелы», 1859 г.), съ Абиссинскимъ маэстро (въ № 15, «Искры» 1860 г.), гдё помъстили меня менду мъднымъ носорогомъ и оловяннымъ осломъ; и Богь знаетъ еще съ къмъ. Да видно я живущъ: всячески убивали меня, но не убили; я все еще живу, тружусь, работаю безъ отдыха и безъ устали и не теряю надежды сдълать что нибудь полезное для общества. Но если теперь напечатать мою Предсмертную Исповодъ, то меня навёрное убъютъ; никто не повёрить моей искренности и всё закричатъ: «реклама, реклама, шарлатанство»... и добьють меня окончательно, Не réhabilitation, а соир де grâce можетъ вызвать моя Предсмертная Исповёдь. Смерть для меня не страшна, напротивъ... Жаль только одного: она номёшаетъ мнъ приложить пріобрётенную уже мною лексикографическую опытность къ со-

вершенію другаго важнаго и обширнаго труда: «Полнаго Французско-Русскаго Словаря», который, во многихъ отношеніяхъ, далеко превзощель бы мой теперешній трудъ, надъ которымъ я только учился и, подъ конецъ, вполнъ изучилъ дъло лексикографіи.

Мы не настапвали. Вскоръ послъ того началось печатание словаря; потомъ въ февралъ сего 1867 г. вышла изъ печати первая часть его и объявлена была подписка. Подписчиковъ явилось мало: не довъряли и думали, что надувають, дали 1 часть, а вторая не выйдеть, какъ это делами уже съ публикою многіе издатели. Наконець, въ іюле вышла и вторан часть. Всё мы, знакомые автора Словари, со страхомъ и трепетомъ ожидали, какой пріемъ сделаєть его труду наша періодическая пресса и публика. Мы знали, какой высоко-гуманный и нравственный и, съ тёмъ вийстй, какой грозный вопросъ соединенъ быль съ успёхомъ этого громаднаго труда, задуманнаго и оконченнаго въ три года и однимъ лицомъ. Что же касается самого автора, онъ быль покоенъ; все уже въ немъ перекипъло, застыдо и замерло, и онъ съ непоколебимою твердостью и непреклонною ръшимостью ждаль послъдняго ръшенія-быть или не быть... Наконецъ судьба улыбнулась многолётнему страдальцу и отвела мечь Дамовла, висъвшій виродолженій семи лъть надь его головою. Нъкоторыя газеты отозвались о немъ весьма одобрительно. А въ іюньской внижив «Журнала Мин. Нар. Просв.» была посвящена большая статья подробному разбору этого капитальнаго труда. Въ этой дельной статье, написанной спеціалистомъ, отдавалась полная справедливость заслугъ лексикографа. Затъмъ въ № 188 «Journal de St-Pétersbourg», помъщена была превосходная статья, отличающаяся безпристрастнымъ и благороднымъ тономъ и заключающая самыя лестныя похвалы обширному труду и той огромной пользъ, какую этотъ трудъ долженъ принести образованной публикъ.

По ибрб появленія этихъ благосклонныхъ отзывовъ мы оживали, дышали свободное и съ радостью заибчали, какъ разъяснялось мало по малу и чело нашего прінтеля и сбогали съ него мрачныя тучи хронической печали. И онъ оживаль подъ благотворнымъ, живительнымъ вліяніемъ отдаваемой ему справедливости.

Въ настоящее время Словарь одобренъ ученымъ комитетомъ Мин. Нар. Просвъщенія.

Все это вижеть обезпечило вполны успых Словаря и отвело ему почетное изсто между учебными книгами. И потому знакомые г. Макарова снова обратились къ нему съ просьбою — разрышить напечатаніе

присланныхъ имъ статей: Предсмертная Исповидь и Глава изъ ненапечатаннаго романа, предпославъ имъ краткое изложение предшествующихъ событій. Долго колебался онъ, не ръшался и все еще боялся чего нибудь недобраго со стороны нёкоторыхъ безпардонныхъ борзописцевъ, для которыхъ нътъ ничего святаго, почетнаго и неприкосновеннаго; боялся канихъ нибудь новыхъ обвиненій, насижнекъ и оскорбленій, которыхъ и такъ уже не мало перенесъ онъ. Просьбы эти возобновлялись нъсколько разъ; и наконецъ удалось побъдить его неръшительность и получить давно желаемое решеніе-напечатать то, что прислаль онъ намъ весною 1866 г. Изъ этихъ двухъ статей видно, до чего можетъ довести фанатизмъ честности и какую несокрушимую волю и настойчивость способень вдохнуть онь. Только этимь и можно объяснить возможность сдълать одному въ три года то, что другіе и вдвоемъ не успъли бы сделать въ щесть леть. Намъ остается только пожелать отъ всей души, чтобы не заподозрили святую истину нашихъ словъ и чистоту нашихъ намъреній, и чтобы разсказъ этоть получиль характерь не coup de grâce, а réhabilation въ полномъ смыслъ этого французскаго слова. Будемъ ожидать и надъяться... Какъ ни тонетъ иногда правда въ омутъ пристрастія и несправедливости, но рано ли, поздно ли, она всплываетъ на верхъ. Иначе справедливость была бы однимъ пустымъ звукомъ, ложнымъ миражемъ.

#### предсмертная исповъдь.

#### конфиденціально (для не многихъ).

Въ началъ пятидесятыхъ годовъ былъ затъянъ одинъ уголовный процессъ, долженствовавшій кончиться или оправданіемъ, или смертнымъ приговоромъ. Процессъ этотъ былъ затъянъ Макарову его злою судьбою, въ лицъ одного недобраго человъка, отравившаго половину его жизни. Ходъ этого процесса былъ изложенъ имъ и напечатанъ въ ноябрьской книжкъ Современника за 1859 годъ, подъ заглавіемъ Задушевная Исповодъ. Это была, такъ сказать, его жалоба въ судъ общественнаго мнънін; жалоба, которая встрътила въ изкоторой части публики полное сочувствіе, выразившееся во множествъ писемъ, полученныхъ имъ съ разныхъ концовъ Россіи. Но не то встрътиль онъ у нъкоторыхъ другихъ лицъ: вивсто сочувствія къ его несчастіямъ и страданіямъ, на

него посыпались насмёшки, обвиненія, оскорбленія. И при этомъ было забыто и попрано самов первов правило гуманности и великодушія, такъ корошо выраженное французскимъ стихомъ: Respecte le malheur, si tu ne le plains pas (уважай несчастів, если не сожалёвнь о немъ), и еще русскою пословицею: Лежсачаго не бъють. Таков жестокосердів въ отношеніи его можно объяснить разв'є только тёмъ, что гораздо удобніве принять сторону сильнаго противъ слабаго, чёмъ наобороть. Между тёмъ сбылись съ ужасающею точностію пророческія опасенія, высказанныя въ слёдующихъ строкахъ Задушевной Исповеди:

«Передо мною — перспектива разоренія и нищенства съ двумя малодътними дътыми» (стр. 206).

Въ 1860 году, вслёдствіе денежнаго кризиса, онъ долженъ быль ликвидировать свои дёла и продать свой заводь за 4000 р. тогда какъ онъ стоиль ему 40,000 р., и когда еще въ 1859 году онъ могъ взять за него 20,000 р. Макаровъ быль въ конецъ разоренъ. Отдавъ своимъ кредиторамъ эти деньги и свое костромское имъніе (120 душъ), онъ затёмъ остался, на старости лётъ, безъ состоянія и безъ куска собственнаго хлёба. Мало того: на немъ оказался еще значительный долгъ.

Итакъ, процессъ Макарова съ судьбою быль рёшенъ противъ него, и грозный приговоръ произнесенъ передъ судомъ его собственной и неумолимой совъсти, приговоръ заранъе формулированный въ слъдующихъ строкахъ Задушевной Исповъди:

«Разореніе я перенесь бы съ твердостію и теривніемъ; но несостоятельность — никогда. Поэтому одна мысль о банкрутствъ леденила мнъ кровь и възда на меня холодомъ могиды» (стр. 202). Оставалось исполнить этотъ приговоръ, къ чему все уже было готово. Но, всябдствіе посъщенія его тогда однимъ изъ его старыхъ товарищей и прінтелей, и длиннаго, откровеннаго съ нимъ разговора, онъ согласился пріостановить исполнение приговора, и пристановить не изъ малодушнаго желанія выторговать себъ нъсколько льть разбитой и опозоренной банкротствомъ жизни, а для того, чтобы взять апеляцію на приговоръ судьбы, въ надеждъ выиграть дъло въ высшей инстанціи, т. е. изыскать средства заработывать деньги на уплату своего долга и на свое прожитье. Съ этою цёлію въ ноябрё 1860 года онъ уёхаль въ небольmoe тульское имъніе его дътей (124 души). Отдохнувь и собравшись съ силами отъ потрясенія, произведеннаго страшнымъ переворотомъ въ его жизни, онъ взялся за неро и въ короткое времи написаль и всколько романовъ и еще заготовилъ планы для многихъ другихъ, надъясь, что они будуть поивщены въ журналахъ. Съ этою надеждою прівхаль онъ

въ Петербургъ въ сентябрт 1861 года и обратился къ нокойному Добролюбову, который принялъ его съ своею обычною привътливостію, и съ нолнымъ сочувствіемъ взяль у него одну изъ его рукописей и просиль придти черезъ недтлю за отвътомъ. Но черезъ недтлю Добролюбовъ лежалъ уже въ постелт, а еще черезъ недтлю его не стало на свътъ. Со смертію этого прекраснаго молодаго человтка умерли и встогдащнія надежды Макарова: ни одинъ изъ его романовъ нетолько не быль напечатанъ, но даже не быль принять къ разсмотртнію. Нездакомый съ условіями литературныхъ успъховъ, онъ ртшился издать на свой счетъ, и три изъ своихъ романовъ напечаталъ на свои последнія средства. Одинъ изъ этихъ романовъ былъ не разобранъ, а разруганъ. Другіе же два не удостоились и этой чести: объ нихъ ни слева не говорилось въ журналахъ; даже не было упомянуто о ихъ выходт. И потому романы его были убиты при ихъ рожденіи и погребены въ книжн. магазинть Овсянникова, безъ малтайшей надежды на воскресеніе, т. е. на продажу

Итакъ, апеляціонное дъло Макарова было проиграно во второй инстанціи, и смертный приговорь останся во всей своей силь. Убитый, уничтоженный, въ страшномъ состоянія духа возвратился онь въ деревню, тдъ болъе года походиль на живаго мертвеца и ни за что не могь приняться. Но онъ ръшился еще разъ отсрочить исполнение грознаго приговора: его ужасала не смерть, которая, напротивъ, была бы для него благодъяніемъ и усповоеніемъ отъ ужасныхъ потерь и душевныхъ страданій, громоздившихся и позади, и впереди его, и сдълавшихся наконецъ безотвязными спутниками, назойливыми гостями его измученной жизни. Ужасала же его мысль, что на его честное имя, на его окровавленныя кости ляжеть позорь несостоятельности, съ которою не могь онь ни примириться, ни свыкнуться. Уже давно созналь онь необходимость поднаго русско-французскаго словаря, и въ немъ зръда мысль составленія такого словаря. Черезъ полтора года послів несчастной своей поъздки въ Петербургъ, онъ приступилъ къ осуществленію этой нысли: это была его апеляція въ выслиую и послыднюю инстанцію.

И воть онь заскав за громадный, головоломный трудь и тёмь болке тижелый, что работая въ деревий, ему не съ кёмь было посовътоваться, кромъ груды разныхъ словарей, которыми онь быль обложень. Вставаль онъ въ 6 часовъ утра, ложился въ 11 вечера. Изъ этихъ 17 часовъ только два съ половиною употреблялись на отдыхъ, который состоиль въ получасовомъ упражнении музыкою, и въ двухчасовомъ чтени газеты. Но и это чтение состоило въ свизи съ его лексикографическими занятиями. Нарочно для этого выписываль онъ Journal de St-Pétersbourg,

который читаль съ напряженнымъ вниманіемъ въ отношеніи французской терминологіи и фразеологіи, и почти ежедневно вписываль въ свой словарь по нёскольку французскихъ переводныхъ словь, или по нёскольку оборотовъ и фразъ. Другаго отдыха онъ не допускаль и не понималь. Онъ считаль, что онъ не долженъ имёть никакой собственности, ничего своего: его время, труды, голова, руки, ноги, тёло, вся его кровь принадлежить его кредиторамъ, въ рабствъ у которыхъ долженъ онъ находиться до тёхъ поръ, пока не уплатить имъ последней копьйки своего долга. Внъ этой уплаты одна только смерть могла бы прекратить это рабство. Для него, каторжника своихъ правиль, убъмденій, обязательствъ и своей неумолимой совъсти, не было даже праздниковъ, какъ для обыкновенныхъ каторжниковъ: и въ Рождество, и въ Новый годъ, и въ Свътлое Воскресенье онъ все такъ же работаль отъ 6 часовъ утра и до 11 вечера.

Съ одной стороны, такая усиленная работа была для него вродъ хлороформа, или, върнъе, опіума: поглощая все его существо, она отвлекала его мысли отъ его жизненной обстановки, которан съ каждымъ мъсяцемъ ухудшалась и становилась мрачибе, тошнительное вслодствие переворота въ жизни русскихъ дворянъ землевладбльцевъ. Съ 1861 г. доходы съ имъній стали уменьшаться и упали наконецъ до одной трети прежняго дохода. Но при его умъньи отказывать себъ во всемъ и переносить величайшія лишенія, онъ могь бы еще существовать и съ третью прежняго дохода. Но онъ долженъ быль посылать большую часть его въ Истербургъ на содержание сына студента. И затвиъ на его собственное прожитье оставались самыя скудныя крохи. Сперва отпустиль онь человъка, потомъ повара, такъ что въ домъ у него осталась одна женщина, исправлявшая должность и дакея, и кухарки, и прачки. Однимъ словомъ, содержаніе его сдёлалось хуже, чёмь было содержаніе его прежнихъ слугь: и вль онь, и одвть онь быль хуже ихъ... Съ другой стороны, необычайно усиленныя его занятія и сидачая жизнь начали гибельно отражаться на его здоровьв. Сперва появились бользненныя схватки въ поясниць, потомъ сильньйшія головныя боли; но онъ не обращаль на это вниманія, побеждаль въ себё чувство физической боли и продолжаль работать попрежнему. Наконецъ, черезъ полтора года такой каторги произошель взрывь бользии. Онь поспышиль въ Тулу: оказалось сильвъйшее воспаление; поставили множество піявокъ. Это облегчило его и остановило дальнайшее развитіе болазни. Отдохнува ва Тула одина день, онь возвратился въ деревию, гдъ отдохнуль еще часа три въ постель и потемь, сгорбленный, сморщенный, снова за геркулесовскій трудь. Но

что всего болье ужасало его, такъ это возможность потерять зрвніе, которое ослабьло такъ, что однихъ очковъ было мало: онъ употребляль еще лорнетку. Потомъ и этого было недостаточно для разобранія мелкаго шрифта нъкоторыхъ словарей: онъ прибъгнуль къ большому увеличительному стеклу.

И такая жизнь прододжалась около трехь лёть. Правда, онь могь бы кончить свой трудь гораздо ранёе, еслибы онь работаль не такь добросовёстно и довольствонался тёмь, чёмь довольствуется большая часть различных дёятелей, а именно: работать по крайнему уразумёнію и не убиваться судорожно-напряженнымь вниманіемь о томь, чтобы сдёлать сколь возможно лучше. Медленно подвигаясь впередь по алфавитному лексикографическому пути, онь безпрестанно возвращался назадь, исправляль или пополняль то, что было сдёлано. Есть множество словь, какь напр. Время, Выходить, Взять, Дъло, Мпсто и мн. другихь, къ которымь возвращался онь болёе двадцати разь, наполняль запасные столбы и потомь дёлаль еще приклейки снизу, сверху и съ боковь. Сколько разь случалось, что ночью, въ просонкахь, ему приходило на мысль слово, обороть или фраза. Онь сейчась же зажигаль свёчу, вставаль, справлялся съ написаннымь и вписываль эти слова, если они не были вписаны.

Наконецъ трудъ его конченъ. Онъ сделаль новый долгь, чтобы издать его и, сверхь того, разстроиль свое здоровье и нажиль ивсколько хроническихъ недуговъ. И теперь настала для него минута грозная, торжественная, минута окончательного суда его апелляціонного дпла и произнесенія окончательнаго надъ нимъ приговора: быть или не быть. Судь присяжныхь, это — вся русская читающая и въ особенности учащаяся публика. Прокуроръ-обвинитель — его собственная совъсть, не допускающая никакихъ облегчительныхъ обстоятельствъ, кромъ одного: всецвлой уплаты его долга. Постановители и произносители приговора, это — русская періодическая пресса, у которой онъ просить не похваль, нъть! а суда, хотя бы и строгаго, но справедливаго. Пусть удостоять его трудь разбора, но да не убивають его нымъ порицаніемъ и голословною бранью или, что еще хуже, гробовымъ молчаніемъ, какъ это дёлали съ его прежними литературными произведеніями, написанными и изданными не изъ спекуляціи и не изъ тщеславія, а для избъжанія несостоятельности, т. е. для спасенія своей чести и жизни. Страшное, ожесточенное гоненіе выдержаль онь впродолженін нізскольких літь. Все было въ союзії съ его злою судьбою и противъ него. Печатнымъ насмёшкамъ и оскорбленіямъ не было конца.

Его ставили на одну доску съ самыми осивянными, ошиванными и непочетными именами, съ героями наглаго шарлатанства, жалкой бездарности и самыхъ постыдныхъ проделовъ. А за что?.. Никому не сдъдаль онь умышленно зла; никому ни вь чемь не мъщаль; не перебиваль дороги. Совъсть его чиста и не упрекнеть одномъ дурномъ дъль, ни въ одной неблагородной мысли, отъ которой бы онъ могь покрасивть; не упрекнеть ни въ чемъ, кромъ невольной, независившей отъ него несостоятельности, для которой эта совъсть неумолима и безпощадва. Если же и можно за что упрекнуть его, то развъ за то, что очъ не всегда умълъ быть хладнокровнымъ, за то, что не могь переносить равнодушно незаслуженных оскорбленій, за то, что слишкомъ строго понималь законы чести, и наконецъ за то, слишкомъ страстно любилъ правду, повлонялся ей и высказываль ее всегда и встмъ, и даже печаталь, не щадя самого себя и сознаваясь отпровенно въ своихъ прошедшихъ ошибкахъ и увлеченіяхъ. Но развъ это такіе пороки, развів это преступленія, за которыя слідуеть лишить честнаго человъка права на всякое снисхождение, права на безпристрастный судь, на заявление своей дъятельности, на честный трудъ; такъ сказать, дышать воздухомь и пользоваться свътомь и тепломо, которые должны быть достояніемь всего живущаго. Но у него именно оспаривали и отнимали всъ эти права, лишая его малъйшаго поощренія, убивая въ немъ всякую надежду на успъхъ, всякую охоту трудиться и ставя его, такъ сказать, вий закона, вий всякаго суда и разбора. Его только обвиняли и оскорбляли, но ни одного голоса не раздалось въ его защиту. Никто не подумаль о томъ, OTP легче, какъ быть обвинителемъ и хулителемъ, и что, съ другой стороны, если и трудиве, то гораздо почетиве роль защитника или безпристрастнаго судьи. Неужели и въ этомъ торжественномъ случав, когда двло идеть о спасеніи чести и жизни гражданина и семьянина, и когда для этого спасенія требуются не подписки, не пожертвованія, не благотворительные спектакли, а только добросовъстная оцънка добросовъстнаго труда, въ которомъ нуждается вся Россія; неужели и теперь ему тоже будеть отказано въ судъ и въ правдъ? Неужели придется допустить грустную мысль, что у насъ въ Россіи съ честнымъ человъкомъ постунають иногда гораздо хуже, чёмь поступають съ величайшимъ преступникомъ и злодбемъ на западъ, гдъ не отказывають ему ни въ судъ, ни въ правдъ, ни въ защитникъ, ни въ снисхождении къ облегчительнымъ обстоятельствамъ? О, да минуетъ его эта горькая чаша, которыхъ и такъ уже много испиль онъ до дна.

Слишкомъ шесть лёть прошло со времени его разоренія и нищеты. Молча страдаль онь и несь тяжелый кресть, который нёсколько разь грозиль раздавить его. И во время этого длиннаго, мученическаго пути ни оть кого ни одного утёшительнаго слова, а напротивь: потёшались бросаніемь въ него грязью и камиями, и увеличивали до-нельзя тяжесть и безь того тяжелаго креста, и трудность тернистаго пути, а въ особенности трудность борьбы съ усталостію и съ отвращеніемъ къ жизни. Но наконець пробиль урочный чась, когда дальнёйшее молчаніе сдёлалось для него невозможнымь, и онь рёшается прервать его отчаяннымь воплень погибающаго, который взываеть о помощи и спасеніи не оть смерти, которой онь не боится, а оть пытки несостоятельнаго должника. Изданіемь своего лексикографическаго труда онь взываеть къ русской публикь: пусть рёшить она, чего онь стоить и чёмь должно быть это воззваніе — его спасительного или предсмертного исповоюю.

#### ГЛАВА XIV. (изъ неизданнаго романа).

#### На дорогѣ въ вѣчность.

Мы оставили Дебрина въ безвыходномъ положеніи, которое не улучшилось. Сверхъ разоренія, ему угрожаль позоръ несостоятельности. Воть чего не могла вынести его честная душа, и что терзало и жгло огнемъ пытки его умъ и душу. Мысль о неизбъжномъ банкротствъ парализировала всъ его способности, убивала въ немъ всякую дъятельность. Онъ не могъ ни за что приняться, потому что ему повсюду чудились стращныя слова: банкротство, банкрутъ. Раскроетъ книгу: буквы прыгаютъ въ его глазахъ и образуютъ изъ себя все одни и тъ же слова: банкротство, банкрутъ. Примется за музыку — и струны, казалось, звучатъ словами: банкрутъ. Вздумаетъ писать — и перо, словно околдованное, пишетъ: банкрутъ.

Голова его пылаетъ, а по тълу пробъгаетъ дрожь...

Онь выйдеть на улицу, пойдеть скорыми шагами по тротуару, доберется до Невскаго Проспекта, надъясь освъжиться и забыться въ толив пътеходовъ. Но и тамъ ему мнится, что каждый прохожій, при встръчь съ нимъ, говорить: банкрутъ... И онъ еще скоръе возвращается домой, и потомъ цълую недълю никуда ни шагу. Ляжеть на диванъ и лежить по цълымъ часамъ въ лихорадочномъ забытьи. А въ головъ его, точно удары молота, раздаются слова: банкруть, банкруть. Потеряль онь и сонь, и аппетить и сдёдался скелетомь. Смертельная тоска внилась ему въ сердце, и день и ночь грызла его безъ перемежки. Наконецъ нравственныя страданія его достигли той степени, изъ которой только два исхода — помёщательство или самоубійство.

Въ эти грозныя минуты онъ вспомниль о подрядчикъ, застрълившемся за годъ передъ тъмъ. Это быль нъкто Леденевъ, когда-то артиллерійскій офицеръ и порядочный человъкъ. Дебрину казалось, что онъ протягиваль къ нему изъ въчности свои окровавленныя руки: одною подаваль ему заряженный пистолетъ, а другою маниль его къ себъ, говоря: «банкрутъ къ банкруту». И Дебринъ повторяль: «банкрутъ къ банкруту, пора, пора, туда, къ Леденеву, въ въчность»... И наконецъ ръщился покончитъ съ пасквилью жизни.

Вслёдь за этимъ рёшеніемъ почувствоваль онъ большое облегченіе въ своей груди, и нравственная пытка его почти прекратилась. Онъ быль мраченъ, но спокоенъ и холоденъ. Рёшимость самоубійства, это — хлороформъ для страданій души, это — канунъ освобожденія для крёпостнаго арестанта. Даже сонъ и аппетить возвратились къ нему. Совершенно въ нормальномъ состоянім духа отправился онъ въ оружейный магазинъ, выбраль пару небольшихъ и недорогихъ пистолетовъ, и покупан торговался и выторговаль нёсколько рублей. Затёмъ досталь пороху и пуль.

Не задолго передъ тъмъ онъ прочиталъ въ газетахъ извъстіе о самоубійствъ одного парижскаго доктора Оссандона. Это былъ очень умный и веселый человъкъ, любимый и уважаемый всъми. Съ нимъ сдълался ударъ, отъ котораго, однакожъ, онъ оправился и выздоровълъ. Но, какъ опытный медикъ, онъ зналъ, что ударъ повторится, и сильнъе прежняго. Безпрестанныя опасенія и ожиданія этого непріятнаго событія смертельно ему надоъли, и онъ ръшился предупредить его. Однажды заходитъ къ нему одинъ изъ его пріятелей и говорить:

- Что это, другъ мой, васъ нигдъ теперь не видать? А если вто и встрътить васъ, то не узнаетъ, такъ вы перемънились; изъ веселаго сдълались задумчивы и мрачны.
- Знаете ли что мий сейчась пришло въ голову? спросиль докторъ пріятеля, вийсто того, чтобы самому отвічать на его вопросъ.
  - Что такое?
- А вотъ что: если вы вздумаете когда-нибудь лишить себя жизни,
   то, чтобы сдёлать это безъ малёйшихъ страданій, распорядитесь такъ:

возьмите небольшой пистолеть, зарядите его и ощупайте на лъвой сторонь груди то мъсто, гдъ бъется сердце, а именно вотъ здъсь.

Туть докторь ощупаль у пріятеля то місто, гді кончается посліднее лівое ребро, и продолжаль:

- Посав этого возьмите въ правую руку пистолеть, взведите курокъ, оборотите дуло къ груди, а лавую наставьте его на то масто, которое сейчасъ указаль я вамъ, и смало спускайте курокъ. Ручаюсь честію, что смерть будеть міновенна, безъ малайшаго страданія.
- Что за странная идея пришла вамъ въ голову, любезный другъ? отвъчаль пріятель доктору.
- Это совътъ знатока, который, можетъ быть, и пригодится кому нибудь.
  - Только ужъ не мив.
  - Не вамъ, такъ другому.

Пріятель ущель. А на другой день, къ крайнему своему огорченію, прочель въ парижских газетахъ извъстіе, что «всъми уважаемый докторъ Оссандонъ застрълился въ своемъ кабинетъ. Пуля поцала прямо въ сердце и смерть была мгновенна».

Это газетное извъстіе произвело сильное внечатльніе на Дебрина, и съ тъхъ поръ не выходило у него изъ головы. Въ особенности поразила его противоположность, какая находилась между искуснымъ само-убійствомъ доктора и неловкостію подрядчика, который тоже выстрълиль себъ въ грудь, но только немного ниже послъдняго ребра, такъ что иуля прошла между сердцемъ и легкимъ, ударилась въ правое ребро и, отскочивъ отъ него, засъла въ спинномъ хребтъ. И вмъсто игновенной смерти, бывшій артиллеристъ прожиль и прострадаль еще три недъли.

Дебринъ сравниль оба эти случая и, принявъ въ свёдёнію совёть Оссандона, заранёе изучиль роковое мёсто на своей груди, сдёлаль нёсколько репетицій съ незаряженымъ еще пистолетомъ и быль увёрень, что избёгнеть неловкости Леденева.

Итакъ всё приготовленія къ отъёзду въ вёчность были окончены, и мёсто въ замогильный мальпость было взято; оставалось сёсть и поёхать. Дебринъ рёшительно повеселёль и вздохнуль свободно какъ человёкъ, который могь наконецъ раздёлаться съ своими кредиторами и уплатить имъ своею кровью. Оставалось еще одно, послёднее дёло въ его земной жизни: благословить дочь Лидію и въ послёдній разъ прижать ее къ своему сердцу, біенія котораго были уже сочтены. О, что это было за свиданіе и какіе контрасты представляло оно!

Невинное и кроткое дитя, ничего не подозрѣвая, весело улыбалось при видѣ отца и радовалось конфектамъ и фруктамъ, которыхъ привезъ онъ ей. Но что еслибы оно знало о томъ, что готовилось ей въ скорой будущности?... Круглое и бездомное сиротство и нищенскій кусокъ хлѣба, брошенный со стола зажиточныхъ и вичливыхъ родственниковъ, и, быть можетъ, отравленный попрекомъ. И Дебринъ тоже улыбался, глядя ва милаго ребенва. Но какихъ усилій стоила ему эта вымученная улыбка и что скрывалось за нею! Затаенныя рыданія, которыя разрывали грудь, душили его; проглоченныя слезы, прожигавшія всѣ внутренности отца, разлучившагося навѣки съ любимою дочерью, которой оставляль послѣ себя въ наслѣдіе—безиріютность и нищенство...

Дебринъ не могъ долго выдержать пытки этого свиданія и поспъмиль оставить Институть. Сейчась по возвращеніи домой онь должень быль подписать послёдній счеть своей жизни, подписать не чернилами, а кровью... Но мысль о сиротстве дочери, о ен бездомности, о горечи нищенскаго хлеба, о безпрестанныхь лишеніяхь, униженіяхь и слезахь оскорбленнаго самолюбія налегла на него свинцовою горою и придавила его. Рука, взявшанся за пистолеть, онёмёла, замерла, словно разбитая параличемь. Но движеніе тела заменилось движеніемь мыслей, которыя быстро сменялись одна другою. Въ сердце Дебрина возникла ожесточенная борьба между двумя разнородными чувствами.

Съ одной стороны—непреодолимое отвращение къ жизни, разбитой и опозоренной банкрутствомъ, этимъ нравственнымъ разложение человъческаго бытин; съ другой—смертельная тоска и невыразимое сожалъние о малолътней дочери, которую бросалъ онъ одинокою, безъ путеводителя и безъ средствъ въ безплодной пустынъ сирой жизни. Это былъ настоящій апеляціонный процесъ, въ которомъ малолътняя сирота умоляла строгаго судію объ отмънъ смертнаго приговора, произнесеннаго противъе отща.

«Быть или не быть», говориль себъ Дебринъ. И вдругъ, въ минуту этого грознаго раздумья, зазвенъть нолокольчикъ въ его передней и потомъ раздались слова: — Дома ли Сергъй Павлычъ? — Застигнутый врасилохъ, Дебринъ выпустиль пистолеть изъ рукъ и въ изнеможеніи опустился на кресло. Въ кабинетъ къ нему вощли двъ Сестрички.

#### эпилогъ.

Кончимъ нашу статью повтореніемъ выраженнаго нами выше желанія: чтобы не заподозрили святую истину нашихъ словъ и чистоту наших в нампреній, и чтобы разсказ втот получиль характерь не coup de grâce, a réhabilitation въ полномъ смыслю втого французскаго слова.

Возстановление это необходимо для того, чтобы г. Макаровъ могъ продолжать и довести до конца новый начатый имь учебно-литературный трудь, который, согласно составленному общирному плану, будеть объемистве 66 печ. листовъ) его «Русско-Французскаго Словаря». Трудясь надъ последнимъ усиленно одинъ, безъ сотрудниковъ, онъ уже сильно пошатнуль свое здоровье. Новый и обширавищій трудь можеть доконать его; но это его ничуть не пугаетъ и онъ не будетъ торговаться изъ-за нъсколькихъ лешнихъ лътъ жизеи и охотно, весело понесетъ новый тяжелый, но уже добровольный кресть, лишь бы принести сколь возможно болье пользы обществу. Но чтобы не пасть подъ тяжестью этого новаго креста и донести его до конца опредъленнаго пути, необходимо сосредоточить и сохранить всецью свои душевныя и умственныя силы, для восполненія ими силь физическихъ. А это сосредоточеніе и сохраненіе возможны только при полномъ возстановленім его добраго имени, надъ которымъ глумились виродолжении многихъ летъ и которое забросали грязью. Мы могли бы привести много печатных тому доказательствъ, но не дълаемъ это, слъдуя французской пословиць: Il ne faut pas éveiller le chat qui dort (кто старое помянеть, тому глазь вонь). Вынишемъ только въ заключении следующия строки изъ посвящения другу одного изъ романовъ г. Макарова (Побъда надъ Самодурами):

«Меня хотвли уничтожить, забросать грязью мое честное, незапятнанное имя. Не котвли даже выслушать моихь оправданій и осудили меня безь апеляціи. Я падаль духомь и твломь и готовь быль предаться губительному, безвыходному отчаннію. Но Провидініе, твоими устами, спасло меня; слідуя твоему дружескому совіту, я оставиль Петербургь, удалился въ деревню и проведя тамь нісколько місяцевь вы совершенномь уединеній, на лоні природы, тишины и спокойствія, вздохнуль свободно и—ожиль».

Но и это посвящение когда-то вызвало тоже насижшки, оскорбления и инвыряние грязою. Будень же надъяться, что по напечатании этого правдиваго разсказа, уже не повторится больше подобный грустный, безчеловъчный факть; не повторится изъ уважения къ гуманности, выраженной въ приведенномъ выше французскомъ стихъ:

«Respecte le malheur, si tu ne le plains pas».

# ПУТЕШЕСТВІЕ ПО ДЕБРЯМЪ СЛАВЯНСКОЙ АПАТИЧНОСТИ, ДРЯБЛОСТИ И ПСЕВДОМЕЦЕНАТСТВА \*).

Въ февраль была помъщена, въ «Новомъ Времени», статья, подъ заглавіемъ въ «Царскому Юбилею». Въ дополненіе въ многочисленнымъ актамъ милосердія и великодушія, ознаменовавшимъ великое 25-тильтнее царствованіе, позволю себъ разсказать еще о нъсколькихъ проявленіяхъ Царскаго великодушія, которыя неизвъстны автору вышеупомянутой статьи, но о которыхъ не слъдуетъ молчать, и безъ которыхъ огромный трудъ,—снабженія Россіи хорошими двуязычными словарями,—не былъ бы доведенъ мною до конца. При этомъ, чтобы показать во всемъ блескъ и величіи неистерпаемую благотворность Высокаго Поощрителя благихъ начинаній въ Россіи, я долженъ поставить въ параллель леднное, мертвящее равнодушіе публики, которымъ былъ встръченъ мой первый трудъ (полный русско-французскій словарь), и которое едва не убило мою дальнъйшую лексикографическую дъятельность. Разсказъ этотъ весьма назидателенъ по отношенію къ публикъ, но весьма утъщителенъ по отношенію къ Парской власти.

Давно созналь я необходимость «Полнаго русско-французскаго словаря», безъ котораго немыслимы хорошіе переводы съ русскаго на французскій, и вообще весьма трудно основательное изученіе французскаго языка, въ особенности разговорнаго. Полные французско-русскіе, хотя и устарёлые, но были: Ив. Татищева, Эртеля. Но русско-французскаго истинно полнаго, т. е. съ обширною, всеобъемлющею фразеологіей—ни одного, потому что нельзя же назвать полнымъ «Этинологическій лексинонь русскаго изыка Рейфа», съ чахоточною, неуклюжею и неумёлою фразеологіей. Въ половинъ 1863 года я приступиль къ осуществленію моего намёренія и ровно черезъ три года, въ половинъ 1866 года, скончиль мой «Полный русско-французскій словарь». Только необычайно усидчивая работа, по 15 часовъ въ сутки безъ малёйшаго отдыха, даже и въ самые большіе праздники, дала мнъ возможность начать и окон-

<sup>\*)</sup> Статья эта была нанечатана въ № 131-иъ «Спб. Въдои.» 1880 года.

чить этоть огромный трудь (сь 32 тысячами примёровь) вь такой короткій срокъ. Правда, я перенесь нъсколько бользней и разстроиль здоровье. Оставалось напечатать. Это потребовало большихъ денежныхъ средствъ, канихъ у меня не имблось. Обратился было я въ одному изъ петербургскихъ книгопродавческихъ тузовъ, предлагая ему издать мой трудь на самыхъ выгодныхъ для него условіяхъ. Пролежавъ у него, туза, съ недълю, огромная рукопись была возвращена мик «безъ слёдствій» и, кажется, даже безъ прочтенія предисловія. Толкнулся было я еще къ нъкоторымъ издателямъ, да къ лицамъ «нкобы» меценатствующимъ. Увы! ни тъни сочувствія, ни даже обнадеженія, а напротивъ: сомивнія, предсказанія върнаго фіаско и равнодуміе на 30 градусовъ ниже точки замерзанія. Я падаль духомъ, приходиль въ отчаяніе. Наконецъ кто-то надоумиль меня обратиться въ типографію, бывтую Тиблена и перешедшую во владбије Н. А. Неклюдова, которому и снесъ я мою рукопись. Когда, черезъ нъсколько дней, явился я къ нему, онъ сказалъ мий:

— Я прочиталь ваше, предисловіе и просмотрёль вашь словарь: онь такь хорошь, что не можеть не пойти, и потому я печатаю вамь его вь долгь, который уплатите вы мнё изъ выручекь.

И такъ, благодаря сочувствію умнаго и просвъщенняго человъка, трудъ мой быль спасень оть забвенія, а я-оть отчаянія и оть прекращенія дальнъйшей дъятельности по изданію словарей. Когда вышла 1-я часть, я было попробоваль объявить о подпискъ, разумъется, съ уступкою 20%. Менъе ста человъкъ отозвалось на мой призывъ!... Поддержка едва-ли могущая поддержать что-либо. Наконець, въ 1867 г. словарь вышель изъ печати и удостоился высокой чести посвященія Цесаревий, соизволившей принять это посвящение въ самыхъ сочувственныхъ и дестно-поощрительныхъ для меня выраженіяхъ. Потомъ въ трехъ жур-«Инвалидъ», «Journal de St-Pétersbourg» и въ журналъ «Министерства Народнаго Просвъщенія» сочувственно и съ похвалами отозвались о моемъ трудъ, особенно въ послъднемъ, гдъ была помъщена большая статья, разобравшая словарь съ поливишимъ безпристрастіємъ и совершеннымъ знаніємъ дъла. Затьмъ вездь царило полньйшее равнодушіе, даже самое художественное игнорированіе и самое гробовое молчаніе. Правда, фельетонисть одной большой газеты вздумаль было разбирать, или вёрнёе, протащить мой словарь, но сдёлаль это такъ неумъто и не умно, что ему въ соникахъ же отвътили въ вышеупомянутой стать в журнала «Министерства Народнаго Просвещенія» и доказали поливищее его невъжество въ дълъ лексикографіи. Воть еще образчикъ апатичности, узкости взглядовъ, меркантильности и непониманія дёла даже у многихъ нашихъ книжныхъ спеціалистовъ.

Секретарь, и еще весьма ученый, одного книгоиздательскаго общества, которому предлагаль я издать мой словарь, возвратиль мий рукопись при письмі, гді значилось, что «Общество не можеть принять на себя изданіе труда, объщающаго выгоды лишь во отдаленномо будущемо»... По счастью неодобрительное пророчество не сбылось: какъ ни туго шла продажа моего перваго труда, всетаки черезь четыре года пришлось приступить ко второму изданію и, стало быть, «Общество изданія полезныхь книгь» получило бы далеко не во отдаленномо будущемо огромные барыши.

«Вотъ наши строгіе цънители и судьи!»

Да! у насъ не то, что, напримъръ, во Франціи, гдъ банкиръ Агуадо, просмотръвъ программу словари Литтре, далъ ему, безъ малъйшаго колебанія, средства издать его монументальный трудь. А эти средства состоили въ изсколькихъ мидліонахъ франковъ. Теперь à propos de барыши. Пожалуй и у насъ возъимъють иногда сочувствие къ предпріятію, да только тогда, когда заранъе будуть обезнечены наискоръйшіе и наикрупевишіе барыши, которые для нашихъ денежныхъ тузовъ «выглядять» гораздо привлекательные, соблазнительные всякихы намиолезнъйшихъ изданій и книгь. У насъ и самъ Викторъ Гюго, помноженный на Зола, не продаль бы въ два года и сотой части своихъ романовъ сравнительно съ тъмъ, сколько продается ихъ во Франціи въ годъ... Итакъ, следовало покинуть всякую надежду возбудить въ публикъ вакое-либо живое, теплое чувство, или котя бы одно простое любопытство, за отсутствіемь высшихь мотивовь и пожеланій. Но за то я встрътиль самую справедливую оценку и самое горячее сочувствіе въ «Мужахъ науки», въ членахъ академім наукъ и ученаго комитета; сочувствіе, выразившееся не въ однихъ словахъ, а на дёлё, какъ увидимъ далъе. Въ то же время мой словарь получилъ самыя лестныя одобренія ученаго и всёхъ учебныхъ комитетовъ, а равно и академіи наукъ и быль принять во всв учебныя заведенія. Чтобы показать воочію громадную разницу въ умъньи понимать и цвнить по достоинству полезные труды и заслуги, разницу между публикою и «Мужами науки», я разсважу одинь многознаменательный эпизодь.

Всноръ по напечатаніи моего перваго труда сидъль я въ раздумым въ своей ввартиръ на Васильевскомъ острову. Вдругъ входить ко мнъ пожилой господинъ, съ почтенною, симпатичною наружностью и съ Владиміромъ на шет и спрашиваетъ:

- Здёсь живеть г. Макаровь?
- Здёсь и въ вашимъ услуганъ, -отвечаль в.
- Я примель познакомиться съ авторомь такого превосходнаго словаря, какъ изданный вами полный русско-французскій словарь.
  - Съ къмъ имъю честь говорить, спросиль я?
  - Я Буняковскій.

После нескольких выбезных и весьма лестных для меня фразь. почтенный и симпатичный посътитель удалился. Я сейчась за агресъкалендарь, гдв и отыскиваю: «В. Я. Буняковскій, вице-президенть императорской академіи наукъ». На другой день собрадся я отдать вивить, но не успыть: почтенный вице-президенть, не дожидаясь отданія ему визита, снова пришель ко мив и поднесь мив свой «Астрономическій и математическій словарь», котораго издана была когда-то одна только часть. Глубоко тронули меня такое вниманіе, такая одбика моего труда со стороны столь заслуженнаго и всёми высоко-чтимаго ученаго и препрасивищаго человика. И съ тихъ поръ, постоянно, при каждомъ случай выказываль онъ мив самое искреннее участіе и уваженіе... А покойный И. И. Срезневскій передаль мив черезь В. Я. Буняковскаго, свое испреннее желаніе познакомиться со мною, и потомъ выказываль самое теплое сочувствие и уважение къ моимъ трудамъ и ко инъ... А. Н. М. Влаговещенскій, который сделаль такую блестящую оценку монкь полныхъ словарей и сильно содъйствоваль выдачь мив первой субсидии, и потомъ всегда относился по мнв съ участіємъ и уваженіємъ.

Всявдь за напечатаніемъ словаря появились въ газетахъ заявленія оть разныхь лиць, что «необходино довершить мой трудь «Полнаго французско-русскаго словаря», который даже необходимъе русско-французскаго (съ чёмъ в не согласень, потому что, какъ говориль я выше, полные французско-русскіе уже существовали, а полнаго русско-французскаго не было ни одного)... > Поразмыслиль я объ этомъ заявленіи, и хотя здоровье мое было сильно потрясено, а поощренія и поддержки отъ публики ни на волось, я рискнуль и ръшился на поднятіе новаго огромнаго труда, но на этотъ разъ уже не одинь, а въ сотрудничествъ съ моимъ единственнымъ сыномъ. я съ нимъ въ тульскую деревню и тамъ засълъ снова за головоломный, тижелый трудь, съ прежнею неутомимою усидчивостью. Прошло съ полгода. Новый трудъ быстро подвигался впередъ, какъ вдругь на мой лексинографическій пыль вымилось нёсколько ушатовь воды со льдомъ, чуть не заморозившихъ мою энергическую дъятельность: меня увъдомили изъ Петербурга, что въ полгода продано моего словаря 60 экземпляровь, и что публика вообще, а въ особенности преподаватели учебныхъ заведеній и сами учащієся, относятся къ моему словарю съ полнавшимъ равнодушіємъ, съ недовъріемъ, съ сомивніємъ, а книгопродавцы держать его подъ спудомъ, рекомендуя Рейфа или Шиита, которые и продолжають царить попрежнему; и что, наконецъ, нътъ никаной возможности уплатить мой долгь типографіи иначе, какъ «въ самомъ отдаленномъ будущемъ».

Ощеломило меня такое извъстіе, равносильное командъ: «стопъ машина!...» И машина остановилась. Я посившиль въ Петербургъ, гдъ нашель самую великодушную поддержку въ высшихъ сферахъ. По ходатайству Цесаревны 500 экземпляровъ моего словаря было пріобрътено для женскихъ учебныхъ заведеній. По предложенію г. оберъ-прокурора св. синода, 100 экземпляровъ куплено для духовныхъ учебныхъ заведеній. А сверхъ того, всъ служащіе въ ІУ отдъленіи собственной Его Величества канцеляріи посившили составить подписной листъ на пріобрътеніе отъ меня около ста экземпляровъ. Все это воскресило, подняло меня и придало мит новыя силы, новую энергію. Тогда пришла мить еще слёдующая идея, удачный результатъ которой могъ бы еще болье укръпить и вдохновить меня къ еще болье добросовъстному и совершенному выполненію моего новаго труда. Я обратился въ одной изъ газетъ ко всей русской интеллигенціи съ слёдующимъ предложеніемъ, перепечатаннымъ и во многихъ другихъ газетахъ.

«Вслёдствіе сдёланных мий печатных заявленій о необходимости «Полнаго французско-русскаге словари», я приступиль къ составленію этого труда. Но такъ какъ мой русско-французскій словарь до сихъ поръ не встрёчаеть ни мальйшаго сочувствія со стороны публики и почти не продается, то во мий родилось сомийніе: точно ли нужень хорошій, полный французско-русскій словарь? Поэтому, чтобы не потерять даромъ времени, тяжелаго труда и большихъ денегь на изданіе, быть можеть, ненужной книги, я рышися сейчась же открыть не подписку, а только провърку надежды на будущую подписку. Съ этою цёлію обращаюсь къ образованнымь людямъ всей Россіи съ просьбою увёдомить меня ніссколькими строками о томъ, что, по выходё изъ печати первой части словаря, они захотять подписаться на него, если только они нуждаются въ хорошемъ полномъ французско-русскомъ словарё».

Послъ такой публикаціи я кръпко надъялся на поддержку, которая благодътельно повліяла бы на меня, и которая, къ тому же, стоила бы весьма небольшой жертвы: написанія нъсколькихъ строкъ и гривенника на отправку ко мив письма по почтъ. Будь это въ Англіи, Франціи,

Терманіи, даже въ Польшь, подобное заявленіе о необходимой полезной книгь вызвало бы многія тысячи писемь. И я точно сталь получать тогда со всёхь концовь Россіи письма съ самыми горячими сочувствіями. Но только, если не качество, то количество этихь заявленій сильно захромало: въ продолженіе нъсколькихь мъсяцевь я получиль всего-навсе 44 письма!!!.. И это — въ цивилизованномъ государствь, съ 80-милліоннымъ народонаселеніемь!!! Тогда только я прозрыть и уразумыть во всемь ен блескь и величіи апатичность и дряблость славянской натуры у большей части нашей интеллигенціи, въ особенности у «элегантной», со стеклышкомь въ глазу и безь онаго, которая, какъ я убъдился многими опытами, интересуется гораздо менье новыми умственными произведеніями книжныхъ магазиновъ, нежели новыми гастрономическими произведеніями обжорныхъ магазиновъ Елисьева, Смурова еt consorts... Но просвъщенная поддержка Цесаревны, принца Ольденбургскаго и правительственныхъ лицъ спасла меня и мой трудъ.

Въ концъ 1869 года, я приступиль къ печатанію новаго труда. Но туть предсталь передо мною грозный подводный камень: огромная издержка на изданіе труда, который на 10 печатныхь листовь быль объемистве предыдущаго словаря. Изъ горькаго опыта я зналь, что ни оть публики, ни оть издателей, ни оть книгопродавческихь тузовь, ни оть якобы меценатовь, мнъ нельзя было ожидать ни мальйшей поддержки, ни тыни сочувствія. Но благодареніе нашинь мужамь науки! Они, съ полнымь участіємь и готовностью, отозвались и явились ко мнъ на выручку: академія наукь, въ полномь составь, и ученый комитеть сдылали представленіе г. министру народнаго просвыщенія, гдь, между прочимь, было сказано:

«Ходатайствовать объ оказаніи г. Макарову возможнаго вспомоществованія для напечатанія его замічательнаго труда, такі какі непоявленіе онаго въ печати, вслідствіе недостатка матеріальных в средствъ автора, было бы утратою для отечественной литературы, достойною полнаго сожалівнія».

И г. министръ народнаго просвъщенія, сейчась же, сдълаль обо мнъ представленіе г. министру финансовь, который, въ свою очередь, понявъ и оцънивь важность моего труда и избъгая длиннаго пути черезъ государственный совъть, съ перспективою отказа, сейчась же доложиль Императору. И черезъ нъсколько дней я получиль субсидію въ 4,000 руб. Когда я представлялся г. статсъ-секретарю Рейтерну, для принесенія ему благодарности за содъйствіе, онь сказаль:

— Императоръ съ особеннымъ удовольствіемъ соизволилъ на выдачу вамъ субсидіи для ващего полезнаго труда.

И теперь, по прошествім десяти літь, я не могу вспомнить безь слезь безпредъльной благодарности къ Державному покровителю всего полезнаго въ Россіи и въ просвъщеннымъ сановникамъ, не отказавшимся содъйствовать безвъстному труженику въ довершении его общеполезнаго труда. Для контраста, и въ назидание върующимъ въ «рассейское» меценатство, я разскажу курьезный эпизодь, которымь заключилось печатаніе новаго словаря. Подъ конецъ мнъ недоставало 500 р. на бумагу. Я туда, сюда, чтобы изъ-за ничтожной суммы не остановить печатаніе. Въ пробадъ чрезъ Москву, и зная изъ печатныхъ и словесныхъ разсказовъ о существования въ ней одного богатъйшаго и якобы просвъщеннъйшаго и великодушнъйшаго мецената-издателя, я и толкнулся было къ нему на Мясницкую. Увы! меня не допустили до его лицезрънія подъ предлогомъ, что «изволять кушать чай и еще не одъвались». Возвратясь въ гостинницу «съ носомъ», я поспёшиль написать московскому якобы меценату письмо, въ которомъ, объяснивъ исторію моихъ изданій, просиль его дать мий средство окончить издание моего новаго труда, ссудивъ мит заимообразно 500 р. подъ втрное обезпечение этого долга двумя стани экземпляровъ моего словаря, продажная цёна которымъ 1,000 р., такъ что 500 р. ни въ какомъ случат пропасть не могли бы. Въ концъ я прибавиль:

«Во всякомъ случав, если вы не найдете возможнымъ выручить меня, и надвюсь, что вы не закотите оснорбить мое авторское самолюбіе непринятіємъ подносимаго мною вамъ словаря».

И письмо, и словарь отправиль я съ разсыльнымъ. Черезъ часъ онъ вернулся и принесъ мий отъ московскаго якобы мецената «новый и огромивитий носъ», т. е. мой словарь и при немъ не письмо, а его визитную карточку, и не новую, а уже довольно затасканную, на обороть которой было написано, или върнъе нацарацано следующее:

«Г. Н. Макарову.

«Прошу меня извинить, что я не могу исполнить вашего желанія и при семъ возвращаю экземпляръ вашего словаря».

Коротко и ясно. Эта сальная нарточка у меня сохранилась, какъ образчикъ московскаго меценатства и его утонченной въжливости, т. е. зазорнаго швырянья подносимымъ въ подносищаго. Но главное, но вся суть вотъ въ чемъ: подносилъ я мой словарь Императору, Императрицъ и встиъ членамъ Царскаго Дома. И вст удостоили принять мой трудъ, съ выраженіемъ сочувствій и благодарности. А г. московскій меценатъ не удостоилъ, счель меня и мой трудъ гораздо ниже себя.... Знай на-шихъ!.. Но меня выручилъ одинъ изъ «нашихъ» петербургскихъ книго-

продавцевъ, купивъ у меня 200 экземпляровъ словаря; правда, съ весьма умъренною уступкою въ... 50°/о!!.. Сверхъ того, я страшно дорого поплатился за новый трудъ: сотрудникъ мой и единственный сынъ не вынесъ тяжелой работы, хотя трудился далеко не такъ усидчиво, какъ н. Его молодой мозгъ не выдержаль: на половинъ труда онъ помъщался и, послъ двухнедъльныхъ страданій, умеръ въ домъ умалишенныхъ. Новый трудъ мой удостоплся высокой чести посвященію Цесаревичу. Разскажу еще объ одномъ курьезномъ эпизодъ этого изданія.

Прівхавъ въ Петербургь послё неудачнаго моего тодканья въ двери московскаго якобы мецената, я обратился въ одному изъ главныхъ бумагофабривантовъ, въ роскошномъ домё котораго «ковры, сударь ты мой, Персія, ногами каниталы попираемь», и проседъ его отпустить мнё въ долгъ на 500 р. бумаги съ обезпеченіемъ 200 экземпляровъ словаря, т. е. цённостью въ 1,000 р. Бумагофабричный тузъ отказалъ мнё на отрёзъ; а передъ тёмъ отпустиль бумаги въ долгъ тысячъ на 30-ть одному типографщику-мазурику, объявившему потомъ себя несостоятельнымъ на бездёлицу, на... 800,000 р.!

- Грустно, сказаль я бумажному тузу; такая полезная книга ни въ комъ не встръчаетъ сочувствія, даже самаго безубыточнаго, безъ малъйшаго риска.
- Каная же это полезная книга? Воть если бы вы издавали житіе св. Епистиміи, или какого другаго святаго, то это была бы полезная книга. А то накой-то словарь, да еще французскій (sic).

Послѣ такого премудраго изреченія, я скорѣе «въ оханку кушакъ да шапку», и давай богъ ноги отъ бумажнаго туза. Но это были только цвѣточки, а ягодки ждали меня впереди.

Но приглашенію ученаго комитета, я составиль и издаль въ 1874 г. спеціально для учебных заведеній «Международные словари» (части франц.-русск. и русско-франц.), снабдивь ихъ довольно полною фразеологією до 20,000 примъровъ въ каждой части. Это первое и стереотипное изданіе стоило чрезвычайно дорого, и потому, если бы я назначиль за него ту же цъну, что и Рейфъ (2 р. 50 к.), то виъсто пользы, все бы еще имъль небольшой убытокъ отъ перваго изданія. Но мит хотьлось сдълать мой словарь сколь возможно дешевле для небогатаго большинства учащихся, не дороже 2 р., съ уступкою еще 20% для учебныхъ заведеній. Но въ этомъ случать первое изданіе дало бы мит огромный убытокъ. И на этоть разъ я снова нашель поддержку, не въ публикъ и не въ меценатахъ, разумътета, а въ правительственныхъ лицахъ. Г. министръ народнаго просвъщенія, безъ мальйшаго надумыванія, представиль

меня къ пособію. И черезъ нъсколько дней получиль я вторую субсидію въ 4,000 р. на международные словари. И снова благословиль я Высокаго Покровителя, который удостоиль принять посвященіе моего труда Его Августьйшему имени, и, сверхь того, наградиль меня орденомъ св. Станислава 2-й степени. Въ то же время, по ходатайству Цесаревича, 500 экз. моего полнаго французско-русскаго словаря было тоже пріобрътено для женскихъ учебныхъ заведеній, да еще 300 экз. для военныхъ и духовныхъ учебныхъ заведеній. Что же до публики, въ особенности до учащихся, для которыхъ спеціально были изданы международные словари, то они отнеслись и къ нимъ также равнодушно и продолжали брать Рейфа, несмотря на болъе дешевую цъну моего словаря, на его полноту и на двукратные циркулары министра народнаго просвъщенія, энергически рекомендовавшаго попечителямъ учебныхъ округовъ мои словари для «предпочтительнаго употребленія».

Желая довершить зданіе раціональной двуязычной лексикографіи, я приступиль къ изданію русско-нёмецкой и нёмецко-русской частей Международнаго словаря, и еще «Полнаго нъмецке-русскаго». Изданія эти стоили громадныхъ издерженъ, потому что, вслёдствіе сильнаго разстройства моего здоровья, необходимо было взять сотрудниковъ и платить имъ высокіе гонорары. И воть, въ началь 1877 года изсякли у меня вев источники, тёмъ болбе, что съ нёмецкими частями совпало 2-е изданіе Полнаго франц.-русси, словаря. Печатаніе должно было остановиться, и я — пасть, не дойдя до намъченной цъли, не довершивъ начатаго зданія. Тщетно обращался я ко всёмъ земнымъ и небеснымъ силамъ, тщетно взывалъ о помощи къ разнымъ Крезамъ, предлагалъ разнымъ книгопродавческимъ тузамъ Петербурга и Москвы купить у меня за полцъны второе изданіе Полнаго рус.-фр. словаря, который шель превосходно и даль бы имъ громадные барыши: ни откуда, ни отъ кого ни тъни желанія помочь мив, ни звука, ни взгляда сочувствія; повсюду всемертвящее ледяное равнодущіе, позорнъйшая апатія и какое-то бользненное отвращение къ мальйшему усилию нарушить свой эгоистическій кейфь, выйти хоть на минуту изь своего окаменьлаго покон, изъ улиточной неподвижности. Разумъется, у меня оставалось еще средство выхода изъ безвыходнаго положенія: это — снова обратиться къ поддержкъ правительственныхъ лицъ, къ великодушію Державнаго мецената. Но мий было совистно ви третій рази утруждать моею просьбою; меня смущала, страшила мысль — показаться назойливымь, злочнотреблять Царскую милость и щедроту. Поэтому я думаль, думаль и придумаль воть что:

Выль и есть въ Петербургъ одинъ наибогатъйтий Крезъ съ громадными доходами и съ ореоломъ меценатства, обанніе вотораго, посредствомъ стоустой молвы, коснулось и моего слуха. Обанніе это было чистъйшее марево, но принятое мною за дъйствительность, и потому, въ полной надеждъ на просвъщенное сочувствіе и поддержку, устремился и въ чертоги Креза съ ореоломъ меценатства, взявъ съ собою четыре моихъ словаря и приготовивъ, на всякій случай, письмо, въ которомъ, во-первыхъ, изложивъ цёль и ходъ моихъ трудовъ, я предлагая въ самое върное и двойное обезпеченіе долга 4,000 экз. только что вышедшаго вторымъ изданіемъ Полнаго франц.-русскаго словаря.

Во вторыхъ, просиль не отказать инт въ чести посвятить его имени полный намецко-русскій словарь и еще принять изданные уже мною словари. И такъ, полный надеждь и втрованія въ просвіщенные и широкіе взіляды мецената, я очутился у параднаго крыльца его чертога. Вхожу въ сти, но... тутъ-то и совершилось самое неожиданное и постыдное крушеніе издательскаго корабля, съ его свътлыми надеждами и втрованіями и у самаго входа въ безопасную пристань... Тутъ совершилось нтато, несравненно печальнтайшее и позоритать... Тутъ совершилось во время путеществія моего къ московскому, яко бы, меценату, у котораго, по крайней мтр, допустили меня хоть въ прихожую. Едва вступиль я въ сти бреза и прежде, нежели подошель къ парадной и высокой лъстицть, ведущей на верхнюю площадку стей передь прихожей, меня поразиль весьма непривътливый и quasi-невтильный окликъ дюжаго швейцара, съ недружелюбнымъ, подозрительнымъ взглядомъ.

- Кого вамъ надо?
- Я желаю представиться г. NN.
- Г. NN никого не принимаеть, отвъчаль швейцарь, еще болъе ръзнимь тономь и становясь на стражъ между мною и первою ступенью лъстницы, словно какъ бы я быль выходець изъ какой-нибудь зачумленной мъстности, въ родъ Ветлянки; во время недавной чумной паники.
- Въ такомъ случат прошу васъ передать г-ну NN это письмо и книги.

Швейцаръ недоумѣвалъ, брать ли отъ меня конвертъ и книги. Наконецъ, послѣ раздумья, рѣшился принять и сталъ взбираться по лѣстницѣ, бросивъ на меня внушительный и безпокойный взглядъ, какъ бы предупреждая, чтобы я не дерзнулъ тоже взбираться на верхнюю площадку. Вскоръ онъ вернулся, и вслъдъ за нимъ вынырнуль изъ прикожей на площадку какой-то пожилой и юркій господинь и, не удостоивъ сойти ко мив внизъ, провозвъстилъ скороговоркою, но торжественнымъ тономъ, съ высоты площадки:

— Г. NN. никогда, ни отъ кого и никакихъ посвященій не принимаєть.

И затъмъ быстро юркнуль въ прикожую, пославъ, по уходъ, лакея съ моими словарями и оставя меня въ неописуемомъ состоянім духа. Изумленіе, стыдъ, негодованіе потрясли все мое правственное существо и, подобно циплопу, окружили, охватили меня со всёхъ сторонъ и завертъли въ своемъ нравственномъ вихръ. Все было во мнъ осмъяно, оскорблено, унижено, поругано, затоптано въ грязь; и достоинство честнаго человъка и полезнаго дъятеля; и труды, поддержанные и поощренные сановниками и мужами науки; и заслуги, признанныя правительствомъ и награжденныя Державнымъ Покровителемъ и единственнымъ истиннымъ меценатомъ въ Россіи, который удостоиль меня высокой чести, принявъ и поднесеніе, и посвященіе Ему моихъ трудовъ.... А этоть?... Не счель меня достойнымь и, отвергнувь самымь возмутительно-оскорбительнымъ образомъ мои поднесенія и посвященіе, не допустиль меня нетолько до себя, или хотя до своей пріемной, но даже и до прихожей !... И какой контрасть нежду величісиъ истинной щедрости и мелкотою мишурнаго исевдомеценатства !... Но довольно.

Придя въ себя отъ нравственнаго потрясенія, посившиль я оставить свии негостепрінинаго чертога. Долго мучило и тошнило меня. Долго не утихала острая, жгучая боль отъ рань, нанесенныхъ моему самолюбію. Наконець, все улеглось и стихло. Я принялся обдумывать мое положеніе и не нашель другаго исхода, какъ снова обратиться къ главному источнику свёта и тепла въ Россіи, къ Державному Меценату. Предварительно написаль я министру народнаго просвёщенія письмо, гдё очертиль мое безвыходное положеніе и разсказаль о неудачной попытить — найти поддержку у частнаго мецената. Потомъ, спустя нёсколько дней, я самь явился къ министру, графу Д. А. Толстому, который изъявиль миё самое благосклонное и горячее сочувствіе.

— Бто этотъ меценатъ, въ которому обращались вы, — спросилъ меня графъ.

Я свазаль его имя. Графъ пожаль плечами, груство улыбнулся и заговориль самымъ ласковымъ голосомъ.

Усповойтесь, г. Макаровъ, и не унывайте: мы васъ поддержимъ
 и выручимъ.

И точно: поддержаль и выручиль.

Въ началъ страстной недъли 1876 года, графъ сдълалъ представленіе обо мив министру финансовъ. Во вторникъ, на страстной, являлся я къ Михаилу Христофоровичу Рейтерну, который сказалъ мив, сажая меня въ кресло, въ своемъ кабинетъ:

— Будьте спокойны: все, что возможно сдёдать, будеть для васъ сдёдано.

Въ страстную пятницу, министръ финансовъ довладывалъ Императору, а въ субботу, въ 11 часовъ вечера, за часъ до заутрени Свътлаго праздника, ко мет явился курьеръ, прямо отъ министра народнаго просвъщенія, съ письмомъ. Вотъ что писалъ мет графъ:

#### <3 aпръля 1876 года.

«Вслёдствіе писемъ вашихъ, отъ 15 и 17 минувшаго марта, и сноменія моего съ г. министромъ финансовъ, я получиль нынё увёдомленіе статсь-секретаря Рейтерна, что, въ исполненіе Высочайшаго повелёнія, послёдовавшаго во 2-й день текущаго апрёля, предложено главному казначейству открыть въ смётё министерства народнаго просвёщенія сверхсмётный дополнительный предить въ 6,000 руб., для отпуска денегь вамъ, милостивый государь, на изданіе международныхъ словарей, русско-нёмецкаго и нёмецко-русскаго.

Поспъщая сообщить вамъ о такой Монаршей милости, считаю нужнымъ присовокупить, что департаментомъ народнаго просвъщенія, по порученію моему, будетъ на-дняхъ сдълано распоряженіе о выдачь вамъ означенныхъ денегъ.

Примите увърение въ совершенномъ моемъ почтении и преданности.

#### «Графъ Дмитрій Толстой».

Это было «красное яичко къ Христову дню». Какая любезная внимательность высокаго сановника видна въ этой посившности сообщить мнв пріятную новость, *чтобы я весело встритили свитлый праз*дники (слова сказанныя мнв графомъ, когда я благодариль его).

Вотъ исторически-върный разсказъ о благодътельныхъ подвигахъ великодутия и щедрости Державнаго Мецената. Такіе подвиги не требуютъ комментарій; но не подобаєть и умалчивать о нихъ по наступленіи 25-лътнаго юбилея славнаго царствованія. Нужно-ли говорить еще о той глубокой, безпредъльной благодарности въ моему Царственному благодътелю и къ тъмъ просвъщеннымъ сановникамъ, которые такъ со-

чувственно отнеслись въ безвъстному труженику и не отказались помочь ему довершить начатый имъ трудъ на пользу общественнаго образованія. И благодарность эта никогда не умреть, не ослабветь въ моемъ сердцв, въ особенности, когда я припомню и подумаю о томъ, что я встрътиль у публики и у псевдо-меценатовъ. Кто же послъ этого осмълится отрицать, или даже сомнаваться въ томъ, что если кто-либо поддерживаеть въ Россіи полезныя предпріятія, поощряєть полезныхъ и добросовъстныхъ дъятелей, то это правительство, одно только правительство, да сановники, да мужи науки, а ужъ никакъ не публика, никакь не эти, якобы, меденаты; не эти денежные, коммерческие или промышленные тузы, способные переваривать не плодотворныя идеи, а плотоугодные объды, да крупные барыши... Съ одной стороны — поддержка въ 14,000 руб., съ другой поддержка въ 44 гривенника на отправку 44 писемъ!!.. Только 44 сочувственныхъ отголосковъ изъ среды всей интеллигенціи обширнаго дарства!.. Повторю : какой поразительный контрасть между величемъ и мелкотою, между свътомъ и тьмой, между живительнымъ тепломъ и мертвящимъ холодомъ!

Тула, 1880 года, 25 февраля.

### двъ кореспонденци изъ голоса.

#### Первая вореспонденція \*).

Мъсяца за три до обнародованія «Положенія 19-го февраля», перевкаль я на житье изъ Петербурга въ деревню Тульскаго увзда, вслъдствіе моего разоренія и еще для того, чтобы самому, а не черезъ наемника, перестроить въ имъніи старый порядокъ на новый ладъ. Понятно, что открытіе мировыхъ учрежденій сильно занимало меня. Въ особенности интересовала личность посредника 1-го участка, въ которомъ находится имъніе моихъ дътей, взятое мною, изъ рукъ принащика, въ мое личное управленіе. Посредникомъ былъ назначенъ нъкто г. В., о которомъ я не имълъ ни мальйшаго понятія, и даже не слыхаль о немъ ничего. Разумъется, я сейчасъ же съ распросами, что за человъкъ этотъ г. Б. Свъдънія, собранныя мною отъ разныхъ лицъ, оказались самыми утъщительными.

Дътомъ 1861 года и нъсколько разъ собиралъ крестьянъ и, объяснивь имъ значение уставной граматы, предлагалъ имъ на выборъ три вещи: перейти на оброкъ и затъмъ на выкупъ, или перейти просто на оброкъ, или остаться на барщинъ. Разумъется, я доказывалъ имъ все преимущество первой сдълки, т. е. перехода на выкупъ. Но вся моя логика, все красноръче расходовались даромъ: крестьяне почесывали у себя въ затылкахъ, переминались съ ноги на ногу и на всъ мои убъжденія и вопросы отвъчали:

 — А вотъ подумаемъ, да посовътуемся, да посмотримъ, какъ у другихъ это дълается.

Напрасно дъладъ и имъ большія уступки, даваль льготы и лишнюю противъ высшаго надъла землю. Всегда быль одинъ и тотъ же отвътъ: «подумаемъ да посмотримъ».

Въ сентябръ и увладъ, по дъдамъ, въ Петербургъ, отвуда возвратился въ деревню въ феврадъ 1862 года, и тотчасъ же отправился въ мировому посреднику, чтобы познакомиться съ нимъ и просить его о повъркъ и введеніи уставной граматы, которую составиль и уже помимо крестьянъ. Г. Б. успокомаь объщаніемъ все сдёлать и уладить въ нам-

<sup>\*) 1863</sup> roga, N 36.

скоръйшемъ времени. И точно: въ началъ марта и получаю повъстку, извъщающую меня, что г. посредникъ прибудетъ ко мнъ на 7-е марта, для повърки уставной граматы. 6-го же числа такая повърка производилась имъ въ двухъ верстахъ отъ меня, въ имъніи тульскаго исправника. На этотъ первый разъ г. посредникъ 1-го участка былъ очень акуратенъ: вечеромъ 6-го марта онъ прибылъ ко мнъ, въ сопровожденіи своего письмоводителя, служившаго передъ тъмъ гдъ-то квартальнымъ надзирателемъ.

На следующее утро, т. е. 7-го марта, врестьяне были собраны у меня въ прихожей и, после получасовыхъ переговоровъ, согласились перейти съ барщины на обровъ и на выкупъ, и тутъ же подписали уставную грамату. Этотъ важный, счастливый результатъ былъ достигнутъ такъ скоро вследствіе того, что, во-первыхъ, сосёдніе врестьяне исправника, за день передъ тёмъ, перешли на выкупъ, т. е. вследствіе примёра, который во всёхъ случавкъ бываетъ самымъ действительнымъ средствомъ въ соглашенію врестьянъ на какую нибудъ сдёлку; во-вторыхъ, переходъ на выкупъ былъ предложенъ врестьянамъ не помёщикомъ, словамъ котораго они рёдко вёрятъ, а посредникомъ, т. е. властію, поставленною надъ ними свыше. Естати, я позволяю себё небольшое отступленіе, чтобы доказать, въ какой степени врестьяне питаютъ недовёріе въ самымъ разумнымъ и благонамёреннымъ словамъ и дёйствіямъ бывшихъ своихъ владёльцевъ.

Вскорт по открытіи мировых учрежденій, владілець одного большаго тульскаго имінія предложиль своимь крестьянамь освобожденіе оть барщины, безь всякаго выкупа, и дариль имь по дві десятины земли на душу, т. е. немного менте высшаго наділа. Выгоды для крестьянь этой сділки, или, втрите, этого благодіннія, были очевидны. Но крестьяне и туть не рішились согласиться на такое предложеніе—не подписывали уставной граматы и отправились къ посреднику просить совіта, что имъ ділать въ «эвтомь разі».

- Сейчасъ же согласиться на предложение вашего помъщика и подписать уставную грамату — сказаль посредникъ крестьянамъ.
- Да какъ же согласиться-то, кормилецъ! Дъло, можетъ быть, «не тово»...
- Какъ не тово? Да чего же вамъ желать лучшаго? Васъ освобождають отъ барщины и еще дарять вамъ по двъ десятины на душу изъ той самой земли, которою вы, до сего времени, пользовались неиначе, какъ отбывая за то барщину, или платя оброкъ вашему помъщику.

- Да нътъ ли туть какого обмана? Въдь мы, люди темные и обмануть насъ нетрудно.
- Какой же туть обмань, когда вась дёлають вольными и еще дарять вамь землю?
  - Да, можеть, намь следуеть больше, чемь по две десятины.
  - А вы знаете пословицу: даровому коню въ зубы не смотрять.

Крестьяне согласились, наконецъ, послъ этого довода. Но только впослъдствіи и крестьяне, и многіе прочіе сильно стали смотръть въ зубы даровому коню, такъ что вчужъ было жаль великодушнаго дарителя, который не обобрался клопоть и непріятностей, вслъдствіе своего даренія. Но это уже другая статья. Теперь возвращусь къ своему разсказу.

Посредникъ убхадъ отъ меня, и 21-го марта уставная грамата была утверждена мировымъ събедомъ. Главное и самое трудное, казалось, было сделано. Оставалось ввести въ действіе уставную грамату, на что требовался вторичный прівздъ посредника въ имѣніе и часа три времени на вторичное прочтение крестьянамъ уставной граматы и на показание имъ границъ ихъ земли. Впрочемъ, это была уже самая легкая процедура, въ сравнени съ соглащениемъ ихъ на подписание уставной граматы. Но, хотя и легкая, а все таки формальность эта была необходима, потому что она указана статьями 68, 69 и 70 «Правиль о порядев приведенія въ дъйствіе положенія о крестьянахъ». Безъ этой формальности уставная грамата считается недъйствительною. Поэтому, убажая отъ меня, посредникъ объщаль прівхать ко мнв, для введенія въ действіе уставной граматы, тотчасъ же по просухъ. Въ ожидания этого событія, н приступиль къ выполнению последняго акта, необходимаго для завершенія сдёлки моей съ крестьянами, а именно: составиль выкупное условіе, на основанім уставной граматы. Но, увы! И на этотъ разъ повторилась прежняя исторія съ граматою: крестьяне ни за что не котвли подписывать условія, говоря по прежнему: «посмотринъ да подумаемь». Хроническое недовърје къ словамъ помъщика, также какъ и перемежающаяся лихорадка, имбетъ свои рецидивы. Тогда и отложиль окончаніе этого акта до прівзда по мий посредника, который одинь только могь согласить крестьянь на подписание условія.

Прошель апрыль. Всё дороги просохли, но посредника нёть. Насталь май, а г. Б. все таки не ёдеть. Наконець, я получаю оть него приглашеніе «пожаловать къ нему, 21-го мая, откушать хлёба-соли» по случаю его тезоименитства. Бду. Гостей много. День ясный и жаркій. Садимся за столь въ тёнистой аллей сада. Обёдь прекрасный. Питія заморскія, превосходныя: и клодь-вужо, и дюфурь-дюбарь, и шато-икемъ,

и портеръ, и эль-чего хочешь, того просишь. О вдовуший илико и говорить нечего: лилась ръкою. Г. Б., самый радущный и любезный хлъбосоль, подчиваль всёхь и каждаго съ неутомимымъ усердіемъ, быль необыкновенно внимателень къ своимъ гостямъ и предупреждалъ, угадываль ихъ желанія и вкусы. После обеда я уловиль удобную минуту и, отведя въ сторону радушнаго амфитріона, предъявиль ему убъдительнъйшую просьбу — прівхать ко мнв для завершенія извёстнаго ему двла, объяснивъ притомъ, что безъ его личнаго вибшательства, крестьяне ни за что не согласятся подписать выкупное условіе. Г. Б. выслушаль меня съ необыкновеннымъ благодушіемъ, и съ таковымъ же объщаль исполнять мою просьбу въ самоскоръйшемъ времени, тъмъ болъе, что онъ скоро побдеть вводить уставную грамату въ имбніе исправника, откуда до меня рукой подять. Увхаль я оть благодушнаго г. Б., полный надеждъ на скорое окончание момхъ землевладъльческихъ сомнъний и треволненій. Но, увы! Между способностями угощать и діло ділать находится необъятная разница. Проходить май, іюнь, а посредникъ — ко мив ни ногой. Между твив слышу, послышу, что онв уже прівзжаль въ имъніе исправника, ввель тамъ уставную грамату, и что крестьяне того имбнія тотчась же подписали выкупное свидітельство. Счастливый исправникъ!.. Бъдный я!.. Хоть до меня и «рукой подать».

Насталь іюль. Уставная грамата все еще у меня не введена. Дёло плохо... Вижусь я съ посредникомъ разъ, прошу, умоляю его и получаю обёщаніе «скоро пріёхать». Но кейфъ по прежнему царить въ 1-мъ участив. Вижусь съ благодушнымъ г. Б. еще разъ, и всякій разъ слышу: «Буду къ вамъ, непремённо буду, очень скоро буду». Но на посулё, какъ на стулё. Между тёмъ, я снова собираю крестьянъ и пытаюсь уговорить ихъ подписать условіе, обёщая, сверхъ подаренной имъ уже мною лишней, еще нёсколько десятинъ лишней земли. Куда! крестьяне и слышать не хотятъ о подписаніи условія. «Самъ посредникъ не ёдетъ къ намъ, стало быть, дёло не тово»... толкуютъ они между собою.

Такимъ образомъ насталъ уже сентябрь. Наконецъ, видя, что дъло мое погибаетъ жертвою славянской способности считать себя ко всему способнымъ, сверхъ кейфа и угощенія, я схватился за слъдующее средство спасенія: прітхаль въ Тулу ко времени мироваго сътзда и, отыскавъ тамъ кандидата посредника 1-го участка, обратился къ нему съ просьбою принять на себя введеніе у меня уставной граматы. Кандидатъ съ полною готовностью согласился на мою просьбу, и для этого предложиль мить явиться въ часъ пополудни на мировой сътздъ и лично просить тамъ г. Б. о формальной передачъ моего дъла его кандидату.

Сдёлано, обещано. Не довольствуясь обещаніями благодушнейшаго г. Б., я, на другое утро, съёздиль еще къ нему вы нумерь и просиль его письмоводителя, экс-квартальнаго, о посиёшеніи передачи моей уставной граматы кандидату г. Б. И съ этой стороны было обещано немедленное исполненіе моей просьбы, что, впрочемь, было и нетрудно, и легко для самаго страстнаго поклонника кейфа. Вду я къ себе въ деревню, на этоть разь уже безь малейшаго скептицизма, потому что кандидать посредника любить исполнять свои обещанія. Однакожь, черезь недёльку времени я навёстиль его.

- Сейчасъ же повхаль бы къ вамъ сказаль онъ мив. Да вотъ, видите ли: добрвишій г. Б. прислаль мив вашу уставную грамату и съ копіями, да не приложиль къ нимъ своей печати, а безъ этого и не могу приступить къ двлу. В вроятно онъ позабыль это сдвлать. Теперь жду отъ него печати, о чемъ и письменно просиль его. Какъ только получу, сейчасъ же къ вамъ.
- Ну—думаю себъ, возвращаясь домой отъ кандидата. Теперь дъло мое въ шляпъ: одна присылка печати уже не можетъ затруднить самаго отчаяннаго кейфиста. Но, видно, я тогда невполнъ еще понималь всю несокрушимую силу того апатичнаго славянскаго кейфа, по милости котораго потребовалось цълое тысячелътіе для заведенія у себя порядка...

Цълый мъсяць провель я въ сладкой надеждъ, что вотъ-вотъ дъло мое окончится надняхъ. Трудно ли прислать на день печать къ своему кандидату? Неужели труднъе имениныхъ и разныхъ прочихъ угощеній, на которыя быль и не скупъ, и большой мастеръ благодушнъйшій г. Б.? Но, по истеченіи мъсяца, сперва сладнаго, а потомъ томительнаго ожиданія, вмъсто кандидата посредника, ко мнъ являются волостные старшина и писарь, и подають мнъ мою уставную грамату.

- Что это значить? спросиль я примедшихь ко мет quasi-властей.
- Уставная грамата, отвъчали въ одно время объ quasi-власти.
- А когда же она будеть введена въ дъйствіе? переспросиль я.
- Да она ужъ введена.
- Какъ введена? Да въдь для этого необходимо было прівлать въ имъніе самому г. посреднику, или его кандидату, потому что старшинъ не предоставлено ни мальйшаго права введенія уставныхъ грамать.
- Я этого не знаю, отвъчалъ старшина.—Но только г. Б. приказалъ мив передать вамъ эту грамату и объявить, что она уже введена, что означено и въ самой граматъ, гдъ и печать приложена.

Взяль я грамату и заглянуль въ нее. И печать, и подпись посредника въ ней находятся. Но сверхъ этого находится въ ней и еще кой-

что весьма курьезное, чтобы не сказать скандалезное, а что вменно находится, о томъ слёдують пункты:

- 1) Написано на предпоследней странице такъ: 1862 года 23 марта уставная грамата прочтена на сходки при такихъ-то (следують имена крестьянъ выборныхъ) и затемъ: введена въ дъйствие мировымъ посредникомъ 1-го участка.
- 2) Написано еще: 21-го марта утверждена мировымъ съпздомъ. — Что же это такое? подумаль я. Въ важный офиціальный акть вписано то, чего никогда не было, а невписано того, что было, а именно: грамата введена 23-го марта — этого не было, а что грамата предварительно повърена 7-го марта — это было; но этого не вписано... Что же это такое?.. Какъ бы сказать помягче? Не придумаю, и потому скажу прямо: это - офиціальная общественная ложеь, затесавшаяся въ офиціальный общественный акть и порожденная или славянскимъ кейфомъ весьма честнаго и благодушнаго г. В., или художественностію его письмоводителя, экс-квартальнаго, о которомъ ходять, по всёмь тульскимь мировымь участкамь, громкіе слухи, какь о страстномъ любителъ и великомъ виртуозъ всянихъ этанихъ посильныхъ и насильныхъ жертвоприношеній, и умівшаго превратиться изъ письмоводителя въ руководителя благодушивищаго г. Б. Но только это паралитическое благодушіе ультра-амфитріона, въ соединеніи съ ястребиною мудожественностью экс-квартальнаго, и увънчанное офиціальною ложью, приготовило для меня чашу, полную самого что ни есть горчайшаго питья, особенно по контрасту его съ клодъ-вужо и шато-икемъ имениннаго объда. Вотъ какой вкусъ инбеть это офиціальное питіє:
- 1. Срокъ платежа оброковъ насталь у меня еще 1-го октября. Но крестьяне и не думали, платить ихъ. «Посредственникъ не прійзжаль, стало быть, можно и не платить», бормочуть они про себя.
- 2. Выкупнаго условія не подписывають и даже ненамфрены подписать, и все потому, что «посредственникь не пріфажаль».
- 3. Я далъ престыянамъ льготу мъсяцъ, потомъ другой, третій. Но и послъ этого они нетолько не уплатили оброка, но даже и не начинаютъ уплачивать, не платятъ ни копъйки, потому что «посредственникъ не пріъзжаль; ну и можно не платить».

А туть давно уже насталь срокь платежа процентовь въ опенунскій совъть, да еще нужны деньги на вольнонаемный трудь, начавшійся въ имѣніи съ прекращеніемь барщины. Какъ туть быть? что дѣлать? А между тѣмъ у моего сосѣда, исправника, и выкупное условіе крестьяне подписали давнымъ давно, и оброкъ ему платять исправно, потому что

прівзжаль туда самь «посредственникь», т. е. таму было дъйствительное, а не облыжное введеніе ву дъйствіе уставной граматы.

Жутко пришлось мив!

Въ первыя недёли послё визита ко мий старшины и писаря я было собирался поёхать къ «благодушнёйшему» и слезно умолять его помочь моей бёдё и поправить своимъ ко мий пріёздомъ испорченное дёло. Но разныя лица стали мий говорить, въ видё утёшенія, что не я одинъ пью такую чашу, но что весьма и весьма многіе землевладёльцы 1-го участка терпять то же самое, и что поэтому даже создалась поговорка: «въ 1-мъ участкё уставныхъ грамать введено нуль». Разумбется, несовсёмъ нуль, а очень мало.

## Вторая кореспонденція \*).

Въ № 36 «Голоса» я описываль подвиги служебной дъятельности т. Б., мироваго посредника 1-го участка тульскаго увада. Хотя послв написанія мною той статьи прошло немного времени, но много утекло воды, много измёнилось и совершилось новаго въ той средё, въ которой г. Б. упражнялся въ славянскомъ кейфъ. Въ послъднее время упражненія эти приняли самые громадные разміры, т. е. полнійшая бездъйственность г. посредника вызвала всеобщій ропоть. Почти всъ прошенія, даже самыя законныя и серьезныя, подаваемыя ему разными землевладъльцами, а въ томъ числъ и мною, оставлялись шаго вниманія, неисполненными и даже безь отвъта. А между тъмъ, чёмъ болёе сибаритничаль г. Б., тёмъ наглёе становилась ястребиная художественность его письмоводителя, который все расширяль и усиливаль систему таинственныхъ и беззаконныхъ поборовъ съ крестьянъ 1-го участка. Вначалъ тикіе, робкіе и сдержанные, стоны обираемыхъ и высасываемыхъ жертвъ раздались, впослёдствіи, громче дошли до тёхъ, кому подобало это знать. Г. посреднику сдёланы были замъчанія насчеть этихь слуховь о его письмоводитель. Но г. Б. стояль за него горою.

Въ началъ февраля сего 1863 года, одинъ дворовый человъкъ, у меня въ имъніи, и его жена были обвинены въ уголовномъ преступленіи. Дъло это, какъ о дворовомъ человъкъ, подлежало первоначально обсужденію мироваго посредника, но не дошло до него, а было передано старшиною прямо становому приставу, вслъдствіе того, что г. Б. не изволить самъ заниматься большею частію дъль своего участка, а пе-

<sup>\*) 1863</sup> года, № 69.

редаль ихъ на руки волостныхъ старшинъ, на подобіе того, какъ онъ передаль старшинъ дъло о введеніи у меня уставной граматы.

Наконецъ, мъра неправдъ и беззаконій переполнилась, и я ръшидся дъйствовать во имя правды и справедливости, и въ защиту правъ и самыхъ кровныхъ интересовъ обитателей 1-го участка, правъ и интересовъ, попранныхъ апатією и бездёйстіємъ посредника и дёйствіями его письмоводителя. Февраля 14-го я подаль тульскому по крестьянскимъ дъламъ присутствію жалобу на посредника 1-го участка. Въ первой части этого, довольно пространнаго документа и излагаль исторію облыженаго введенія у меня уставной граматы, т. е. пом'єстиль въ жалобъ, съ нъкоторыми измъненіями, сокращеніями и пропусками, статью мою, помъщенную въ № 36-мъ «Голоса». Во второй части изложилъ я нъсколько фактовъ самаго воніющаго служебнаго бездъйствія г. посредника, имъвщихъ чрезвычайно вредныя последствія для землевладельцевь перваго участка. Для лучшаго уразумёнія дальнёйшихь фазисовъ и перешитій этой, такъ сказать, юридической драмы, излагаемой мною передъ судомъ общественнаго митнія, я нахожу необходимымъ привести вступление и заключение моей жалобы. Вотъ они:

«Вынужденный жаловаться на незаконныя дъйствія мироваго посредника 1-го участва, т. Б., считаю необходимымъ войти въ разныя подробности для того, чтобы вполнъ и ясно изобразить всъ тъ многочисленныя непріятности, оскорбленія, нравственныя и матеріальныя потери и страданія, которыя переносиль я въ продолженіи многихъ мъсяцевъ, и переносиль вслъдствіе полнаго невниманія въ своимъ обязанностямъ, совершеннаго равнодушія въ интересамъ землевладъльцевъ 1-го участва и образцовой недъятельности г. Б.

#### И затъмъ:

«Заключаю мою жалобу на г. посредника В. обвиненіемъ, что вслъдстіе его постояннаго и долговременнаго бездъйствія, въ первомъ участкъ гооподствуетъ полнъйшая анархія, совершенный хаосъ, такъ что если это продолжится еще нъсколько времени, то слъдуетъ ожидать величайшихъ безпорядковъ и неурядицы въ отношеніяхъ между землевладъльцами и бывшими ихъ врестьянами, о чемъ имъя честь донести тульскому губерискому присутствію, прошу у него защиты и правосудія, противъ нарушенія правъ, даруемыхъ землевладъльцамъ «Положеніемъ 19-го февраля».

Наканунъ подачи этой жалобы пришель въ Туду 36-й нумеръ «Голоса». Это была бомба, упавшая среди большаго города (въ 58 тысячъ населенія). Разрывъ этой бомбы, т. е. чтеніе кореспонденціи «Голоса» про-

извело различныя действія: некоторые были поражены изумленіемь, смущеніемь и страхомь, но большинство оть души сменлось, и многое множество веселились и радовались смелой правде и спасительной гласности. Въ тульскомъ клубе нумерь 36-й «Голоса» переходиль изъ рукь въ руки, читался съ жадностью, и на другой день пошель обходить весь городь. Въ этотъ же день быль и мировой съёздь, на которомъ кто-то сказаль собравшимся тульскимъ посредникамъ (кроме г. Б., котораго тамъ не было; онъ оставался въ своей деревне):

- Господа! вамъ следуеть отвечать на статью «Голоса».
- Вовсе не сабдуетъ, отвъчали посредники: потому что, вопервыхъ, статья эта относится къ г. Б., такъ пусть онъ и отвъчаетъ самъ за себя; во вторыхъ, отвъчать трудно, потому что въ статьъ, отъ начала до конца, все правда; наконецъ, въ третьихъ, это дъло литературное, а мы литературою не занимаемся.

На другой день послё подачи мною жалобы, являлось ко мнё нёсколько землевладёльцевь (одинь тверской), съ изъявленіемъ живёйшей благодарности за мою статью, которая, по ихъ словамъ, должна имёть самыя благодётельныя послёдствія, нарушивъ безиятежный, но для общества весьма вредный, сонь тёхъ, къ несчастію, многихъ посредниковъ, которые слишкомъ рано вздумали опочить на скороспёлыхъ лаврахъ, или поколебавъ самоувёренность и фетишизмъ тёхъ другихъ, и тоже многихъ, посредниковъ, которые иногда позволяютъ себъ большой про-изволь, вообразивъ себя непогръщимыми, какъ римскіе цапы, и непри-косновенными, какъ испанскіе гранды.

Господину Б. предъявили мою жалобу и потребовали отъ него объясненія. Между тёмъ, недёли черезъ двё, я прійхаль въ Тулу навёдаться о послёдствіяхъ моей жалобы. И каково было мое изумленіе, когда одинъ изъ моихъ знакомыхъ сообщиль мнё, что «я проиграю свое дёло, что я неправъ, потому что г. Б. дёйствительно прійзжаль но мнё въ имёніе и лично ввель тамъ уставную грамату, и что этотъ фактъ быль засвидётельствованъ моею собственноручною подписью».

«Какъ это?» возразиль я съ изумленіемь: «вёдь всей деревнё извёстно, что г. Б. только одинь разь, 7-го марта, прійзжаль въ имёніе, для повёрки уставной граматы, и съ тёхь порь не быль тамъ ни ногой. Это доказывается еще слёдующими важными обстоятельствами: вопервыхь, въ находящейся у меня копіи съ уставной граматы значится, что г. посредникъ вводиль грамату 23-го марта, тогда какъ всёмъ извёстно, что еще за недёлю до этого числа началась распутица, продолжавшаяся болёе мёсяца, такъ что 23-го марта не было никакой воз-

можности, въ какомъ бы то ни было экипажъ, добраться до меня за 15 верстъ; вовторыхъ, у моихъ крестьянъ отръзывалось болъе 40 десятинъ лишней земли, и сверхъ того, по случаю разверстанія къ однимъ мъстамъ, отходило отъ нихъ одно пахатное поле, взамънъ котораго отводилось имъ поле въ другомъ мъстъ. Такія важныя перемъны требовали непремънно, чтобы посредникъ, при введеніи уставной граматы, указаль имъ новую ихъ землю и при этомъ объяснилъ, для чего сдъланъ этотъ обмънъ, а равно и отръзка отъ нихъ сорока-четырехъ десятинъ земли. Безъ такого указанія уставная грамата теряетъ большую часть своего значенія и силы. Вслъдствіе-то этого непріъзда ко мнъ посредника и неуказанія имъ, крестьянамъ, границъ ихъ земли, они и упорствуютъ въ нежеланіи подписать выкупное условіе».

— Все это такъ, сказалъ мой знакомецъ. Но только не знаю, какъ это случилось, а вы подписали уставную грамату. Събздите къ кому слъдуетъ и посмотрите.

Побхаль я нь кому следуеть, взглянуль на уставную грамату и, нь величайшему моему изумленю, прочиталь въ конце этой граматы, на одной странице, протоколь введенія ея въ действіе 23-го марта, а на другой — мою подпись, за которою следовали подписи техь же самыхъ выборныхъ крестьянь, которые прежде подписали повёрку граматы. Но только меня поразиль странный почеркь этой подписи: рука похожа на мою, но несовсёмь; слова: къ сей уставной грамоть отставной магоръ Н. П. М. руку приложилъ были начертаны самою нетвердою, дрожащею рукою, крупными буквами, почти каракульками, и представлям кривую, ломанную линію, тогда какъ моя обыкновенная подпись бываетъ пряма и мелка. Но все таки подпись эта напоминала мой почеркь. Что бы это значило?... Или у меня память отшибло? Наконець, эта память ожила, воскресила одно страшное событіе моей жизни, и при этомъ озарило свётомъ соображенія самую недостойную со мною продёлку, которую опишу я во всей ея наготё.

10-го іюля 1862 года, въ теплый лётній вечерь, возвращался я, на пролетив, съ покоса домой. Когда я въёзжаль въ деревню, лошадь взбёсилась и понесла меня прямо въ оврагь. Кучеръ повернуль ее назадъ, но слишкомъ круто, такъ что она взвилась на дыбы и, затёмъ, брякнулась со всёхъ ногь на землю, а пролетка перевернулась кверху колесами и изломалась въ дребезги. Я же отлетёлъ на нёсколько шаговъ влёво и ударился лёвымъ бокомъ о землю. Какъ и отчего я не быль убитъ тогда на ийстё, это — такое чудо, котораго и по сію пору объяснить себё я не съумёю. Крестьяне подняли меня, походившаго на

трупъ; положили на разостланный холстъ и, принеся въ мой домъ, сложили на диванъ. Нёсколько недёль пролежаль я, и не могъ пошевелиться, не ощущая сильнёйшей боли въ лёвомъ плечё, рукё и ногё.

Дней черезъ песть или семь посль этой катастрофы, лежаль я въ своемъ кабинеть, на дивань, неподвижный, и могь владыть, и то съ трудомь, только одною правою рукою. Я видыть, какъ докторь сомнительно покачиваль головою, а домашніе ходили вокругь меня на цыпочкахь и съ заплаканными глазами, и потому я готовился уже къ вёчности. Въ самыя эти грозныя минуты явился ко мив въ прихожую волостной писарь и объявиль, что онъ прислань ко мив отъ мироваго посредника, для того, чтобы я подписаль уставную грамату. Въ отвётъ ему повторяли нёсколько разъ, что я нахожусь при смерти, и что теперь не время безпокоить меня. Но писарь не удалялся и объявиль рёшительно, что онъ не уйдеть, пока я не подпишу уставную грамату, и что онъ получиль такой строгій приказъ отъ самого г. посредника. Нечего было дёлать противъ такого наглаго вторженія вь мой домъ, и потому мив доложели о приходё писаря. Я велёль нозвать его къ себъ въ кабинеть.

«Что вамъ надо?» спросиль я слабымъ голосомъ.

— М. Ив. Б. приказаль сказать вамь, чтобы непремънно подписали эту грамату, безь чего она не можеть быть введена въ дъйствіе.

Я не спориль, а приказаль подать себь перо и тетрадь ноть въ переплеть, которую приставили къ моей груди, наподобіе цюпитра, положили на него уставную грамату, и затыть, подъ диктовку писаря, и подписаль или, върные, нацарапаль дрожащею рукою и съ величайшимь усиліемь подпись, о которой говорилось выше. По совершеніи этого я совершенно обезсильль и впаль въ изнеможеніе. Писарь ушель. Недыли черезь три я всталь съ постели и хоть съ большимь трудомь, опираясь на палку и поддерживаемый подъ руку, могь уже перейти черезь комнату и сидыть въ кресль. Въ конць августа я уже могь вывхать къ ближайшему сосыду, у котораго видылся съ посредникомъ, и все безъуспышно просиль его прібхать ко мив, для введенія уставной граматы.

Между тъмъ, одолъваемый славянскимъ кейфомъ, т. е. непомърною лънью, г. Б. ръшился на слъдующую продълку: составиль съ своимъ письмоводителемъ ложный протоколъ небывалаго введенія у меня уставной граматы и вписаль эту ложь, заднимъ числомъ, въ уставную грамату; но только не знаю: до или послъ моего подписанія каракульками. Затъмъ, не останавливаясь на полудорогъ къ подлогу, убъжденіями, или

угрозами, заставили выборных врестьянь подписать этоть подложный протоколь и, такимь образомь, совершили формальный подложный документь. Наконець, эта миническая уставная грамата впослёдствіи была препровождена въ губернское присутствіе, гдё и хранится въ настоящее время. Но подъ конець Богь попуталь неразумных и неосторожных фабрикантовь офиціальной лжи и подлога; они обличили въ этомь сами себя, и воть какъ:

Когда всяждствіе моей жалобы, губернское присутствіе потребовало отъ посредника объясненія, то этотъ посабдній совсёмъ позабыль о совершенномъ имъ подлогъ, которымъ, иначе, легко могъ бы воспользоваться, отвъчая, что онъ вводиль лично у меня уставную грамату, что засвидътельствовано моею подписью. Вийсто того, г. Б. отвичаль такъ: «Я не считаль нужнымь прібзжать въ имёніе для введенія тамъ уставной граматы». Истино институтская наивность! Не считаль нужнымъ !!??... А зачёмъ же г. Б. счель нужнымъ вписать въ уставную грамату ложь, заднимъ числомъ? И на что же издано «Положеніе», въ которомъ именно сказано, что посредникъ обязанъ непремънно лично вводить уставную грамату и указать престьянамъ границу ихъ земли, въ особенности тамъ, гдъ есть отръзка земли отъ крестьянъ или церемъна ихъ пашии на другую. А у меня было и то, и другое. Неменве наивно было объяснение г. В. насчеть того, что онь не озаботился согласить врестьянь на подписание выкупнаго условия: «Я не обязань принуждать ихъ нъ этому». А что же означаеть название мировой посрединко, какъ не то, что онъ обязань соглащать и мирить между собою землевладёльцевь и крестьянь.

Итакъ, г. Б. сознался офиціально и на бумагѣ, что онъ не прівзжаль ко мнѣ въ имѣніе вторично, для введенія уставной граматы, т. е. сознался въ томъ, что онг совершилз подложный документь. Отказываюсь отъ дальнѣйшихъ коментарій на этотъ поступокъ: факты говорять сами за себя. Теперь же подождемь и посмотримъ, какъ и чѣмъ рѣшитъ губернское присутствіе это серьёзное дѣло, о чемъ не премину подѣлиться съ читателемъ «Голоса». Во всякомъ случаѣ, въ какой бы инстанціи ни рѣшилось окончательно это дѣло, изъ него вытекаютъ два неизбѣжные вывода: или г. Б. долженъ быть судимъ за совершеніе имъ подлога, если я докажу это — или, если я не успѣю доказать, то я самъ долженъ быть судимъ за ложное обвиненіе.

Подождемъ и посмотримъ.

Рожествино, 1863 года, 7 марта.

## нотаріальный вопросъ.

Вопросъ о старшихъ нотаріусахъ, это — вопросъ чрезвычайной важности. Учрежденіе этихь нотаріусовъ, или върнъе, правила, которыми окружена дѣятельность этого учрежденія; правила донельзя придирчивыя и стѣснительныя, предоставляющія широкое поле для произвола и кривотолкованій, сдѣлали изъ старшаго нотаріуса учрежденіе неудавшееся, юридическое фіаско, отъ котораго постоянно и страшно страдаютъ интересы всего общества. Страданія эти порою невыносимы и возбуждаютъ повсемѣстныя жалобы и ропотъ, и вопіють о скорѣйшемъ преобразованіи неудавшагося учрежденія. Но увы! Часто самыя неотложныя преобразованія осуждаются на черепашье шествіе. Поэтому необходимо пользоваться каждымъ случаемъ, чтобы напоминать кому слѣдуетъ о страданіяхъ общества отъ неудавшихся учрежденій и о необходимости скораго ихъ измѣненія. Поэтому же самому и я помѣщаю здѣсь мою статью о нотаріатъ, которая была напечатана въ 287 комерѣ «Новаго времени» 1875 года.

Представьте себъ какое нибудь промышленное заведеніе, заводь, фабрику и т. п. Между разными машинами тамъ была одна, весьма несложная, съ однимъ колесомъ, которан въ день производила извъстную сумму работы. И вдругъ нашли, что эта машина устаръла, не соотвътствуетъ современному прогрессу. И вотъ какіе-то велемудро-хитрые механиви придумали, взамънъ одноколесной, машину съ двумя колесами, которая, разумъется, стоила вдвое дороже. Пустили ее въ ходъ. Оказалось, что эта двухколеска потребовала цълый мъсяцъ для производства той работы, которую одноколеска производила въ одинъ день. Спрашивается: прогресъ это, или нътъ?

Точь въ точь такой же прогрессъ, относительно крепостных актовъ, представляетъ собою учреждение ногариата, въ особенности старшихъ

нотаріусовь, этого второго колеса нотаріальной махины, замінившей гражданскія налаты. Вёроятно, девять десятыхь изъ тёхъ. приходилось совершать крепостные акты, испытали, новый нотаріальный порядокъ страшно затормозиль это дёло, такъ что на самую чистую, безспорную продажу и покупку совершение купчей кръпости, производившееся бывало въ гражданскихъ палатахъ въ день и иного въ два, требуетъ теперь по меньшей мъръ мъсяцъ и болве. Часто многіе мвсяцы тянется это совершеніе, по милости гг. стартихъ нотаріусовъ, измышляющихъ непрерывную, безконечную цёдь препятствій, задержекь, придпрокь, притязаній, подозрівній, сомнівній, фантастическихъ, небывалыхъ запрещеній и пр. Нъкоторые умозрители говорять: осторожность требуеть такой медаительности отъ нотаріальныхъ Фабіевь для того, чтобы не могло произойти подлоговь и обманныхъ продажь и покуповь. Такь ли это? Смело отвечаю: не такь. Стёснительныя мёры и притязанія при совершеніи крёпостныхъ актовъ не приносять никому ни мальйшей пользы, не предупреждають ни мальйшаго зла, потому что хитрый, ловей и опытный плуть съумбеть обойдти всякій законь, проскользнуть съ обманемь или подлогомь мимо носа самаго придирчиваго старшаго нотаріуса. Стёсняють же эти придирки однихъ только честныхъ людей и причиняють огромный вредъ и ущербъ частиымъ сдбакамъ, продажамъ и покупкамъ. Я приведу неопровержимые и красноръчивые факты для доказательства моихъ утвержденій, и факты не единственные, а взятые изъ тысячи подобныхъ фантовъ.

Въ 1838 году г-жа Б. отдала въ приданое за своей дочерью имъніе, въ Тульскомъ убъдъ, и дала своему зятю г-ну М., въ ожиданіи кръпостнаго акта, полную довъренность на управленіе тъмъ имъніемъ, съ правомъ заложить или продать его. Въ 1845 году г. М. овдовълъ и продолжалъ управлять имъніемъ тещи. Въ 1861 году, вслъдствіе прошенія его, моск. опекунскій совътъ перевель числящійся на имъніи долгь по займу на крестьянскій надъль, снявъ запрещеніе съ земли залогодательницы г-жи Б., о чемъ тогда же и увъдомиль оффиціально г-на М. и тульскую гражданскую палату. Наконецъ, въ 1865 г. была совершена въ тульской гр. палатъ дарственная запись, по которой г-жа Б. отдала свое тульское имъніе своимъ внукамъ: сыну и дочери г-на М. И несмотря на то, что на имъніи оказалось небольшое запрещеніе по иску въ 1836 году (искъ этотъ быль уже давно прекращевъ, но запрещеніе еще не было снято), совершеніе дарственнаго акта потребовало не болье двуль дней. Въ томъ же 1865 г. сынъ г-на М. про-

далъ отцу свою часть изъ материнскаго наслъдія, и купчая эта совершена была въ палатъ тоже въ два дня.

Въ 1868 г. г-нъ М. продадъ своей жент купленное у сына имтніе, похлопотавъ прежде о снятіи лежавшаго на немъ запрещенія по прекращенному старому иску. Но не смотря на то, что имтніе это сдълалось уже совершенно чистымъ и свободнымъ, т. е. было, какъ говорять, безъ сучка и задоринки, болье мъсяца потребовалось на совершеніе купчей у г. старшаго тульскаго нотаріуса, который значительную часть дня и ночи проводиль надъ измышленіемъ разныхъ препонъ и тормозиль самымъ немилосерднымъ, свиртнымъ образомъ дтло всякой продажи и покупки. Вслъдъ за совершеніемъ купчей, г-ну М. посчастливилось: быль учиненъ вводъ во владтніе его жены, хотя эта формальность и была упущена изъ виду при совершеніи дарственной записи и потомъ при покупкт имтнія отцомъ у сына.

Мъсяца два спустя послъ этого, нъкто Бу—въ купиль имъніе, сосъднее съ имъніемъ г-жи М. Продавецъ г. А., показывая землю покупщику г. Б., сказаль, въроятно, въ шутку:

- Воть эту отхожую пустошь Дьяково, 100 десятинь, я продаю вамь. А этими прилегающими къ ней 18-ю десятинами владъеть г-жа М. Но оню мои, и если вы сможете, то возъмите их себъ.
- Г. Бу—въ намоталь себъ на усъ эти шуточным слова и, вскоръ послъ того, пригласилъ къ себъ частнаго землемъра, который, по его указанію, обмежеваль всю землю, и купленную имъ у г-на А., и принадлежащую г-жъ М., и положиль ее на планъ, какъ собственность г-на Бу—ва. Затъмъ, онъ не остановился на полдорогъ, а пошель гораздо далъе: взялъ да и заложиль въ банкъ и свою, и чужую землю, предварительно получивъ на это свидътельство отъ г. старшаго нотаріуса.

«L'appétit vient en mangeant», говорить французская пословица, а аппетить у г-на Бу—ва быль волчій. Онь взяль да и продаль и свои 100, и принадлежащія г-жё М. 18 десятинь одному врестьянину, Пе—ву, грамотному, толковому и прослужившему года три членомътульской земской управы. И купчая быля совершена.

При вводъ во владъніе бъднаго покупщика Пе—ва продълки Бу—ва вышли наружу: понятые всъ въ одинь голось завопили, что облыжно проданныя 18 десятинь никогда Бу—ву не принадлежали, а находились въ безспорномь владъніи г-на М. болье 30 льть. Зычно взвыль бъдный крестьянинь Пе—въ, придавленный, такъ сказать, тяжестью ибсколькихъ соть кровныхъ и трудовыхъ своихъ рублей, вытащенныхъ изъ его небогатаго кариана. Пошло дъло, да, кажется и теперь оно

еще продолжается. Бёдный крестьянинъ Пе—въ продолжаетъ зычно выть о покражё у него кровныхъ денежекъ; Бу—въ продолжаетъ преспокойно жить да поживать, да вёроятно придумывать и обдумывать новыя козни и злоухищренія на чужую собственность; г-жа М. продолжаетъ крёпко владёть законно пріобрётенными 18-ю десятинами отхожей пустоми Дьяковой; а г. старшій тульскій нотаріусъ продолжаетъ денно и нощно корпёть до истомленія надъ изобрётеніемъ тормазовъ и закорючекъ. А въ подтвержденіе этого приведу еще одинъ фактецъ, свёженькій, горяченькій.

Въ іюль сего 1875 года г-жь М. нужно было получить, для одного денежнаго оборота, свидътельство на свое имъніе; и, по особой благости Провидънія, она весьма скоро получила его, что весьма естественно, потому что имъніе ен было совершенно чисто и свободно. А въ октябръ того же 1875 г. потребовалось наконецъ ввести дочь г-на М. во владъніе имъніемъ, отданнымъ ей бабкою г-жею Б. На основаніи довъренности отъ дътей, г. М. подаль въ тульскій окружной судь прошеніе объ этомъ вводъ. Назначенъ быль день къ слушанію этого дёла. И.... о боги и богини древняго Олимпа!... О музы древняго Геликона!... О всь вы, миническія чада древней Эллады, измышленныя для представительства и покровительства всиких искусствь, даже всяких страстей и страстишекъ... Который же или которая же изъ васъ покровительствуеть нашимъ старшимъ нотаріусамъ и вдохновляєть ихъ велемудрыя головы и пылкія, бурныя, неистощимыя воображенія, геніально измышляющія тыму тымущую закорючекь, заковычекь, придирокь для торможенія кръпостныхь актовь? Не ты ли, о достопочтеннъйшая госпожа Оемида, снабжаешь такимъ роковымъ вдохновеніемъ нашихъ старшихъ нотаріусовъ вообще, а тульскаго въ особенности? Какую же плохую, чтобы не сказать скверную, услугу оказываешь ты юридически или, върнъе, нотаріально-многострадальному россійскому обществу вообще и тульскому въ особенности!... Но возвращаюсь къ тульскому окружному суду.

Настала минута слушанія дёла о вводё во владёніе дочери г-на М., дёла самаго простаго, нехитраго. Но увы! почтенный г. старшій тульскій нотаріусь, вдохновенный почтенною г-жею Фемидою, а можеть быть и другимь какимь либо древнимь греческимь, или египетскимь, или халдейскимь божествомь, затормозиль своею нотаріально-художественною дланію это нехитрое дёло ввода во владёніе. Онь открыль запрещеніе на этомь имёніи, столь же чистомь и свободномь, какь и имёніе г-жи М., на которое самь же онь, старшій тульскій нотаріусь, три мёсяца

тому назадъ, выдалъ свидътельство безъ всякихъ закорючекъ, а теперь онъ же, г. старшій тульскій нотаріусъ, открылъ запрещеніе, въроятно взглянувъ на это дъло въ микроскопъ, а можетъ быть и въ телескопъ, а можетъ быть и въ телескопъ, а можетъ быть и въ телескопъ,

И такъ, дъло было заторможено. А г-ну М. до заръзу необходимо было спъщить въ Петербургъ. Съ отчанніемъ и негодованіемъ въ душъ онь принуждень быль отложить свой отъбздь, къ явному ущербу своихъ дълъ. По счастію, обощнось на этотъ разъ безъ примъненія къ дълу нословицы о «бросаніи камня въ воду и доставаніи его оттуда десятью умниками». Сейчась же наведена была справка, по которой оказалось, что г. старшій тульскій нотаріусь, по пословиць «слышаль звонъ, да не знаетъ, гдъ онъ», заглянулъ только въ запретительныя статьи, въ одной изъ которыхъ видно было, что когда-то на иманіи г-жи Б. лежаль долгь опек. совъта. И затъмъ не даль себъ труда заглянуть въ отмънительныя статьи, въ одной изъ которыхъ ясно видиълось, что уже болье 10 льть, какь долгь тоть быль переложень на крестьянскій наділь съ имінія г-жи Б., которое, поэтому, было совершенно свободно. Это самое освобождение отъ запрещения видно было даже изъ самой дарственной записи, представленной въ судъ г-иъ М. Но г. старшій нотаріусь не соблаговолиль этого усмотръть, а заблагоразсудиль лучше затормозить самое легкое и нехитрое дело ввода во владеніе, потому что такое торможенье посредствомь самыхь вопіющихь придирокъ, крючковъ и притъсненій составляло всю суть, постоянную и главную задачу его нотаріальной дъятельности. Да еще въроятно на его тормозильной совёсти камиемъ лежало и то, что онъ незадолго передъ тъмъ такъ скоро выдаль свидътельство г-жъ М. Надо же было наверстать такой нотаріальный промакъ. Но тульскій окружной судь поступиль весьма справедливо и гуманно: назначиль вторичное слушание этого дъла на другой же день, чтобы не держать долго въ Туль г-на М. Влагодареніе, хвала и честь тульскому окружному суду!

## ЕЩЕ КОЙ-ЧТО О МОЕЙ МСТИТЕЛЬНОСТИ.

Каясь въ моихъ гръхахъ, въ 3-й главъ второй вниги и сознавался въ моей истительности и называль ее оборотною стороною благодарности. Разскажу теперь объ одномъ случав такой истительности, о которомъ и забыль сказать во второй книгв. Быль у меня когда-то другь, преданно любиль и въ дружбу котораго въровалъ я какъ въ Бога. Но увы! Другъ этотъ разыграль со мною роль Іуды Искаріотскаго, съ тою разницею, что Іуда продаль и предаль Христа за 30 сребрениковъ, которые, въроятно, по тогдашнему курсу, представляли значительную сумму; тогда какъ Туда новыхъ временъ отрекся отъ друга только за то, что тотъ не льстилъ ему, а говорилъ правду. И мало того, что отрекся, но при этомъ жестоко, безжалостно оскорбиль и его любящее сердце, и его самолюбіе, затоптавь ихъ въ грязь насмѣтекъ и пренебреженія. Въ продолженім 12-ти лъть это вровавое раскаленнымъ желбзомъ лежало на диб моей души и причиняло тельную боль, пока, наконецъ, не утолилось оно местію, излившеюся громкими жалобами на бумагъ. Прошло послъ того 15 лътъ. уже седьмой десятокь лёть и, не сегодня такъ завтра ожидаль моей очереди отправится Туда. Желая примириться со всёмъ прощлымъ, н посладъ тогда моему бывшему другу только что вышедшій изъ печати мой «Полный французско-русскій словарь», вложивъ въ него листокъ, на которомъ написаль только три слова: Война или миръ? Словарь быль принять, но отвёта никакого, т. е. протинутая на примиреніе рука была отголянута. Сильно огорчило это меня; но я перенесъ ударъ теривливо и не промодвиль ни слова. Года черезь два послё того я вдругъ захворалъ и уже думалъ, что, наконецъ, насталъ для меня часъ освобожденія изъ мрачной тілесной тюрьмы. тался еще разъ примириться, чтобы не уносить съ собою Туда ни малъйшаго враждебнаго чувства. Съ этой цълію я написаль и отправиль кому слъдуеть письмо такого содержанія:

«С.П.бургг, 1866 года, априля...

#### «Милостивый Государь!

«Скоро начну я восьмой десятокъ лётъ и, стало быть, мнё придется въ непродолжительномъ времени отправится Туда, въ неизвёстныя
страны. Но что мнё хорошо извёстно, такъ это вотъ что: чёмъ мёнёе будетъ въ сердцё горькихъ, непріязненныхъ чувствъ, чёмъ болёе
накопится въ немъ примиреній съ враждебными воспоминаніями въ торжественныя предсмертныя мннуты, —тёмъ легче, тёмъ успокоптельнёе
будетъ отправленіе изъ здёшней жизни. Поэтому протягиваю Вамъ
руку на полное примиреніе и забвеніе враждебнаго прошлаго, надёясь и
въ Васъ встрётить такія же чувство и желаніе. Вёдь между нами не
лежить никакой «кровавой и незабываемой обиды», а только одно боліте
или менёе оскорбленное самолюбіе. Достоинъ ли христіанина и философа такой ничтожный мотивъ для вочной вражеды? Итакъ протягиваю
Вамъ руку безъ всякой задней мысли и съ нетерпёніемъ буду ожидать
Вамего отвёта.

# «Примите увъреніе. . . . . . . »

Увы! Ни единой строчки отвъта. У христіанскаго Іуды сердце оназалось несравненно болье окаменьлымь, чёмь у Іуды еврейскаго, у котораго всетаки подь конець совъсть проснулась и онь... повъсился.
Страшно огорчила и оскорбила меня такая сердечная окаменьлость и, на
этотъ разъ, я не выдержаль, взялся за перо и написаль сатиру, которая была помъщена въ «Петербургскомъ Листвъ». А теперь нахожу
не лишнимъ помъстить и здёсь эту сатиру, для полнъйшаго изображенія
моей личности.

# METAMOP ФОЗЫ

изъ давно-прошедшаго.

#### CATHPA.

Не тотъ уменъ-умно кто началъ, А тотъ — окончитъ кто умно.

(Японская пословица).

Взбесился отъ жира
Рябой сатана.
Не кочешь ты мира—
Война, такъ война.
Исчадіе ада!
Продажей ты яда
Вогатство стяжаль.
Губитель Китая!
Народь отравляя,
Ты въ люди попалъ.
И проклятый міромъ
Рябой сатана,
Зальешься ты жиромъ,—
Вейна, такъ война.

(Эпиграмма на продавца опіума. Переведено съ китайскаго).

## Вступленіе.

Когда сивуха, въ дни былые Обогащая, батрановъ Вела въ чертоги золотые Изъ душныхъ, грязныхъ кабаковъ; Тогда у выскочки-скотины Не только въ залахъ, но въ съняхъ Являлись разныя картины

И милліоны въ сундукахъ,
Что выжимали изъ народа
Обмёромъ сквернаго вина,
Въ шинкахъ картаваго урода,
Того плебея, чья спина
Ужъ не боялася ударовъ
За недомёры недогаровъ,
За плутни всёхъ его конторъ,
Гдё врылись мерзость и позоръ,
И гдё воровъ обогащали
За лесть, за правду-жъ разоряли
Слугъ вёрныхъ: какъ хотёль Андронъ,
Всесильный кабаковъ патронъ.

### превращенія.

Тогда быль выкь метаморфозы: Въ монахи попадалъ гусаръ, Репейникъ превращался въ розы, Въ лафиты мътилъ полугаръ, Безбожникъ дълался ланжою. Конства-върною женою, Святоща въ атеизмъ впадалъ, Андронъ ломился въ меценаты И безъ разбора созываль На жирный пиръ въ свои палаты Ученыхъ, неучей, пройдожъ, Порой талантливыхъ артистовъ, И чаще ловкихъ аферистовъ, Владателей ученыхъ блохъ, Добытыхъ ими для Андрона, Картаваго Амфитріона.

\* \*
Андронъ все чудное любилъ,
Но чуднымъ только находилъ
Одну пародію искусства
И то, что льститъ кабацкимъ чувствамъ.

Тонуль онь въ оргіяхь не разъ Среди распутнъйшихъ проказъ. Любиль бездарныхъ онъ поэтовъ, Писавшихъ вирши на заказъ; Изъ службы выгнанныхъ корнетовъ За пьянство, буйство и разврать. И оставлявшихъ на прокатъ Не разъ у креза-фалелея Запретный плодъ отъ гиминея.

Любиль Андронъ и всласть попить, И вслать поспать, и вслать повушать, Любиль и сплетней онь послушать, Порой стаканы перебить, Приврать, прилгать и пулю слить. И даже разъ на каламбуры Онъ покусился, но понять Моган однё ихъ только куры, Любилъ и самъ потолковать И, хоть картаво, разсказать О томъ, какъ въ налкинскомъ трактиръ N. N. продулся въ билліардъ; И какъ, играя такъ на лиръ, Мадамъ Трутру пришла въ азартъ И какъ въ туманъ мидліардъ, Когда стояль онь на запяткахь. Ему мерещился на святкахъ. Но пуще жизни онь любиль Къ нему летящій чадъ кадилъ Панегиристовъ-баритоновъ, Поющихъ гимны въ честь Андроновъ.

Вчера Андронъ быль меценать, Сегодня абзеть въ филантропы; Для улучиенья ретирадъ Онъ затъваетъ маскарадъ, Гдъ соберутся лишь холопы Отъ знатныхъ баръ, да съ чердановъ Тѣ дамы разношерстной масти,
Что у богатыхъ батраковъ
Умѣютъ грязненкія страсти
Пощекотать, потормошить,
Да и мошну растормошить.
Затѣмъ къ Андрону двѣ княгини,
Да двѣ оглохшія графини
Разъ пріѣзжали дань собрать
На интересныхъ кандіотовъ,
Да на какихъ-то идіотовъ,
Чтобъ не пришлось имъ голодать.

Порой Андронъ впадаль въ химеру, И вдругъ онъ затъваль аферу: Свиней и поросять скупать, Чтобъ ихъ въ консервы обращать И за границу отправлять, Да компаньоновъ разорять. Скупаль онъ чахлую скотину, И вотъ съ червями солонину Сталь на рабочихъ поставлять И медленно ихъ отравлять.

Нолжзь Андронъ нашъ въ патріоты,
Пошель героевъ онъ встрѣчать,
Имъ бить челомъ, ихъ угощать
И въ честь имъ гимны сочинять;
Даль гимны положить на ноты,
Ихъ изучая, пропотѣль
И, хоть картаво, да пропѣлъ.
Не лѣзъ онъ только въ Вальтеръ-Скоты,
И то затѣмъ, что ужъ охоты
Къ тому онъ вовсе не миѣлъ;
Ну, и затѣмъ, что нашъ пострѣлъ
И безъ того вездѣ посиѣлъ.

Но удалось разъ въ Талейраны Ему попасть: вдругъ балаганы Задумали съ торговъ пустить; А чтобъ вёрнёй ихъ разцёнить, Андрону поручили дёло. Андронъ тутъ не быль Митрофанъ И поступиль хитро и смёло, — Ну, сущій, сущій Талейранъ, — Онъ такъ повель все это дёло: И балаганы разцёниль, Да и себя не позабыль. И воть на свой кафтанъ плебейской Какой-то крестикъ нацёциль, И кушикъ этакой злодёйской Себё въ карманъ онъ положиль.

\* \*

Андронъ вломился въ театралы, Вотъ лезетъ онъ и въ либералы; И еслибъ могъ, то въ генералы Немедленно махнуль бы онь, Хотя, по знанью, и въ капралы Негоденъ быль нашь хамъ Андронъ. А какъ хотълось бы, подъ мышкой, Ему съ портфелемъ погулять! Прослыть хоть косоланымъ Мишкой, Но въ комитетъ поорать, Объёсться кругленькимъ окладомъ И събздить во дворецъ съ докладомъ... Но онъ въ министры на попалъ, И потому онъ заоралъ: «Я — театраль, я — театраль! Да здравствують комедіанты И водевильные всё франты!... Я-либераль, я-либераль! Долой дворянъ! Я вамъ, дворянамъ! Сотру васъ всёхъ съ лица земли, истом вы больше не могли Тонъ задавать всёмъ намъ, мёщанамъ И заслонять намъ солнца свътъ!... Пифъ! пафъ!.. Дворянъ ужъ больше нътъ». И наконецъ, — о, диво, диво! — Вдругъ забродило наше пиво: Кабачникъ въ авторы попалъ И сталъ пописывать статейки О томъ, какъ раковыя шейки Онъ въ уксуст мариновалъ, И какъ онъ ими угощалъ Разнокалиберныхъ героевъ, Да современныхъ громобоевъ, Продать готовыхъ свою честь За то, чтобъ сладко пить да тсть. Итакъ, Андронъ нашъ — литераторъ, И върно будетъ онъ ораторъ, Не передъ членами палатъ, А у жильцовъ лачугъ и хатъ.

\* \*

Всего Андронушка понюхаль, Дорогу всёмъ перебёгаль, Во всё ворота онъ стучаль, Гдё только про барышъ пронюхаль.

### Перечень метаморфозъ.

Итакъ, Андронъ былъ аферистъ
И трехъ-грошевый гуманистъ,
Льстецовъ, воровъ всёхъ покровитель,
Правдивыхъ, честныхъ разоритель,
Въ карикатуръ публицистъ,
И чуть-чуть не каламбуристъ.
Скупщикъ чахоточной скотины,
Гнилыхъ консервовъ продавецъ,
Отравы медленной творецъ,
Торгашъ червивой солонины
И на ходуляхъ патріотъ,
И даже русскій Вальтеръ-Скотъ,
Но лишь безъ первой половины.
Для балагановъ — Талейранъ,
Вяк балагановъ — Митрофанъ;

Андронъ быль горе-литераторъ,
Наикартавъйшій ораторъ,
Рябой, курносый меценать,
И даже быль немножко фатъ;
На все плебей Андронъ быль хвать,
На всёхъ путяхъ онъ подвизался.
Глядь: онъ ужъ — рьяный театралъ,
То вдругъ — свиръпый либералъ,
А болъе всего — нахалъ,
Который до того зазнался
И такъ нахально завирался,
Что день и ночь о томъ мычалъ,
Зачъмъ въ министры не попалъ;
За то дворянъ всёхъ обозвалъ.

#### Заключеніе.

Какъ угорълый, онъ метался, Какъ вонь, повсюду пробирался, До тошноты надоблаль, И все впередъ, впередъ онъ рвался, А подъ конецъ онъ и прорвался: Нашель на камень нашъ накалъ И на торгахъ разъ такъ зарвался, Что словно во щи куръ попался, И сълъ онъ на мель, точно ракъ (Знать быль не умникъ, а дуракъ)... И затрещали милліоны, И въ ходъ пошли аукціоны, И нътъ картинныхъ галлерей, И барскихъ нътъ уже затъй. Исчезли гимновъ запъвалы, И дали тягу подлипалы. Увы! исчезло все, какъ сонъ, И събхать на кнуть Андронъ. И паль картавый хвастунишко, И вылетель въ трубу лучишко.

## Надгробный плачъ.

Андронъ! Андронъ! все въ жизни сонъ. Со злой тоски «Вечерній звонъ» Запой-ко ты, авось хоть онъ Прогонитъ грусть твою, Андронъ!

Андронъ! Андронъ! все въ жизни сонъ. Но коть одинъ пусть милліонъ Къ нему придетъ, — тогда... pardon! Свой носъ подниметъ камъ Andron.

Но нътъ! тоской злой удрученъ, Повъся носъ сидитъ Андронъ И жалобно картавитъ онъ: «Прости мой мир(л)ый мирр(лл)іонъ»!

Прошло, исчезло все, какъ сонъ: Плебей былъ наглъ, но не уменъ, — И вотъ въ халдеи возвращенъ Изъ меценатовъ хамъ Андронъ.